



# ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Александр Хургин*  
Рассказы
- *Марина Кудимова*  
У каждого звука  
своя тишина...  
*Стихи*
- *Зоя Масленникова*  
Литовский семисвечник
- *Ольга Панченко*  
Русская литература  
на польском свете
- *Ирина Кунина*  
Век мой, зверь мой...  
*Из книги воспоминаний*

8'95

# ДРУЖБА НАРОДОВ



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячник*

8'95

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан  
в марте 1939 года

## СОДЕРЖАНИЕ

### *Проза и поэзия*

Анатолий ГОРЮШКИН. Застенчивый невольник топора... <i>Стихи</i>	3
Александр ХУРГИН. Рассказы	7
Марина КУДИМОВА. У каждого звука своя тишина... <i>Стихи</i>	26
Светлана ВАСИЛЬЕВА. Любовь к географии	31
Валентина ПАХОМОВА. Секреты из стеклышек. <i>Стихи</i>	40
Андрей СЕРГЕЕВ. Альбом для марок. <i>Коллекция людей, отношений, слов, вещей 1936 — 1956. Окончание</i>	43
Ханс БЁРЛИ. Непостижимый свет. <i>Стихи. С норвежского. Перевод и вступительное слово Андрея Графова</i>	118

### *Публицистика*

Зоя МАСЛЕНИКОВА. Литовский семисвечник	122
Даля ТРУСКИНОВСКАЯ. Письма из Латвии	152

### *Нация и мир*

М.САЛГАНИК. Хорошо бы. И другим полезно	140
Валентин ШЕЛОХАЕВ. Глупо делить эту маленькую Землю. <i>Беседу ведет Лариса Мугалева</i>	146

### *Критика*

Ольга ПАНЧЕНКО. Русская литература на польском свете	162
------------------------------------------------------	-----

### *Архив*

Гилберт Кийт ЧЕСТЕРТОН. О настоящих поэтах и прозаиках. <i>С английского. Перевод Н.Трауберг. Окончание</i>	169
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## *Время бития*

Ирина КУНИНА. Век мой, зверь мой... *Из книги воспоминаний*

180

## *Эхо*

Лев АННИНСКИЙ. Что построим на песочке?

189

### **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

Начиная с № 6 этого года  
распространением журнала будет заниматься  
агентство «Роспечать».

Ищите «ДН» в его каталогах.

Начиная с № 1 11 тыс. экз. журнала «Дружба народов»  
выписывает и направляет в библиотеки ряда стран СНГ  
Институт «Открытое общество».

Главный редактор  
Александр ЭБАНОИДЗЕ

#### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья  
ИГРУНОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, заместитель главного редактора Владимир ПОТАПОВ,  
заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

#### РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Евгений БУДИНАС, Юрий В. ДАВЫДОВ,  
Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР,  
Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС,  
Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

Анатолий Горюшкин

## Застенчивый невольник топора...



\* \* \*

Опять стоишь ты на сырых подмостках  
снегами опечаленных дорог.  
Спокойна даль. Ты сам себе помощник  
и даже в чем-то сам себе ты Бог.

Сквозь строй осин закат протиснет фразу —  
и ты ее, как птицу, бросишь в зал,  
и звука чистоту оценишь сразу.  
Но холоден и пуст лесной Версаль.

И нет причин на зал пустой сердиться.  
Наполнен страстью этот старый зал,  
где солнце пробивается сквозь лица  
слепых осин, бредущих через вал.

Отыскивать в себе самом причину  
и следствие искать в себе самом...  
И не менять свою личину,  
когда игра идет на слом.

\* \* \*

Устав от вымысла, от промысла устав,  
ружье повесил на крючок охотник.  
Трещала печь. Он бормотал: «Я прав...  
Болят душа... И в сердце ледостав...  
И зверь ушел... Я ни на что не годен...»

И подошел он к зимнему окну.  
К стеклу прижалась ночь оленьей тушей.  
Ее влекло к зимовью и огню.  
Она была у немоты в плену  
и обнажить свою хотела душу.

\* \* \*

Не пилоь нам в застолье, не пелось.  
Так от века уже повелось:  
называем мы черное — белым  
и ответ превращаем в вопрос.

Вкривь и вкось — чьей-то пьяной рукою  
 подорожная писана нам.  
 И за каждой случайной строкою —  
 словно слива, червивый обман.

Только слышится возглас: «Спасите...»  
 И, как молния вытянут кнут  
 над спиной ошалевшей России,  
 утонувшей в распутице смут.

\* \* \*

На полустанках провожать ноябрь,  
 закутавшись в тепло осенних листьев,  
 нести в руках нечитанный букварь  
 причуд зимы, ее повадок лисьих.

Нести в руках нагую пестроту  
 деревьев, наклонившихся к закату,  
 и новизну, и соль, и остроту  
 пропахшего пожарищем рассказа.

Мы — погорельцы. В рвани и тряпье  
 влачимся по дорогам странных песен.  
 Они нас жалят, как сухой репей.  
 Они сосут нас. Радуют и бесят.

Чего нам ждаты! По мерзлоте дорог  
 пустая тарыхтит телега.  
 Поеду в ней. На запад. На восток.  
 Попутчиком. Авось вернусь до снега.

Не закричу, не вскрикну, не забьюсь,  
 когда над бровью захлопочет вьюга.  
 Со мною песни — жизнь моя и грусть,  
 мой точный центр, мое решенье круга.

\* \* \*

Серый холст. Свинцовые белила.  
 Пятна снега. Сумерки осин.  
 Словно водку, страхи по бутылкам  
 разливают вечер, сукин сын.

Он уперся острым локтем в стойку.  
 Не томи, налеп глоток тоски...  
 Звонком льда озвучь свою настойку,  
 вишенкой заката подсласти.

Буду пить на брудершафт с судьбою,  
 разменяв трусливые слова  
 на отвагу зимнего прифоя,  
 без суда судившего суда.

Небо меркнет. Ночь, расправив снасти,  
 затаилась у кромешных скал.  
 Допиваю зимнее ненастье...  
 Сомкнутых зубов скупой оскал.

Горшков не стало — только черепки.  
 Побито все, в чем красота и мука.  
 Унижено достоинство строки —  
 вино настурций заедаем луком.

Таков закон. Наш бог — одеколон.  
 Лежим в блевотине у мусорного бака.  
 И дождь, и снег, и ночь — со всех сторон.  
 А в середине — рваная рубаха.

\* \* \*

Оцепенела нищенская гавань.  
 Счет подведен. Платить иль не платить?  
 Вот в чем вопрос. Подумаем о главном —  
 о смысле слов, потерянных в пути.

Их подберет какой-нибудь скиталец,  
 отчистит лик потерянных монет  
 и жизнь мою, смеясь, пересчитает  
 и поменяет серебро на медь.

Над гаванью моей летает чайка,  
 но не ищи в ее полете смысл.  
 Бессмысленность всегда необычайна —  
 как белый снег, покрывший черный мыс.

\* \* \*

Ночь. Листопад. И ночная дорога.  
 Чуть в стороне половинка луны.  
 Словно притянута ниткой суровой  
 к черному крепу ночной целины.

Чья ты, пустая, как поле, затея  
 в полночь светить чернотой души?  
 Я от затеи такой околею  
 или свихнусь, словно сноп у межи.

Кем он оставлен и с целью какою?  
 Мне и протак не ответит и сноб.  
 Поле мертво. Лишь луна за рекою,  
 словно ребенка, баюкает сноп.

Сердце остыло. И надо ли строго  
 сердце остывшее в чем-то винить?  
 Ночью луна освещает дорогу —  
 свет неживой все живое хранит.

\* \* \*

Привычный облик зимнего заката,  
 и горечь крыш, и мокрый водосток —  
 скупой набор из одного заказа,  
 что был оплачен нами точно в срок.

Скупой набор. Несу его куда-то.  
 Жую сухарь разлуки на ходу.  
 И чувствую себя слепым солдатом,  
 навеки заблудившимся в аду.

\* \* \*

Ты угорел от этих разговоров,  
 они тебя преследуют во сне...  
 Сухая сердцевина раскололась,  
 век рухнул наземь, ты сидишь на пне.

Лесоповал. И ты его участник,  
 застенчивый невольник топора.  
 На угли закопченный ставишь чайник  
 и греешься у общего костра.

Судьбу-индейку потрошишь умело  
 и, слизывая с пальцев сладкий жир,  
 насвистываешь что-то из «Богемы»,  
 обсасывая ноты, как инжир.

Лесоповал ветвями застит небо,  
 но егерями спущенный огонь  
 бежит по сучьям, словно пес по следу,  
 диктуя всем охотничий закон.

Лесоповал. Судьбы круговращенье,  
 расчистка тел и корчеванье душ...  
 А может, лучше попросить прощенья  
 и стать со всеми под холодный душ?

\* \* \*

Властью мне данной я в слове «неволя»  
 робкое «не», осердясь, зачеркну.  
 И убегу в свою степь — в Чистополе —  
 солнце пасти и ловить тишину.

Счастье — всего лишь ожившее слово.  
 Не распинай его плоть на кресте.  
 А повторяй его снова и снова,  
 в ночь уходя по холодной росе.

### *Баллада о золотом апельсине*

Это только вначале забавно —  
 жизнь берешь, как с лотка апельсин,  
 выдыхая гортанью, зубами  
 немоты желтоватый бензин.  
 Наша доля — душистая долька,  
 наша жизнь — кожуры завиток.  
 Теплых зерен убойная горечь  
 метит пулей чеченской в висок.  
 Ты сражен наповал. Мостовая  
 под ногами встает на попа.

У лотка, как бульон, остывает  
 подогретая страстью толпа.  
 Все распродано. Лавка закрыта.  
 И не помнишь, какое число.  
 И разбито волною корыто,  
 что тебя в этот мир принесло.  
 Так глотай же холодные дольки,  
 погружайся в безвольную плоть,  
 чтоб не чувствовать запаха боли,  
 что проказой садится на лоб.

Александр Хургин

## Рассказы



### Попутчица

Самая короткая и удобная дорога к остановке автобуса шла напрямик дворами. И Васин, конечно, предпочитал ее, вместо того чтоб ходить по асфальту пешеходного тротуара в обход. И сегодня он, как обычно и как всегда по утрам, миновал мусоросборные баки и контейнеры, пересек наискось из конца в конец детскую площадку для игры со всеми ее горами, качелями, ракетами и избушками на курьих ножках, затем преодолел на своем пути непреодолимую преграду, представляющую из себя длинный, в полкилометра, дом, называемый в народе не иначе как китайской стеной (он сквозным подъездом воспользовался, открытым с обеих сторон этого бесконечного дома как раз против детской площадки), а там, взяв несколько вправо, нырнул Васин под арку у молочного магазина, где ящики из-под бутылок хранились, и вышел из этой подсобной арки на улицу, к остановке автобуса номер двадцать.

Людей на остановке было, конечно, много. Но не так чтоб уж очень. То есть не огромная толпа, а нормальная для часа пик в разгаре, и Васин присоединился к этой толпе, увеличив ее собою, и повернул лицо против ветра, и увидел, что оттуда, откуда и положено ей идти, идет она. Идет, переваливая свое тело по направлению к остановке беспорядочно и неуклюже и в то же время довольно быстро. «А вот и мы», — подумал привычными словами Васин и отвел глаза, зная, что несколько секунд спустя она доставит себя до места назначения и остановится, тяжело дыша, где-нибудь неподалеку слева и будет стоять столбом как вкопанная и дышать, поглощая ртом свежий воздух, пока не подкатит автобус и не надо будет в него лезть, орудуя собственным туловищем наподобие живого тарана.

С ней, с этой женщиной, движущейся сейчас к остановке, Васин ездил в одном и том же автобусе практически два раза в день ежедневно. Кроме выходных. На работу они ездили — утром и с работы — в конце дня. Правда, с работы — редко, но бывало, что не попадали они в один автобус, а садились в разные. А на работу — всегда вместе ездили, выходя к остановке в установленное время, минута в минуту.

И когда он увидел ее, эту вечную свою попутчицу, впервые, и когда впервые обратил на нее внимание, Васин сказать теперь определенно не смог бы, потому что это было давно. А ему, Васину, казалось, что он вообще ни разу в своей жизни не ездил утром на работу в автобусе без нее. И несмотря на это, на давность, так сказать, лет, при взгляде на вышеупомянутую женщину испытывал Васин сильное душевное смятение и беспокойство, и он не умел подавить в себе чувство неприязни к ней, превратившееся со временем и переродившееся в чувство, пожалуй что, безгневной ненависти. И такое отношение и восприятие Васиним этой ни в чем не виноватой перед ним женщины, никак обосновано и оправдано не было, и объяснить его каким-нибудь разумным аргументом было затруднительно и невозможно. Потому что знать ее Васин не знал и кто она такая и откуда, и плохая она или хорошая, не имел он понятия и представления. Но ее лицо и фигура, и характерный, от нее исходящий запах поднимали в Васине и будили именно это сложное чувство, а все другие его эмоции затухали в нем и замирали,

и находились в подавленном состоянии до тех пор, пока она не выходила из автобуса и не скрывалась на противоположной стороне дороги в уличной толкотне и возне. А когда бывала она вблизи от Васина и дышала одним с ним воздухом, ничего он не чувствовал, кроме того, что она здесь и что все его существо немеет и противится этому всеми силами.

И вот подошел наконец-то перекошенный грязный автобус, и Васин оказался в стороне от двери, а она, наоборот, вычислила и угадала точку остановки верно до миллиметра. И ее внесло и подняло на площадку первой, а Васин с боем втиснулся в самом уже конце посадки, и его подперло и расплющило закрывшейся за ним дверью. Так что виден ему был оттуда только кусок ее свободной спины, обтянутый желтой вязаной кофтой, и левая половина головы с выбивающимся сквозь волосы плоским ухом. Второго уха Васин не видел, но знал наверняка, что оно торчит с другой стороны, так же глупо высовываясь из-под волос. «Взять бы ее за эти уши, — подумал вдруг Васин, — и об колено». И ощутил реально, будто наяву, в своих руках нечто хрупкое и упругое, что держал он, как ручки от кастрюли, и тянул на себя. А его левая нога сама начала сгибаться в коленном суставе и идти вверх, оставляя балансировать Васина на одной правой ноге. И колено его все поднималось, подтягивалось выше и выше, и вот-вот должно было встретиться с ее лицом и слиться с ним воедино, размазывая и сминая. И он опомнился, подумав: «Что?» и «О чем это я?». А стоящая впереди него тетка возмутилась, сказав:

— Да уймись ты, чего лягаешься, как козел?

— Я на одной ноге стою, — сказал Васин.

— А кто на двух, — сказала тетка, — я? — и откинулась назад, на Васина, как будто собиралась упасть навзничь.

Но Васин вовремя отклонился, насколько это было возможно в его скованном положении, и вытянул из-под тетки шею, чтобы дышать и иметь хоть какой-то обзор.

Она стояла на том же месте. Но теперь Васину был виден кусок желтой кофты, вздрагивающий на ухабах и рытвинах дороги, и ничего больше. Да и не нужно ему было ничего видеть. Так как изучил он и знал всю ее наружность на память от головы до ног. И он в любое время дня и ночи мог представить себе отчетливо и вызвать в своем воображении, к примеру, ее лоб с тремя морщинами в форме галочек, какие в бухгалтерской ведомости представляют, и прекрасно помнил, что верхняя галочка у нее резкая и размашистая, средняя — потоньше и поскромнее, а нижняя — самая куцая и короткая. А все три эти галочки вместе напоминают перевернутую вверх ногами елку. И глаза ее Васин всегда мог перед собой увидеть со всеми присущими им подробностями. Они были у нее широко разнесены от носа и глубоко всажены в лицо. Поэтому, кстати, на них постоянно тень падала от бровей и от щек, стекающих вниз на пологий подбородок, который в свою очередь перетекал непосредственно в грудь. И все ее лицо виделось Васину в дурацком, что ли, свете и изображении и то, что располагалось у нее ниже лица, под ним — тоже выглядело в его глазах по-дурацки, потому что фигура ее как бы разъезжалась на льду — от узких и неразвитых плечей к широким бугристым бедрам. И они, эти ее бедра, то и дело колыхались и подрагивали. Даже если она стояла неподвижным истуканом. А когда она пребывала в каком-либо движении, так и вовсе нельзя было понять и заметить невооруженным глазом, откуда и почему происходят эти не соответствующие никаким привычным и разумным правилам колебания ее тела. Так, при ходьбе ее бедра — и с ними весь низ — то отставали безнадежно от бюста, то вырывались вперед и обгоняли его, то уезжали куда-то вбок. А бывало, что просто тряслись и подергивались они не в такт шагам, а произвольным манером и независимо от самих себя. И, наблюдая ее, идущую или влезаящую в автобус и для этой цели поднимающую одну за другой свои беспомощные ноги, Васин приходил в состояние нервного возбуждения, и из желудка у него всплывал и подкатывал к гландам кислый газированный ком, и он бормотал себе под нос:

— Живет же такое на свете!

А как-то раз ее прибило и притиснуло в автобусе к Васину вплотную, и он увидел ее лицо с расстояния трех или пяти сантиметров, все до самых незначительных его деталей — таких, как родинки и прыщи, и поры кожи, и растущие из них

жесткие волоски. И в тот раз она ехала не одна, а с какой-то своей знакомой. И они, невзирая на дикую давку и переполнение салона, говорили друг с дружкой о чем-то своем и личном, говорили неслышно и тихо. А Васин, не разбирая их слов и не вникая, смотрел заворожено в ее говорящий рот, выкрашенный жирной помадой, и при произнесении каждого нового слова приспущенные книзу углы губ поднимались, и Васин видел мясистый язык с сизым налетом и тупые неровные зубы, на которых пузырилась слюна. А когда она делала выдох, Васина обдавало теплой лекарственной затхлостью. Но не только изо рта пахло чем-то посторонним у этой женщины, она вся целиком издавала навязчивый женский запах, состоящий из смеси ее природных телесных запахов и ароматов духов или дезодорантов, изготовленных промышленным способом.

Хотя стоявшие около и вокруг нее пассажиры никак, видимо, не реагировали на эти миазмы, и Васин предположил даже возможность, что так действуют они на него одного, избирательно и целенаправленно. Ведь и знакомая ее эта, с ней едущая, подставляла свое ухо, и она говорила, в него уткнувшись и дыша, а потом они менялись ролями, и в ухо шептала уже знакомая — ей. И тоже касаясь губами. И ничего не было заметно на ее лице, никакой отрицательной мимики или жестов. Но возможно, что и свыклась она, эта ее знакомая, будучи с ней в дружеских каких-нибудь отношениях, а может быть, даже в родственных.

Ну а Васину терпеть и выносить возле себя эту женщину было не в состоянии, а так как отодвинуться он не мог и на полшага, то стал пытаться хотя бы дышать пореже, задерживая воздух в легких, и вдыхать, отворачиваясь. И тут высказала недовольство она, сама эта женщина, сказав:

— Не дышите на меня. Мне неприятно.

И Васин отшатнулся, услышав ее голос, обращенный к нему. Голос оказался высоким, но стертый и какой-то скомканный.

— Извините, — сказал Васин невольно и впервые тогда, в тот именно раз, подумал, что, наверно, с удовольствием и без сожаления мог бы убить эту женщину, причем убить как-нибудь при помощи рук, в смысле задушить или, на худой конец, хоть зарезать. «И резал бы я ее, — подумалось Васину, — медленно и постепенно, чтоб она вся была в смертоносных ранах и чтобы умирала в течение продолжительного времени, цепляясь за ускользающую жизнь».

И с тех пор эта мысль и это затаенное глухое желание все чаще захлестывали Васина, и он стал опасаться себя и того, что и на самом деле, а не мысленно убьет ее ненароком при стечении благоприятных обстоятельств. Потому что он и нож уже себе купил. По случаю. Выкидушку автоматическую. И он говорил себе, что просто понравилось ему, как сделан этот оригинальный нож, и что продавался он недорого, по доступной цене, и что для возможной самообороны, мол, надо что-то подходящее при себе в наше время иметь. Ну а в глубине души понимал он, конечно, что сделал эту покупку, подсознательно рассчитывая на другое. И он не хотел, чтоб это другое случилось, и боролся против своих чувств к этой чужой женщине как мог. Но не очень-то успешно и победно шла у него борьба на этом фронте с самим собой, хотя боролся он по-разному и по-всякому. Сначала убеждал себя и уговаривал, что она ему безразлична и не интересуется ни в каком плане, и знать он ничего о ней не хочет и не желает. Потом он решил ездить в другом автобусе, для чего вышел в одно прекрасное утро чуть раньше своего часа и сел в предыдущий, судя по расписанию, автобус. И с удивлением для себя он обнаружил, что озирается и ищет взглядом ее. И понимая, что ее здесь нет и не может быть, он тем не менее разнервничался и записывал, и все женщины стали казаться ему похожими на нее как две капли воды или как сестры-близнецы, причем поначалу только женщины, а после и мужчины тоже. И он сразу же к ним ко всем стал испытывать те же самые разрушительные чувства, какие испытывал до этого к ней лишь одной и больше ни к кому и никогда не испытывал. И он вышел, проехав всего несколько остановок пути, и дождался следующего автобуса, а когда влез в него и увидел ее, успокоился. Вернее, не успокоился, а понял, что все остальные люди имеют, как им и подобает, нормальные, разные, свои собственные лица и никто из них на нее не похож. И это, конечно, в какой-то степени успокоило Васина и утешило, но впоследствии он не пробовал больше и не отваживался ездить от нее отдельно, а отважился сходить на прием к врачу-невропатологу в поликлинику по месту жительства. Записался предварительно на

определенное число, потом в назначенный день очередь отсидел в коридоре — не меньше часа и, полав в кабинет, изложил и пожаловался этому невропатологу, что не любит одну женщину и не то что не любит, а питает к ней безотчетную жгучую ненависть на почве отвращения, и признался, что возникают у него в связи с ней нехорошие преступные желания.

А врач спросил у него:

— Женщина эта — жена ваша?

— Нет, — сказал Васин, — посторонняя женщина, из автобуса.

— Еще что-нибудь беспокоит? — врач тогда спрашивает.

— Больше ничего не беспокоит, — говорит Васин, и врач ему на это ответил, что сам он тоже не всех, мягко говоря, женщин любит, а некоторых терпеть не может, тем более в автобусе. Но из этого, сказал, ничего не следует и не вытекает.

И Васин покинул кабинет врача и поликлинику с тем, с чем туда пришел.

А автобус сделал левый поворот, доехал до светофора и остановился на красный свет. Васин посмотрел туда, где должна была маячить ее спина, но спины не нашел и не увидел, а увидел, что женщина стоит уже к нему лицом, и вообще не стоит, а готовится к выходу, прокладывая себе путь промеж стоящими перед ней плечом к плечу пассажирами и пассажирками. И она столкнулась с Васиным взглядом, и Васин неожиданно для себя самого кивнул ей, как знакомой, и она ему кивнула в ответ. Все-таки они примелькались один другому и поэтому, встретившись глазами случайно, поздоровались, тут же сообразив, что здороваются, зная друг друга только в лицо.

И тут автобус качнуло, и он проехал светофор и открыл на остановке обе свои двери. А Васин не прижался к ним, к дверям, как делал это на предыдущих остановках, а вышел из автобуса, освободив проход. И народ повалил из двери на волю, и она тоже вышла, всколыхнувшись несколько раз на ступеньках, и прошла мимо Васина, задев его оттопыренным локтем. И Васина потянуло было схватить этот локоть и хоть боль ей какую-нибудь причинить пустячную, но он, вопреки желанию, не сделал этого, и локоть, пропахав по его пиджаку, повис в воздухе и стал удаляться. А Васин проводил его взглядом и вцепился в поручень тронувшего уже автобуса, боком проскочил между створками двери в полупустой салон, чтобы выйти из него на следующей, конечной остановке. И он смог даже сесть — настолько освободился автобус у фабрики, на предпоследней остановке своего маршрута. И Васин сел. И карман его брюк натянулся чем-то продолговатым и оттопырился. Выкидушка, понял Васин, пощупав выпирающий предмет через ткань брюк. И подумал, что вроде не клал ее сегодня туда. Но точно он, конечно, не помнил, клал или не клал нож в карман, и решил, что ну и ладно, приду домой с работы и выложу.

А после работы Васин освободился сегодня минут на пятнадцать раньше, чем освобождался обычно. Так получилось у него. И он прошел отрезок пути до следующей остановки пешком, истратив на дорогу эти лишние пятнадцать минут. И не с целью, поставленной себе заранее, это сделал, а так, пошел пешком, и все — чтобы проветриться. И на следующей, ее остановке он выбрал место за спинами сплоченной группы людей, ждущих двадцатый автобус.

Она была среди них и стояла почти что в центре этого мелкого человеческого скопления. Или, может быть, чуть правее от центра она стояла, и голова ее была повернута в ту сторону, откуда пришел сейчас Васин. Все остальные смотрели туда же, выглядывая друг из-за друга, чтобы вовремя увидеть приближающийся автобус и занять наиболее выгодную позицию для посадки в него.

И автобус появился, и все, заметив его на дальних, как говорится, рубежах, сдвинулись со своих мест и подались вперед. И Васин подался и, раздвинув плечом сомкнутые спины, протиснулся к ней как можно ближе. Она стояла теперь в шаге от Васина, отделенная одним-единственным мужчиной. Но когда автобус подъехал, мужчина этот сместился, чтобы войти в переднюю половину задней двери, и Васин сел в автобус за ней — следующим. И она, поднявшись по ступенькам, устремилась к левой стенке салона, в угол, где сзади, у вертикального поручня, соединяющего пол автобуса с его крышей, имелось достаточно пространства для ее громоздкой фигуры. Васин также, дважды ступив, взялся за этот поручень. Только он повыше за него взялся, над ее головой, а она — низко, на уровне примерно своей груди взялась. И опять, как и утром, правда, с другой точки зрения, увидел

он ее торчащие сквозь прическу уши. И с каждым, самым легким поворотом головы волосы ее шевелились, и Васину чудилось, что уши тоже шевелятся — вместе с волосами. И он закрыл глаза и снова открыл их, и уши шевелиться перестали, застыв на своих положенных местах, как приклеенные. После чего Васин с облегчением вздохнул полной грудью и задохнулся ее запахом, в котором сегодня явно преобладала парфюмерная составляющая, и она, щекоча ноздри и раздражая их слизистую, раздражала и самого Васина. Но на этот раз он не отодвинулся и не отвернулся, хотя даже глаза у него начали слезиться, а все стоял и вдыхал отработанный и источаемый этой женщиной воздух, втягивая его в себя носом с жадностью.

— Вы опять дышите на меня, — сказала она, обернувшись. Хоть утреннего недовольства в ее голосе Васин не уловил.

И он сказал:

— Прошу прощения, — и хотел пройти вперед. А она сказала:

— Ничего.

И сказала, что давно его заметила в числе других, потому что, говорит, мы всегда вместе ездим.

— Да, — сказал Васин, — я тоже вас заметил давно.

И как-то так естественно вышло, что, доехав, Васин не нырнул под арку с ящиками, а пошел с ней по тротуару. И она ему на это не возразила и не воспротивилась, а шла себе рядом как ни в чем не бывало, пока не пришли они к ее дому. И она сказала:

— Здесь я живу. — И сказала, выдержав паузу: — Может, — говорит, — зайдете? У меня кофе есть жареный, в зернах.

А Васин сказал:

— Я не знаю, — и опустил руку в карман брюк и осмотрелся по сторонам.

— Только у меня не убрано, — сказала она. — Или у вас времени нет?

— Время есть, — сказал Васин и вынул из кармана руку. — Но, может, это неудобно?

— Удобно, — сказала она, — если, конечно, вам удобно.

— А вы, — Васин спросил, — не боитесь?

А она спросила:

— Кого?

И Васин принял ее предложение.

А жила она, конечно, одна — в этом Васин не сомневался ни на минуту, — и мебели особой в квартире у нее не было, а стояло что-то самое элементарное и простое, зато висел в комнате во всю стену ковер с олимпийской символикой, а на нем булавками были понаколоты какие-то вышивки и изделия из макраме, и всякие иные рукоделия.

И, введя Васина из прихожей в эту единственную свою комнату, она сказала:

— Вот так я живу.

— Ничего, — сказал Васин.

— Да, — сказала она, — моей квартире многие завидуют.

И Васин сел без ее приглашения на диван-кровать, собранный сейчас уголком и от этого узкий.

— Я скоро, — сказала она и вышла, и загремела на кухне то дверцами шкафа, то посудой, то чем-то еще неопределенным.

«И квартира вся ею пропахла, — подумал Васин, — насквозь». И он услышал, как заработала трещка, кофемолка и как зашипел и зажегся газ, после чего по квартире поплыл новый запах — запах свежего закипающего кофе.

Потом она принесла горячую кофеварку и чашки, и маленькие звонкие ложки и поставила все на низкий, так называемый журнальный стол, потому что никакого другого стола в комнате не было. Под кофеварку подложила она полотняную салфетку, сложенную вчетверо, — наверно, чтоб не испортить полировку.

Вторым заходом были ею принесены хлеб и масло, сыр на тарелке кружочками, печенье «Привет» с конфетами и, чего Васин не ожидал, початая, а если точнее — недопитая бутылка коньяка «Десна». Все это перечисленное громоздилось на черном подносе, не то деревянном, не то пластмассовом, и расписан этот поднос был красными большими шарами.

И она поставила его осторожно на стол, оглядела сверху и сказала:

— Сахар. Я сахар забыла поставить, — и сходила в кухню за сахаром.

А Васин сидел все это время молчком на диван-кровать, перед низким дурацким столом о трех раскоряченных ножках, и следил за тем, как бестолково колыхалась она и покачивалась в воздушном пространстве квартиры, распространяя вокруг себя волны своего причудливого запаха, и волны эти все более и более уплотнялись, очевидно, из-за того, что присутствие Васина ее волновало и будоражило.

И так подрагивая бедрами, и плечами, и грудью, она налила в чашки кофе и долила в них коньяку.

Васин взял чашку двумя пальцами и отпил. Кофе был горячий и обжег ему язык и щеки изнутри, а коньячный привкус в кофейном обрамлении показался Васину лишним и неуместным.

— Коньяку не мало? — спросила она. — А то я же на свой вкус наливала.

— А отдельно можно коньяку? — спросил Васин. — Не в кофе.

— Можно, — сказала она и поднялась, всколыхнувшись во всех направлениях и измерениях сразу, чтобы взять из буфета рюмку.

И Васин, наполнив эту рюмку до краев, опрокинул ее себе в горло.

— За вас и ваше здоровье, — сказал он после того, как проглотил коньяк, и его рука потрогала карман.

Нож, конечно, лежал там, свернувшись и спрятавшись в рукоятке. Кнопка приподнимала шершавый материал брюк и возвышалась упрямой точкой.

— Печенье вот, — сказала она, — к вашим услугам, конфеты. И сыр колбасный с тмином. Угощайтесь.

— Я угощаюсь, — сказал Васин и разом допил кофе, потому что чашка была маленькая — почти как рюмка.

— Еще кофе? — спросила она.

— Да, — сказал Васин.

Она встала и, взяв кофеварку с коричневой гущей на дне, понесла свое расхлябанное тело из комнаты.

Васин встал тоже и двинулся за ней.

Рука его опустилась на дно кармана и обхватила нож. Большой палец цапнул кнопку предохранителя, но не нажал ее, так как в кармане лезвию открыться было бы некуда.

И так они шли в ногу и след в след эти несколько метров из комнаты по коридору к кухне — она впереди с кофеваркой в руке, он — сзади, прощупывая взглядом ее спину и отмечая про себя, что лопатки на ней не проступают и не выделяются.

И она вошла в темную, с погашенной лампочкой кухню и превратилась на фоне окна в силуэт.

Васин тоже вошел.

Она поставила кофеварку в мойку. Развернула себя на сто восемьдесят градусов крутом и повисла на Васине, прижимая его к себе. И она облепила и обволокла его собой, своими бедрами, животом, грудью — и парализовала. И Васин стал погружаться в ее оплывающую мякоть и в ней увязать.

— Я в ванну схожу, — сказала она и пошла из кухни в ванную, совмещенную с туалетом.

И до Васина донесся шуршащий шум воды, разделяемой душем на множество тугих струй. Вода била в чугунное дно ванны.

Но вот тон шума изменился, и струи легли на мягкое и податливое.

Васин не двигался. Стоял в кухне, куда выходило из ванной освещенное окно, и смотрел в него, в это окно, не мигая. И ничего, за исключением матового света, он не видел. Окно было вделано высоко. Под самым потолком. И к тому же запотело от пара.

Но слышимость была идеальной. И Васин хорошо слышал, как она терла себя мочалкой, и как чистила щеткой зубы, и как скребла ногтями намыленную голову.

Потом шум воды ослабел и стих. Руки Васина дрожали, низ живота напрягся и отвердел.

«Интересно, сколько ей лет? — подумал Васин. — Тридцать? Сорок?»

И еще подумал он, что не спросил, как ее зовут. Но это, подумал, знать и не обязательно. Потому что в данном случае неважно.

Наконец она вышла из ванной в махровом полосатом халате, волооча за собой клуб подвешенного влажного пара.

— Тебе в ванну надо? — спросила она.

— Нет, — сказал Васин. — Я так.

И он остался стоять, где стоял.

А она пошла в комнату и, оттащив за край стол, разложила диван-кровать и застелила его постелью.

После этого свет погас и там.

— Пойдем, — сказала она, вернувшись к Васину в кухню и по пути потушив последний свет, какой еще горел, свет в ванной комнате.

И Васин ей подчинился.

— Разденься, — сказала она уже у дивана идохнула Васину в лицо.

— Я так, — сказал Васин и сжал в кармане нож до такой степени, что захрустели пальцы. И он не снял с себя даже режущий под мышками пиджак, потому что его потащила вперед какая-то сила, и он повалился ничком в трясину живого тела и стал в ней утопать, выгребая одной, левой, рукой, так как правая его рука, запуталась и зацепилась в кармане. И тело ее приняло Васина, сомкнувшись над ним и отравив своим одуряющим запахом.

И Васин лишился чувств и ощущений и сознания и слышал лишь частые удары собственной взбесившейся крови, бьющей в голову, и в грудь, и в живот, и в пах.

Его ноги окаменели в напряжении, мышцы рук вздулись, и он сцепил их, свои руки, на ней, и пальцы впилась и вмялись в ее тело. В плечи. Потом в шею. В спину. Потом они обхватили ее бедра и сгребли тестообразное месиво ягодиц в кулаки, и это густое тесто стало подниматься, как на дрожжах, и пролезать у него между пальцами.

И в какой-то миг она выдохнула предсмертный тяжелый стон, и у Васина включилось, хотя и смутно, сознание, и мелькнуло в нем, что, наверное, он всадил-таки в нее свой нож. И сознание снова выключилось.

А она простонала еще раз.

Затем — еще.

Потом ее свернуло в бараний рог и она, дернув поочередно и засучив ногами, стихла.

И Васин очнулся. И посмотрел на нее. Глаза уже освоились и привыкли к темноте, и он увидел, что нос ее заострился и вытянулся чуть ли не до верхней губы, глаза запали еще глубже в лицо и закатились там, в глубине, куда-то, нижняя челюсть отвалилась, оскалив зубы.

— Вот и все, — подумал Васин. — Конец фильма.

Его правая рука, лежащая на ней, внизу, вся была в чем-то липком и скользком.

— Кровь, — решил Васин и вытер ладонь и тыльную ее сторону о халат, разметавшийся полами по постели.

И при этом его движении она шевельнулась и ожила.

Васин пошарил вокруг, ища нож.

Ножа не было.

— Живучая, — сказал он и опять сжал ее шею руками.

И все стало раскручиваться, как в записи, повторяясь, и повторилось с начала и до конца так же, как и в первый раз. И после этого повторилось опять.

И Васин совсем теперь ничего не чувствовал и не понимал умом, и только в перерывах между повторами, когда возвращались к нему остатки и обрывки сознания, он смотрел на нее из последних сил, чтобы увидеть ее мертвую и бездыханную. А перерывы все укорачивались. Или, может, ему так казалось.

И каждый раз видел Васин одну и ту же картину: картину ее умирания и смерти. И он готов был наблюдать ее, эту поистине прекрасную картину, бесконечно.

А она умирала и умирала у него на глазах и в его руках и лежала без признаков жизни, а потом все же оживала из пепла, и все происходило и повторялось заново в одной и той же неумолимой последовательности. И она билась в конвульсиях и

в судорогах агоний и стонала, прощаясь с жизнью навсегда, и спрашивала у него в предсмертном бреду сухим и охрипшим шепотом:

— Ты меня любишь? Любишь?

И он отвечал ей «люблю», чтобы не огорчать умирающую и чтоб дать ей уйти на тот свет счастливой.

## Номер

Самолет улетал рано. То есть почти ночью. И такси Кротов вызвал по телефону на два тридцать плюс-минус пятнадцать минут. А с женой он так договорился заранее, что посадит их в это вызванное такси, а сам с ними в аэропорт не поедет. Номер такси запомнит, если что на всякий случай, и все. И останется дома, так как завтра хоть и суббота, а надо ему на работу. А на работе у него был законный выходной, и вообще он оформил очередной отпуск с понедельника. И вот, значит, такси пришло в назначенный час, и жена с дочкой сели в него на заднее сиденье, и Кротов вещи их в багажник захлопнул, и они уехали. А номер он, Кротов, вроде бы и запомнил, но цифры тут же у него перепутались и из головы выскочили. А жена ему перед тем, как в машину сесть, сказала, что когда-то ты меня не только что до аэропорта провожал, а и намного дальше. Это она напомнила и намекнула, как он в первый год их жизни купил себе тайно от нее билет на тот же самый самолет, что и ей, и когда она уже начала плакать на регистрации, Кротов положил на стойку этот свой билет и паспорт. И летел с ней до Львова, а потом тем же самолетом вернулся назад. Был такой у них в биографии дурацкий эпизод. А теперь, конечно, все у них по-другому и не так. И вообще никак. И они приняли, значит, решение, что она уедет к своим родителям в гости, и они поживут месяц врозь друг от друга и отдохнут и, может быть, соскучатся.

И самолет вылетел, считай, вовремя и по расписанию. Вырулил на взлетную полосу, постоял на ней немного, а потом разогнался и задрал нос и стал лезть и карабкаться в гору, набирая свою положенную высоту полета. И Лина громко заплакала, потому что ей заложило уши, и она испугалась, не зная, что это означает. А Лариса сказала ей, что надо проглотить слюну, и Лина плакать перестала и взяла у Ларисы карамель «Мятную», и положила ее в рот, и стала сосать.

И вот прошлась туда и сюда вдоль кресел нечесаная, в прыщах стюардесса и объявила, что самолет набрал свою высоту, и полет протекает нормально, и можно отстегнуть привязные ремни. И все отстегнулись и осмотрелись по сторонам. А в самолете было не убрано, бардак, можно сказать, был в самолете, так как валялся на полу какой-то сор и грязными и засаленными были чехлы сидений, и мутными иллюминаторы окон. И Лариса подумала, что дома она оставила раскардаш и не успела прибрать за собой после сборов в дорогу. Правда, она и не стремилась особо к этому, пускай, думала, остается, или пускай его бляди прибирают. А нет, так и в бардаке поношаются, не слохнут. Ей сейчас, тут, отчего-то пришло на ум и показалось, что именно вот этим и будет Кротов заниматься в период ее отсутствия и больше ничем. Потому что недаром же он никак дотерпеть не мог и дожидаться, пока она уедет. Наверно, прямо теперь уже и понавёл полную квартиру всякой шелупени. А самолет вдруг ни с чего закачало и затрясло, и он провалился вниз сквозь тучи и взвыл всеми моторами и снова полез вверх. А Кротов смотрел на часы и думал, что вот наконец-то он совсем один и никого у него не осталось, только он сам. И он позвонил Лидке, но телефон Лидкин ему не ответил. Или она его отключила на ночь, или же где-то шлялась, тварь болотная. И Кротов знал, конечно, про нее, что она тварь, но ему-то что с того, он же не жить с ней собирался и не венчаться, а просто хотел поиметь ее по-человечески, без проблем и пережитков прошлого. Потому что Лидка была в этом деле специалист широкого профиля и пользовалась заслуженным успехом, и давно на Кротова зарилась, и положила на него свой глаз. Но телефон ее не отвечал ни в какую, и Кротов бродил без внимания по разоренной сборами жены квартире и тыкался в раскрытые двери шкафов и в выдвинутые ящики, и наступал на разбросанные дочкины игрушки, и они хрустели под его ногами. И когда в очередной какой-то раз

Лидкин телефон не ответил, Кротов позвонил другу детства и юности Гере Мухину, и Гера ответил ему матом, то есть какая это еще сука резвая звонит в такую несусветную рань.

— Это я звоню, — успокоил Геру Мухина Кротов и спросил: — У тебя телки есть? А то моя уехала и хата свободная, и от скуки хоть вешайся.

А Гера прикинул и сказал, что хата — это, конечно, хорошо и телок он, Гера, найдет сколько угодно и пригонит хоть целое стадо.

А Кротов сказал:

— Ну так гони.

И Гера оделась и прошел на пальцах мимо матери, которая лежала на боку лицом к стене и спала. И она не проснулась ни от прозвучавшего звонка телефона, ни от движений по комнате, производимых уходящим Герой. И Гера вышел и тихо защелкнул входную дверь, и пошел на Красный рынок, и через десять примерно минут ходил между сонными рядами и смотрел ассортимент товара. А на рундуках сидели скучные телки всех мастей и разновидностей. Их за всю ночь никто не взял, и они курили план или тянули портвейн из горла и то ли дожидались покупателя, то ли уже и не ждали ничего, а сидели просто так, по инерции. И Гера приходил по рынку, прицениваясь, остановился около одной, симпатичного и приемлемого вида, и, потрогав ее руками, потянул за собой, и она спрыгнула с рундука.

— Куда? — спросила у Геры телка.

— Еще одну надо, — сказал Гера.

— А вас сколько? — спросила телка.

— Два человека, — сказал Гера.

— Не надо, — сказала телка. — Я сама.

И они пошли с Герой вниз по улице Карла Либкнехта, к Кротову.

— Тебя как звать? — спросил Гера.

— Телка, — сказала телка.

— А меня Гера, — сказал Гера, и она обняла его за талию и так держалась за него, опираясь, и ее бедро терлось о Герину штанину с шуршанием.

А когда они пришли к Кротову, телка сказала:

— Жрать.

И Кротов вытащил из холодильника кастрюлю с супом и поставил перед ней и отошел. А она запустила туда, в кастрюлю, пятерню и достала кость с лохмами мяса, и обглодала ее дочиста, а кость опять бросила в суп, и она утонула. Потом телка поднесла кастрюлю к лицу и напилась из нее через край, и вытерла рот рукой, и сказала:

— Кирнуть.

И Кротов налил ей полстакана водки.

— Еще, — сказала телка.

И Кротов долил еще, и она выпила водку маленькими короткими глотками и стала скидывать с себя все. И оказалась худой и прозрачной, и кожа у нее отдавала синевой, и по ней перебегали холодные мурашки, и телка ежилась и поводила плечами и мелкой грудью.

— Чего стоите? — сказала она. — Или вас раздеть?

— Нет, — сказал Кротов, и они с Герой стали раздеваться, и разделись, и она взялась за них по полной программе-максимум. Сначала работала руками, потом впилась в Геру, а Кротова пристроила сзади, потом поменяла их местами и так далее, и тому подобное. И все это тянулось долго и монотонно, и за окном давно уже было утро нового дня. Потом и Гера, и Кротов умотались, и телка оставила их отходить, а сама пошла на кухню. И там она поела из супа гущи, вылавливая ее рукой со дна кастрюли, потом вернулась и подняла с пола куклу Катьку, старую и голую, и без одной руки. И она повертела ее и поразглядывала и вставила себе между ног так, что торчать осталась только Катькина голова, и стала ходить по комнате враскоряку и смеяться дурным и визгливым смешком, и пританцовывать по-папуасски перед зеркалом, и показывать Гере и Кротову длинный бледный язык. А в конце она легла на спину, прогнулась мостом и сказала:

— Рожаю.

И Кротов рванул к телке и выдернул из нее Катьку. Катька была мокрая и скользкая, и он отбросил ее наотмашь.

— Родила, — сказала телка, и Кротова стошнило. И он добежал до туалета, давась и корчась, и упал перед унитазом на колени, и его вырвало и вывернуло что называется наизнанку. А Лариса с Линой вышли из самолета и поехали на вокзал, и там купили в кассе билеты до города Червонограда, красного то есть города, и поехали в этот Червоноград. И там их встретили мать и отец Ларисы. И они обнимались и радовались их приезду и встрече, и из дома сразу повезли на свою дачу. И Лина бегала по огороду и дергала зелень и ела, и ела с земли клубнику до отвала, и целовала котенка Тишку, и ей было весело. А Лариса сидела в домике с родителями и говорила, что хочет у них пожить месяц отпуска, потому что с Кротовым у них черт знает что происходит, а не совместная жизнь, и относится они друг к другу не могут без отвращения, и, может быть, отдохнут теперь один от другого и после этого все как-нибудь поправится и утрясется. А мать говорила, что, конечно, отдыхай, о чем разговор, а в жизни, говорила, еще и не такое бывает у людей и все живут и от этого не поумирают. А отец говорил, что оставайся у нас насовсем, а Кротов сам за тобой прилетит и будет упрашивать и умолять вернуться — никуда не денется, а если не прилетит, так и ну его в задницу или еще куда подальше. И Лариса стала отдыхать и встречаться с одноклассниками, и ходить с матерью на толкучку, и покупать разные польские вещи себе и Лине, и ходить купаться и загорать на Буг. И она редко вспоминала Кротова, и Лина тоже его совсем не вспоминала. А Кротов сказал Гере, чтоб он больше не приводил таких диких и сдвинутых баб никогда, и Гера даже обиделся на Кротова за его неблагодарность и ушел домой, а мать его все спала, и он не стал ее будить, а лег и надел наушники и включил музыку. А Кротов вытолкал телку за дверь и тоже лег и не мог уснуть, потому что был день. И он лежал на кровати и думал, что, наверно, не миновать ему восстанавливать и налаживать семейные отношения с Ларисой, хотя бы из-за дочки, и чтобы не жить одному, потому что с Ларисой, конечно, жить тошно и противно; ну а одному — это вообще не жизнь, а одно название. И тут ему позвонила Лидка и сказала, что вполне имеет возможность прийти с подругой, если его жаба отвалила, и пускай срочно кого-нибудь ищет и зовет для подруги. И Кротов снова позвонил Гере и его позвал. И Лидка пришла с подругой и притащила полную сумку жратвы и выпивки из своего кабака, где она работала официанткой в большом зале. И Гера пришел, хоть и был в обиде на Кротова, и рассказал, что его мать спит со вчерашнего вечера на боку. И они сели пить и есть и напились до полусмерти и до потери сознания. И Кротов полез по ошибке и с пьяных глаз не на Лидку, а, наоборот, на ее подругу, а Лидка вцепилась за это в его залитые глаза когтями, и по щекам Кротова потекла кровь. И он отстал от Лидкиной подруги, и Лидка повалила его на кровать и, можно сказать, стала насиловать, пачкаясь кровью с его лица. А Гера, он сидел в другой комнате в обществе подруги Лидки, пил и спрашивал у нее:

— Ну разве может человек так долго спать на одном боку и не просыпаться со вчерашнего вечера, то есть целые сутки подряд?

А подруга не отвечала ему на этот вопрос, а говорила только одно и то же:

— Слышь, мужик, ты сделай меня, а, ну что тебе стоит? — и садилась к Гере на колени, а Гера ее оттуда сгонял.

И так или приблизительно так проводил все свое время Кротов с участием Геры и разных случайных женщин, и он не пускал Геру домой, чтоб не оставаться одному в квартире. А Гера говорил, что мне на работу надо и у меня мать там, дома, спит на боку, а Кротов говорил:

— Да ладно тебе, лучше выпей.

А Лариса все отдыхала и отдыхала у своих родителей в городе Червонограде и ездила с ними в поселок Рожище, где жил ее прадед, и троюродный брат, и двоюродная сестра матери. И эта сестра имела большой дом и держала двух кабанов, и кур, и кролей, и козу, а прадеду было девяносто два года, и он каждый день рассказывал Ларисе, как воевал в гражданскую войну пулеметчиком за красных, и как стрелял очередями по колоколам из «максимки», и как колокола звонили на всю ивановскую, распугивая птиц и старух. Говорил:

— Залегли мы, это, в низине, а на пригорке так, на бугре, церковь огромных размеров, а комиссар и говорит мне как пулеметчику, а ну вдарь, говорит, ей по колоколам, чтоб шума побольше было и чтоб знали все, что мы уже тут. Ну я и вдарил без единого промаха.

А больше прадед ничего не помнил из своей жизни, потому что у него был глубокий, рассеянный по всему телу склероз и ни о чем он ни с кем не говорил, только об этом. А троюродный брат Ларисы был боксер и бабник, но еще сопляк против нее, и он пробовал к ней приставать и лезть в постель, а Лина увидела это и сказала:

— Мама, а что вы делаете?

И Лариса поперла своего этого троюродного брата в три шеи, хотя ей и было в душе приятно, что он за ней ухаживает.

А потом они уехали из поселка Рожище и вернулись обратно. И весь месяц, какой был в распоряжении у Ларисы, подошел к своему окончанию, и она взяла билеты домой. А отец ее отговаривал и обещал устроить на хорошую работу, но она взяла билеты, потому что все равно, в любом случае, съездить домой ей было надо и необходимо. И она позвонила Кротову по междугородке и сказала, что прилетает завтра рейсом из Тамбова. И он спросил, почему это из Тамбова, а она сказала:

— А откуда?

А он сказал, что все понял и встретит ее у трапа самолета. И Кротов отпустил Геру и сказал, что он может идти к себе и на все четыре стороны, и Гера обрадовался и ушел. А Кротов приступил к генеральной уборке квартиры. Он вынес в мусоропровод все бутылки и банки и подмел, и разложил по своим местам. И когда он заканчивал уже убирать, ему позвонил Гера и сказал, что мать его все еще спит и, наверное, она во сне умерла. А Кротов ответил, что надо ее, значит, хоронить, не откладывая на завтра. А завтра он купил букет живых цветов и поехал в аэропорт встречать Ларису и дочку. И самолет произвел посадку и приземлился, и стали из него выходить авиапассажиры, а Ларисы и Лины среди них Кротов не обнаружил. И Кротов подошел к стюардессе, которая шла следом за прилетевшими пассажирами, и спросил у нее про Ларису. Сказал:

— Тут с вами женщина летела красивая и девочка шести лет, — и описал внешность Ларисы.

А стюардесса говорит:

— Ну и что?

А Кротов спрашивает:

— Так, а где они?

А стюардесса говорит:

— А они раньше вышли.

— Как это раньше? — Кротов спрашивает. — У вас что, посадка была промежуточная?

— Не было у нас посадки, — говорит стюардесса.

А Кротов говорит:

— А как же они вышли?

А стюардессе, видно, надоели его вопросы, и она сказала со злостью:

— Ну как, как? Вышли, и все. Неужели не ясно?

И Кротов сказал:

— Ясно, — и вспомнил номер такси, на котором уезжали жена и дочка в отпуск месяц тому назад, и номер этот был совсем простой и легко запоминающийся — 44-11.

1992

## *Мечта Манякина*

Манякин лежал на смертном одре и тихо выздоравливал. И очень хотел как-нибудь протрезветь и задуматься. Потому что у него никогда это не получалось. В смысле чтоб и то и другое вместе. Отдельно протрезветь ему иногда правдами и неправдами удавалось. И задуматься удавалось. Но — в нетрезвом виде. И он чувствовал инстинктивно, что это не то, что, если бы он протрезвел как следует, он бы совсем не так задумался и не над тем. Он бы по-настоящему это сделал — задумался то есть обо всем сущем и над всей своей жизнью в целом, и над жизнью как непреложным фактом бытия природы в различных ее проявлениях и аспектах. Но для этого, думал Манякин, трезвость нужна устоявшаяся, длительная, привы-

чая для организма и организмом целиком приемлемая в качестве нормального его состояния. А Манякин трезвел всегда на короткое и сравнительно непродолжительное время, всегда без подготовки, неожиданно для себя и для своего организма, и думал он в эти редкие минуты просветления и печали только об одном — где взять алкоголь. Ну и о том, что надо все же взять себя в руки, серьезно и основательно протрезветь и глубоко задуматься.

— Вот, — говорил Манякин себе или своему брату по матери Сашке, — вот, — говорил, — Александр, так мы и влачим жизнь свою, не задумываясь ни на йоту. А задумываться надо, и более того — необходимо. Но для этого же прежде всего надо пребывать в здравом уме и трезвой памяти, очиститься, одним словом, надо.

А Сашка, брат, вторил ему трагически:

— Надо.

И Манякин говорил:

— А пока, Александр, надо крепко задуматься о том, где изыскать алкоголь без наличия наличных денег.

Он всегда Сашку называл Александром, а выпивку — алкоголем. Так Манякину казалось почтительнее. Не поворачивался у него язык называть спиртной напиток водкой или портьвейном, или тем более хересом. Потому что Манякин к спиртным напиткам относился с должным пиететом и их уважал. И Сашку тоже уважал, несмотря на то что по-родственному — как брата. Потому он их и звал в высшей степени уважительно — Александром и алкоголем. А в отношении других людей и предметов быта Манякин вел себя, случалось, невоздержанно. Поскольку ему алкоголь ударял в голову и лишал толерантности к окружающей среде, а также и простого человеческого терпения. Ну и вежливости всякой лишали Манякина алкогольные испарения, поднимавшиеся из желудка и распространявшиеся с завидным постоянством по всему его телу. И когда паров содержалось в Манякине не очень много, он выглядел легким и веселым, и эта легкость царила и господствовала в Манякине минут пятнадцать, а потом пары перенасыщали кровь и душу, Манякин тяжелед, оседал и весь наливался чем-то вязущим, отекая и обозясь неизвестно на кого и на что. Но даже в таком неадекватном и затуманенном состоянии Манякин помнил и цепко держал в подсознании, что не сейчас, так после надо будет ему протрезветь и задуматься. *Зачем* ему это надо — не всегда держал, но то, что *надо*, — всегда. Как аксиому или, проще говоря, лемму.

Кстати, у Манякина в этих его настоятельных духовных потребностях было много единомышленников. Помимо Сашки. И все они выражали свое полное согласие с мечтой Манякина. До мелочей. Другое дело, что ни Манякин, ни они все, его единомышленники, не видели реальных путей к осуществлению своих этих потребностей первой необходимости. Во всяком случае, легких путей. А на трудные пути у них не хватало физических сил. И свободного времени не хватало. Заняты они были. Не все, конечно, но многие из них. Потому что они работали, трудясь по восемь часов пять дней в неделю. Почему они это делали — не очень-то было ими осознано, и не раздумывали они над этим вопросом. Так, наверно, они были устроены и воспитаны с молодых лет и ногтей своими родителями — отцами и дедами, а потом, видимо, вошло у них в привычку за многие годы и в кровь — ходить работать. А если не ходить и не работать, говорили они друг другу, что тогда целыми днями делать с утра до ночи, кроме как беспробудно злоупотреблять спиртными напитками. Но если все будут целыми днями злоупотреблять и не будут работать — на что тогда злоупотреблять и чем злоупотреблять? Ведь то, чем люди злоупотребляют, тоже кто-то производит на свет, и они — те, кто производит, тоже, конечно, люди и тоже работают. И тоже, конечно, злоупотребляют, в смысле пьют. «Кто не работает — тот не пьет» — вот какой должен был быть основной принцип и лозунг социалистического государства рабочих и крестьянских депутатов. Тогда бы оно победило всё до основания, и мировая революция состоялась бы в означенные товарищем Лениным и иже с ним сроки. А так — вот чем весь их хваленый социализм кончился. И в отдельной стране, и во всем социалистическом мире. Правда, Манякин говорил, что мне всё едино — хоть социализм, хоть капитализм, хоть фуизм. Мы, говорил Манякин, пили, пьем и будем пить, пока не протрезвеем и не задумаемся. Но если это с нами случится — мы им *всем* покажем. И всё! Ведь до чего мы сможем тогда додуматься

своими умами — это страшно себе представить и трудно даже в помыслах вообразить. Не говоря про то, чтоб выразить общепринятыми словами. Манякину и в нормальном-то его состоянии души и тела такие мысли, бывало, приходили в голову, что любой доцент позавидовать ему мог белой завистью. Месяц примерно назад, где-то после пяти часов вечера, Манякин вопрос вдруг поставил перед собой и Сашкой и перед всем человечеством. Уже на одре находясь, поставил. Почему, значит, Бог, если он Бог и есть, допустил, чтоб народы им же созданного мира сначала в идолов каких-то верили языческих и им поклонялись, а потом стал их, народы, значит, на свой путь наставлять, истинный, и учить огнем, можно сказать, и мечом в себя одного верить и больше ни в кого? Евреев специально для этой науки выдумал и породил. И говорил Манякин:

— Ну? Ответьте мне, зачем и почему это? Если он Бог, а?

И говорил:

— Вот то-то и оно. А то — Бог, Бог. Видали мы, — говорил, — таких богов, — и ругался нехорошими словами, забывая, что и кого ругает, и поэтому продолжал ругаться долго и даже очень долго, почти можно считать, бесконечно. И его ругань напоминала чем-то степь, потому что была такой же бескрайней, ровной и безразличной ко всему — и к тому, кто идет по ней, топча сапогами, и к тому, кто ничего о ней не слышал, и к тому, кто летает над ней, чирикавая в шелесте крыльев, и к тому, кто живет в ее норах. И бывало, Сашка, Александр, брат по матери, забегал к Манякину во время работы, работая водителем городского троллейбуса, садился и слушал ругань Манякина заворуженно, и казалось ему, что он лежит на жесткой сухой траве, а лицо подставляет душному степному ветру. И он слушал и слушал заунывную манякинскую ругань, слушал, пропуская мимо ушей смысл и наслаждаясь ее гулом, ритмом, размахом, слушал до тех пор, покада Манякин не замечал его присутствия и не смотрел на часы с боем, где бой был, правда, поломан и ремонту не подлежал.

— На работе? — спрашивал тогда Манякин Сашку.

— Ну, — говорил Сашка. — Вон троллейбус под окнами стоит пришвартованный. Сто человек в салоне, не меньше. А может быть, человек триста.

— Значит, ты будешь сегодня не пить? — говорил Манякин.

— Значит, буду, — говорил Сашка обреченно и держался до последнего вздоха минут двадцать. Потом в последний раз вздыхал и говорил:

— Если что, на такси доеду. Или на трамвае. — И наливал себе чего-нибудь и выливал это в себя. И он тут же забывал про свой троллейбус и про то, что в нем находятся пассажиры с их горестями, и радостями, и страстями. И про свои святые служебные обязанности водителя городского троллейбуса с радостью он забывал, и про то, что его долг перед людьми в троллейбусе им не выполнен, и люди не доведены им по прямому их назначению. Но он не давал себе воли думать о том, что, может быть, они — люди — от этого страдают и мучаются, стоя в троллейбусе плечом к плечу, лицом к лицу, телом к телу — мучаются в тесноте и в обиде, сжатые сами собой и друг другом в ограниченном стенками салона жизненном пространстве, и что, может быть, им нечем дышать. Он сидел и, покачиваясь взад и вперед, слушал первозданную ругань Манякина, которая длилась и не иссякала часами. Она не прерывалась, когда являлась соседка с первого этажа дома напротив и стучала здоровой рукой во все двери и кричала неразборчиво, но настойчиво и громко:

— У вас Игоря нет? — И опять: — У вас Игоря нет? — и опять то же самое. Стучала и кричала и не уходила, говоря: — Ну где же он, где, с ключами?

И у всех, кто входил или выходил на лестничную площадку, она спрашивала:

— Вы Игоря не видели? — и вращала, как кукла, глазами и поднимала, растягивая, свою верхнюю заячью губу к носу.

— Мы не знаем, кто такой Игорь, — говорили ей в конце концов, — не знаем.

И соседка прекращала стучать и кричать, будто только этого и ждала, и шла, припадая на контрактуру, к лифту и причитала: «Ну где же он может быть, с ключами?»

И слышно было, как разъезжались и съезжались механические двери лифта, и как он сползал, запечатанный, на привязи вниз, в шахту. Это было слышно, так как Манякин всегда заканчивал ругаться на ее последних причитаниях «где же он может быть, с ключами». На этих причитаниях соседки он умолкал всегда.

Умолкал и прислушивался к звукам извне, умолкал, а потом говорил что-нибудь.

Например:

— Я, — говорил, — на работу устроился.

А Сашка говорил:

— Ты?

— Ну, — говорил Манякин. — Клянусь честью. — И: — Как теперь протрезветь — просто не знаю. Я же, — говорил, — церковь строить устроился в бригаду, на жилмассиве «Ясень».

— Какую церковь? — наливал себе нехристь Сашка от удивления и от удивления же выпивал.

— Православную, — говорил Манякин. — Сначала — временного характера, ангар, одним словом, поставим, чтоб было людям, где помолиться. А то сейчас негде. Священник по пятницам туда, на «Ясень» этот, приезжает и, значит, под открытым небом службы проводит: и народ, значит, мерзнет под дождем и солнцем — как все равно на остановке. Ну, а потом, — говорил Манякин, — впоследствии, церковь построим белокаменную, из красного кирпича. Имени Пантелеймона Целителя.

— Кто, — говорил Сашка, — «построим»?

— Мы, — говорил Манякин. — Кто же еще, как не мы?

— То есть ты, — говорил Сашка, — устроился церковь строить?

— Устроился, — подтверждал Манякин.

— А чего ты дома? — говорил Сашка. — И практически в положении риз?

— Так объем работ, — говорил Манякин, — отсутствует. Ангара на месте нету, кирпича — нету, место горисполком выделил, но не дал. А строителей уже наняли — поспешили. Вот мы и тут.

— Да, — говорил Сашка, — завалится ваша церковь. Как гараж у Федорука завалился.

— Гараж я не строил, — говорил Манякин. — При чем тут гараж?

Он садился по-турецки в красном углу и удивлялся, какое прямое отношение имеет упавший гараж Федорука к строительству в будущем церкви, а в недалеком будущем — ангара временного содержания, пригородного для служб, молитв и песнопений, а также для совершения обрядов венчания, крещения, отпевания и так далее. И во время его удивления приходил к ним священник Петр, то есть отец Петр, конечно. И Манякин у него спрашивал:

— При чем тут гараж и какое он имеет отношение ко мне?

А отец Петр говорил:

— Все от Бога. — И: — Ангар, — говорил, — завезли с Божьей помощью, и пришла пора его разгружать.

— Да, — говорил Манякин, — раз завезли, то надо разгружать. И выпить надо.

— Во славу Божию? — говорил отец Петр.

А Манякин говорил:

— В нее.

И отец Петр вежливо выпивал и:

— Пойду, — говорил, — дальше, людей собирать по жилищам. А ты иди к ангару. Сын мой.

— Иду, — говорил Манякин. — У же.

А отец Петр говорил:

— Чей это там, — говорил, — троллейбус стоит, ржавеет? Не знаете?

— Не знаем, — говорил Сашка. А отец Петр говорил:

— Тогда я пойду, троллейбусных людей под разгрузку приспособить попробую, их там, в троллейбусе, человек сто без дела мается.

— Триста, — говорил Сашка. — Не меньше.

— Триста? — говорил отец Петр. — Триста — это лучше, чем сто, и главное, втрое больше.

Манякин, не двигаясь с места, провожал отца Петра, помахивая ему рукой на прощание, провожал, так и не поняв, отправился он по жилищам строителей поднимать или, наоборот, к троллейбусу. «А если бы мне протрезветь до нуля и задуматься, — думал про себя Манякин, — я бы понял, все бы я на хрен понял». И он начал рассказывать Сашке, что отец Петр не кто иной, как инженер-строитель и что он вернулся из армии с двумя инсультами инвалидом, и его никто

не мог спасти, а сейчас вот он священник и уже вторую на своем веку церковь строит, и выпить может, если что, не хуже нашего.

А Сашка задавал Манякину вопрос ребром:

— Так ты идешь?

И Манякин ему отвечал:

— Куда?

— Хорошо, — говорил на все это Сашка. — Тогда ты мне ответь.

Манякин смотрел на Сашку ответственно и говорил, что это он может, о чем речь. И Сашка у него спрашивал:

— Ты чего сидишь по-турецки, как йог?

— Не знаю, — отвечал Манякин.

— А говорил — можешь, — укорял Манякина Сашка и выходил на свежий в кавычках воздух, следуя за отцом Петром или не следуя ни за кем, а просто идя или, вернее, уходя восвояси.

Троллейбус он находил обычно под окнами в неприкосновенности. Народ всегда оставался в троллейбусе и стоял там стойко, хотя и из последних сил, рассуждая, наверно, что это все-таки лучше, чем ангар разгружать железный или чем выламывать двери и вышибать окна троллейбуса лишь для того, чтобы из него выйти. А увидев сквозь запотевшие стекла окон Сашку и опознав в нем своего водителя, народ начинал кричать:

— Поехали!

А Сашка народу отвечал:

— Не могу, пьяный за рулем троллейбуса — преступник. — И потом еще добавлял: — В особо опасных размерах.

— Ты же трезвый был, — удивлялся народ. — Когда ж ты успел умудриться?

— Успел, — говорил Сашка. — А когда — суть не столь важно.

И он отворачивался от родного своего троллейбуса и от людей, в нем находящихся, которых нельзя даже было назвать пассажирами, а можно было — задержанными, и он удалялся в сторону моста и двигался через мост пешком или на трамвае в направлении своего дома — постоянного места жительства. А когда переправлялся Сашка на другой берег, река отрезала от него город, оставляя его за спиной и за собой, то есть не весь целиком город, а его центральную часть.

А Манякин тоже подолгу не сидел, сложа руки и ноги по-турецки, а откликался, допустим, на зов отца Петра и шел к месту строительства будущей церкви, где, кстати сказать, и в далеком незапамятном прошлом была церковь, а теперь есть новый жилой массив «Ясень», не имеющий не только что церкви, но и поликлиники, и рынка сельхозпродуктов, а кинотеатр уже имеющий, потому что построили его прошлым летом строители в соответствии с генпланом застройки города, построили и присвоили имя «Тополь», и теперь осталось этот «Тополь» открыть, сделав доступным для широких слоев кинозрителей.

Да. Это надо отдать Манякину должное — если уж он устраивался на какую работу, то от нее не отлынивал и не уклонялся и всегда приходил, когда его звали, на свое постоянно шаткое состояние внимания не обращая. И другим тоже не давая повода обращаться. И все равно для него было что делать в этой жизни под видом работы — церковь возводить на века, кинотеатр или, к примеру, гараж Федоруку. Хотя кинотеатр и гараж Манякин не возводил. Чего не было в биографии у него, того не было. Иначе бы он помнил. Если бы возводил. И не упал бы тогда гараж наутро следующего дня. Не рухнул бы под весом собственной крыши и не стал бы местом погребения заживо обеих частных машин Федорука плюс его же служебной «Волги» плюс самого Федорука и его личной любимой женщины, состоявшей при нем в должности секретаря-референта со знанием английского языка, стенографии, делопроизводства и оргтехники. Ну и в делах любви, говорят, она понимала настоящий толк и знала себе в этих делах настоящую цену. И цену самой любви тоже она хорошо понимала, чего никак невозможно было сказать о Федорукке в бытность его живым и здоровым. А сейчас и смысла никакого нет о нем говорить. Вообще. Потому что остался он под обломками нового гаража в машине вместе с любимым референтом, и их вырезали оттуда в присутствии вдов и сирот двумя автогенами сразу, предварительно разобрав завал.

А сейчас вот и Манякин лежал на своем смертном одре. Правда, он выздоравливал, имея последнее желание — протрезветь в конце концов не на словах, а на

деле и задуматься. То есть, выходит, Манякин имел два последних желания, накладывающихся друг на друга, но они никак не осуществлялись, не осуществлялись потому, что нескончаемым потоком тянулись к нему, больному, из лучших побуждений друзья минувших лет и приносили, чтобы распить с Манякиным за возможно скорый упокой его души. И брат по матери Александр приезжал к заболевшему Манякину исправно на своем городском троллейбусе, и отец Петр приходил по старой и доброй памяти с завидным постоянством, хотя церковь на «Ясене» так ему и не удалось возвести пока. Горсовет принял постановление под бассейн то место церковное задействовать, крупнейший в городе и области, поскольку в здоровом теле и дух здоровый содержится, как гласит народная мудрость.

А ангар удалось построить при помощи Божьей и при содействии — спасибо горисполкому. Холодновато в нем только в зимний период года, а в летний, наоборот, жарковато, но зато сухо под сенью ангара, и иконы, а также прочие предметы культа не намокают и не подвергаются внешним климатическим явлениям и колебаниям, а уж в ясную безоблачную погоду сверкает ангар и блестит на солнце по типу настоящего купола. Так что отец Петр приходил к Манякину как к сыну своему перед Богом и говорил ему убедительно:

— Покайся, сын мой, в грехах.

На что Манякин отвечал ему слабым голосом:

— Каюсь, отец Петр, за это и выпьем.

— Ведь болеешь от нее, — говорил отец Петр, закусив.

— А может, и не от нее, — говорил Манякин с одра неопределенно.

— Покайся и исповедуйся, — настаивал на своем отец Петр, — легче станет.

— Каюсь и исповедуюсь, — говорил Манякин искренне, и ему действительно стало легче.

Машина вот только какая-то грузовая тарахтела во дворе своим двигателем внутреннего сгорания, и она действовала, конечно, звуком на воспаленные нервы Манякина, потому как не умолкала ни днем, ни ночью. И Манякин понимал умом и сердцем шофера этой машины, опасавшегося не без оснований, что не заведется она вновь при минусовой температуре, если ее заглушить. Да и воду тогда пришлось бы сливать из радиатора, чтобы не замерзла в лед, а кому это может понравиться — сливать ее на морозе, потом заливать обратно, таская ведром, то есть бессмысленными манипуляциями заниматься, от которых ни вреда никому, ни тем более пользы, а лишь одна трата времени. И поэтому шофер не выключал двигатель своей грузовой пятитонной машины никогда, и она стояла во дворе дома, отравляя окружающую среду выхлопными газами и мерным моторным рокотом, а с другой стороны, под этот моторный рокот Манякин часто засыпал, а сон, говорят, для больного — первое и нужнейшее дело.

Но, понятно, его будили, потому что народ шел к Манякину, подразумевая проститься с ним на тот самый крайний случай, и были это разные люди, те, с кем он пересекался и сталкивался на просторах жизненного пути. Друзья детства и те приходили, в частности главный редактор газеты «Торговлю — в дом». Он приходил, как печальный жираф, со свежим номером своей газеты и сидел, скрючив свое длинное непослушное тело, у Манякина в изголовье и читал ему вслух газету от первой до последней страницы, распространяя по комнате запах черной типографской краски. А Манякин слушал его неуклюжее чтение, говоря:

— Выпей, друг детства, за мое плохое здоровье.

А главный редактор говорил:

— Я, как глубоко верующий человек, не пью, не курю, но зато я тебе, — говорил, — лекарство принес импортных — от всех телесных болезней.

— За лекарства большое спасибо, — говорил Манякин редактору, — отдай их вон Александру.

— Почему Александру? — спрашивал главный редактор, а Манякин ему отвечал:

— Он их на алкоголь сменяет. С выгодой для всех нас, вместе взятых.

А один раз редактор этот пришел с настоящей цыганкой, заявив:

— Сейчас она тебе всю правду скажет. Что тебя ждет впереди и на что ты надеяться вправе.

И цыганка с картами взяла руку Манякина, посмотрела на нее, к свету поднесла и сказала:

— Ждет тебя, милый... — и замолчала, запнувшись. И карты на постели раскинула, а Манякин, пока она их раскидывала, осмотрел свою руку самостоятельно, отметив, что ногти у него расти стали гораздо быстрее, чем прежде, и опять сказала цыганка: — Ждет тебя...

— Что ждет? — сказал Манякин.

— А ничего, — сказала цыганка, — если я, конечно, не ошибаюсь.

— Помру, что ли? — сказал Манякин.

— В том-то и дело, что нет, — сказала цыганка. И редактор ее увел, чтоб она и ему погадала на будущее, так как, сказал, меня женщины интересоваться перестали и хочу я знать и предвидеть, чего мне от них ожидать в дальнейшем.

«А чего вообще надо от них ожидать?» — подумал влогонку редактору и цыганке Манякин и подумал, что над этим вопросом тоже не мешало бы ему задуматься — его-то давно женщины не интересовали и не занимали ни в коей мере, но он об этом никогда не думал и не сожалел: не занимали и не занимали — лишняя гора с плеч. Манякину как раз совсем противоположный вопрос покоя не давал, тревожа настойчиво болезненное воображение: почему все его посещали за время тяжелой и продолжительной болезни (даже поэты заходили на огонек местные, и милиция, и художник из города Петродзержинска приезжал, и нищие тоже регулярно зааживали с людьми без определенных занятий), а врач — нет, ни разу не навестил. Конечно, среди сонма знакомых и близких врачей у Манякина не имелось, но можно же было, наверно, вызвать участкового терапевта? Так, во всяком случае, казалось Манякину. Нет, ему не нужны были никакие доктора с рецептами, градусниками и ножами, он им не верил и их не любил — за то, что ходят в белых халатах, — и все-таки считал Манякин, что для порядка вызвать врача, пускай самого захудалого, было бы не вредно и необходимо. Чтоб он что-нибудь констатировал. И Манякин спрашивал у окружающих и присутствующих:

— А вы мне врача вызывали?

И окружающие говорили:

— А как иначе?

А Манякин спрашивал:

— И когда он будет?

А они говорили:

— Будет после двенадцати.

После чего Манякин лежал себе, выздоравливая, и не мог в точности определить — сейчас уже *после* двенадцати или еще *до*. Время перестало поддаваться его учету и контролю, а часов с боем видно Манякину с ложа не было. Ну и боя у часов не было, это уже известно. А если бы бой у часов не вышел в ходе времени из строя, то они бы, конечно, били, отбивая каждую четверть, и каждые полчаса, и каждый час. Поэтому Манякин произносил иногда ненавязчиво:

— Бой бы в часах починить.

И кто-нибудь ему обязательно отвечал:

— Да-а.

Но бой не представлялось возможным починить в этих старинных часах, вполне достаточно и того было, что они еще идут, — настолько его часы выглядели и считались старинными. Их один часовщик из центрального дома быта когда-то смотрел — так он только раскрыл крышку заднюю еле-еле, увидел механизм воочию и сказал:

— Ну ни хрена себе.

И ушел, это сказавши, в свою мастерскую, не сумев закрыть крышку и оставив ее в распахнутом настежь виде.

А другой часовщик, вернее часовой мастер, сказал, в часы эти заглянув:

— Бля, — и тоже ушел. А его манякинские друзья-товарищи специально по всему городу днем с огнем искали и нашли случайно в возрасте уже восьмидесяти девяти лет. И несмотря на свой бесценный опыт и преклонные годы жизни, оценил он механизм часов Манякина именно этим вышеприведенным словом нелитературного свойства. А в юности он подмастерьем часовщика двора Его Императорского Величества состоял, и уже в молодости не было для него нечинимых часовых механизмов. А этот вот английской конструкции оказался и к тому же чуть ли не современной Вильяму Шекспиру сборки. Так что Манякин лежал, боля, вне времени, в одном только пространстве комнаты и выздоравли-

вал как-то бессистемно и хаотически. Так же, как и лечился. То есть конкретно он никак не лечился за исключением алкоголя, но приходили же к нему разные люди, чтобы позаботиться о нем и о его выздоровлении на месте, ну и, само собой разумеется, один горчичники к пяткам прилепит, другой — банки на грудь поставит, а третий — гоголь-моголь принесет в китайском термосе из дому и зальет Манякину в рот прямо из зеркального горлышка или же нос ему закапает глазолином, не спросив разрешения и согласия. Манякин говорил им всем, что это же насилие над больной личностью, а они ему отвечали, что и насилие бывает во благо и полезно для здоровья человека, поэтому человек обязан такое насилие терпеть, Господь, мол, терпел и всем велел, и Манякину, значит, в том числе. Да он, Манякин, терпеть и не отказывался, тем более что как бы он мог отказаться, лежа на спине и тяжело болея. Терпеть — это Манякину было не привыкать. Терпеть он приспособился давно и за жизнь свою, сейчас в нем теплившуюся, угрожая угаснуть, всякого успел натерпеться, и один, самостоятельно, и вместе с народом-тружеником, и как угодно. И, конечно, чего угодно он натерпелся. Потому-то он и считал для себя важным и жизненно необходимым задуматься всерьез и надолго. Чтобы осмыслить пройденный свой путь и сделать соответствующие выводы. И опять же, зачем нужно было Манякину что-либо осмысливать и делать выводы — ответить ни себе, ни другим он в состоянии не был, так как для того, чтобы ответить на эти «зачем», именно и нужно было задуматься. Что никак ему не удавалось. И другой бы, наверно, давным-давно пришел к заключению, что если не удастся, то и не надо мне этого ни по большому счету, ни в принципе, и жил бы себе этот предполагаемый другой в свое собственное удовольствие, но тогда это был бы уже не Манякин, тогда это и был бы кто-то совсем другой, на Манякина ничем не похожий. И в конечном счете Манякин одержал бы, наверное, над собой полную и окончательную победу, взяв себя в руки, и задумался бы так, как мечтал многие годы, состоящие, как известно, из дней, вечеров и ночей.

Но он заболел. Простудился, опрометчиво выйдя на улицу, и заболел. У него остро воспалились легкие с бронхами и возникли непонятно откуда другие внутренние болезни. А возможно, они не возникли, возможно, они просто обнаружили и обострились, спровоцированные жестокой простудой. Но это в данном случае все равно и неважно, а важно, что оказалось их слишком много даже для манякинского организма, закаленного всем образом жизни Манякина и, казалось бы, вполне приспособленного к разного рода перегрузкам. Хотя он бы с ними, организм в смысле с болезнями, так или иначе справился, потому что не зря же Манякин стал выздоравливать. Никто уже не надеялся и не сомневался — прощались с ним подчистую, раз и навсегда, с визитами шли, как к телу. Отец Петр грехи ему и те отпустил в преддверии, можно сказать, авансом, а Манякин все выздоравливал и выздоравливал, и говорил все чаще полупшепотом, ни к кому в частности не адресуясь:

— Мы еще, — говорил, — задумаемся всем смертям назло. Нам бы, — говорил, — только протрезветь в бога душу мать до образа и подобия ну и, конечно, выздороветь.

Да оно, в общем, к этому все и шло естественным путем и пришло бы рано или, в крайнем случае, поздно, если бы на улице еще больше не похолодало и не поднялся бы ураганный ветер, направленный своим фронтом точно в окна Манякина. А квартира у него была старая, хрущевской эпохи построения коммунизма — отец ее Манякину после себя оставил, — и рамы в квартире, понятно, рассохлись, растрескались, и в них образовались щели. И вот в эти щели врывается теперь с воем и посвистом северо-западный ветер. И он гулял без препятствий по комнате, взметая пыль из углов, вертелся под потолком вокруг желтого плафона с лампой, трепал тряпичные блеклые занавески, хозяйничал у Манякина в постели, проникая под одеяло, и, как назло, никого в это время рядом с Манякиным не оказалось. Совсем никого — ни друзей, ни соседей, ни каких-нибудь случайных знакомых. То отбоя от них не было, а то — хоть шаром покати. Все небось по домам сидели безвылазно, испугавшись суровой зимы. И Манякин, будучи все еще слабым и невыздоровевшим, встал со своего ложа с целью тепло одеться, так как яснее ясного он осознал, что одеться сейчас для него — это самое важное в жизни. И он, преодолевая свою немощь, добрался до вешалки и,

дрожа, надел на себя вначале полушерстяной фиолетовый свитер, натянув его с трудом через голову — горло у свитера было длинное и узкое, как кишка, и всегда больно заворачивало книзу уши. Потом влез Манякин в трико хлопчатобумажное — одной ногой в левую его штанину, другой — в правую и присел, опираясь спиной о стену, чтобы, вставая, подтянуть руками трико до талии или чуть выше. Поверх свитера и трико надел Манякин спортивный костюм с байковой подкладкой и с вышитым гладью на груди словом «adidas», затянул до самого подбородка замок-молнию и вернулся шаг за шагом обратно в постель, которая, постояв без него с отброшенным на сторону одеялом и доступная вдоль и поперек ветру, сильно остыла. Но Манякин надеялся согреть ее собой после того, как, укутавшись, сам согреется и накопит тепло, сохраняя его в одежде и под одеялом. Одеяло у него было ватное, толстое и от этого теплое, как печка. И Манякин, лежа лицом вверх, укрылся им с головой, а низ одеяла подвернул внутрь и прижал пятками к матрасу. Надо было ему еще и носки надеть на ноги, это Манякин всеми внутренностями чувствовал, но на вешалке носков не нашлось и искать их следовало скорее всего в шкафу, а до шкафа идти Манякину не хотелось, из-за того, что шкаф стоял далеко, в самом углу комнаты, прямо впритык к окну. А в окно дуло и несло мокрым — по-видимому, метель на улице усиливалась, перерастая мало-помалу в пургу, а из пурги — в бурю. И Манякин слушал эту пургу и слышал ее сквозь толстый слой одеяла приглушенно, как будто уши у него были забиты ватой. А вот согреться он все не мог — и одет вроде был тепло, и одеяло со всех сторон коконом — и никакого толку. Холод полз от голых ступней под одеждой к бедрам, от бедер — к груди, перебираясь по туловищу и рукам к плечам, шее, голове и проникая с дыханием внутрь. В общем, ошиблась цыганка на все сто процентов. Так и не согрелся Манякин в своей постели. А успел или не успел он задуматься, как мечтал при жизни, теперь, конечно, узнать невозможно, но когда через неделю после пурги и бури пробился к Манякину на троллейбусе брат Сашка, Манякин выглядел так свежо, словно жизнь из него ушла совсем недавно, буквально час или два назад, и его мертвое лицо было задумчивым. А главный редактор газеты и друг счастливого детства покойного сказал, не удержавшись в рамках:

— Видно, проспиртовался он, — сказал, — за все свои годы насквозь, вплоть до клеток, атомов и молекул.

Марина Кудимова

## У каждого звука своя тишина...



\* \* \*

Государствами грубой работы  
Искони производят фурор,  
И сквозь щели петровских вельботов  
Смотрят жерла грядущих аврор.

И постылых столиц пионеры,  
Пистолет обратив в постулат,  
Несмотря на дурные манеры,  
Диалектикам пищу сулят.

И они не заимствуют лоска,  
Если век Ренессансом задет,  
Чтоб на рукопожатье Милосской  
Мог рассчитывать их резидент.

Ну а вдруг бездуховен Бетховен,  
Отрицанием данность судя,  
И художник по сути греховен,  
Ибо много берет на себя!

Ибо что остается лишенцу,  
Кроме страха за тех, кто минул,  
Отрицая пути к совершенству  
Или ставки смешав на кону?

О наследство таких диспропорций!  
Ты аукнешься в сфере Творца,  
А откликнешься лишь в богоборце  
Да в кровавой брусчатке торца.

И, поскольку свирепствует Фатум  
И ерошит на Цербере шерсть,  
Может, гений — унылый постфактум  
Даже в случае явных волшебств?

Но неужто в пристрастье к афере  
Дармоедский ошиканный клан

Над Евангелием от Орфея  
Распростер ограждающе длань?

И ведь в нуждах не сущих, а вящих  
Все копается мимо лузги...

Это как у играющих в ящик:  
Выход — вечность.  
А ниже — ни зги.

1976

### Этюд о сверстнике

Борису Евсееву

...Над половицею стопа  
Озябла, но боится скрипа.  
Проснуться! — нет, прийти в себя,  
Вернуться в эру недосыпа.

Пожалуй, грезе да мечте  
Воздуси — лучшая опора.  
В гусиной коже чувства пола  
Поболее, чем в наготе.

Заискивая пред Сезамом,  
Еще Бог весть чего найдешь.  
Ты пользуешься осязаньем —  
Оно предупреждает ложь.

Ведь «трогаю» равно «живу»  
В неверии, с каким молился  
Апостол, что не опалился  
Прикосновеньем к Божеству.

И впрямь, когда бы не слова,  
Единою бы стала мера:  
Смотреть глазами божества  
И трогать дланью маловера.

Когда б ты был и нем и глух  
И впал бы в грех иносказанья,  
Спасительное осязанье  
Восполнило бы речь и слух.

На плотский образ осужден,  
Ты к притяжению, как Ньютон,  
Земной нуждою принужден  
И невесомостью не спутан.

Чуть только воспарил — рывком  
Сойди на землю, грянься об пол,  
И — левой-правой, и потопал  
На месте шагом, босиком.

Чем больше трепета в груди  
И прочих атавизмов птицы,  
Тем основательней сиди  
И обопрись на ягодицы.

Черта оседлости, ликбез,  
Где ты включен в поминовенье  
За поцелуй-прикосновенье  
К поверхности великих бездн.

Не самовольно выбран путь,  
Осознана его уместность.  
Бесстрастность, как и бестелесность, —  
Внечеловеческая суть.

Ты ото сна восстал — и сел.  
И твой рассказ почти досказан.  
Ты долго в воздухе висел  
И потому к земле привязан.

И если опыт лег канвой,  
То не кусочный ежедневный,  
Но целокупный, сновиденный,  
Еще довременный, живой.

И знание — не за шагом шаг,  
Где разум в результате лишний,  
А некий общий вид, л а н д ш а ф т,  
Как написал об этом Пришвин.

Ты дефицитный кислород  
Пережигал не понапрасну,  
Был одиноким, как народ,  
Как человек, многообразным.

И не случайно дал стречка  
От карусели хороводной,  
С тем чтобы правая рука —  
Как минимум — была свободной.

\* \* \*

От сдержанного брака  
до бурного развода  
не раз меж нами драка  
могла произойти.  
Великая неволя,  
последняя свобода  
духовного пароля:  
— Прочти и перечти!

Того лауреата  
в медали из металла,  
что под себя лопатой  
гребет — и то сказать! —  
я ни строки, ни буквы,  
ни знака не читала,  
но мне за это рук вы  
не смеете вязать.

А этого изгой  
и зодчего кроссвордов,  
где все совсем другое,  
чем явственное вам,  
я прижимаю к сердцу,  
и критик Кровомордов  
меня, как страстотерпца,  
не бросит в ров ко львам.

А с кем я натерпелась  
и порознь и вместе  
и с кем я накорпелась  
башкою на весу,

не скажет, что нечисто  
законное возмездье,  
когда я букинисту  
его продать снесу.

Безгласные витии,  
говоруны немые  
и жидкости седьмые  
на пресном киселе  
зовут легионеров,  
вербуют кондотьеров,  
а истых добровольцев  
немного на земле.

Здесь титул однолюба —  
ругательное слово,  
здесь каждый — Казанова,  
и каждый — Дон-Жуан,  
хотя минует манна  
иссохшиеся губы  
и не с любимым романом  
есть шансы на роман.

Здесь просят бить по нервам  
и мучить не жалея,  
заведомым шедеврам  
бросают вскользя: — Не то! —  
И даже если плачут,  
то фи́га Галилея  
заломлена в кармане  
потертого пальто.

\* \* \*

Пути поселка все без исключения  
Приводят к пляжу — даже в январе.  
Он залит солнцем соцобеспечения,  
Горящим, точно шапка на воре.

И — многотонной массой каменистой —  
Пляж предстает, как сцена, целиком,  
Оформлен раздевальнею сталистой,  
Освоводским плакатом и грибком.

Одетые в пальто демисезонные  
И босоножки местного литья,  
Влачатся отпускницы беспризорные  
На поиски досуга и шмотья.

На велике я еду из пекареньки,  
Грузинский хлеб задумчиво жую  
И кем-то наподобие Макаренки  
Себя меж отпускниц осознаю.

Блатным достались впечатленья летние,  
Загар и туристический кураж,  
А этим — перебои в отоплении,  
Электросон и нерабочий пляж.

Им строят глаз рабочие сезонные,  
Что корпус ремонтируют сырой...  
Отпускники проходят беспризорные  
В надежде чачи, сдобренной махрой.

Покуда я лимоны пленкой кутаю,  
Через забор глядят отпускники,  
Привороженные казахской юртой,  
Занявшей сад рассудку вопреки.

Пускаю их вкусить от иллюзорности, —  
Пусть перед сном почешут языки.  
Невыгравимый штемпель беспризорности  
И здесь пометил все, отпускники.

Дом на чужого псом цепным кидается  
И с пришлым остается на ножах,  
Затем что он в хозяине нуждается  
Сильнее, чем в гостях и сторожах.

Дом передышки не дает раззявинам, —  
Отдавливает пальцы, рвет штаны.  
А люди, пренебрегшие Хозяином,  
Подавно Благодати лишены.

Любовь не насыщается иронией...  
Отпускники ушли путем своим.  
Дома призренья, а не трудколонии  
И не «бутор», а пастырь нужен им.

Я искренно на ихней фене ботаю  
И горестно им вслед гляжу с крыльца.  
Окружены отеческой заботою  
Отпускники, забывшие Отца.

Встречаю я незваного паломника, —  
Он при советской власти вестовой.  
Нет на земле такого детприемника,  
Где б он побыл наедине с собой.

Он достает «бутрам» билеты авиа,  
Для их банкетов закупает снесь.  
Никто не спросит: что с тобой? Рамбавиа?  
Ведь так недолго и осатанеть!

Народ, прибыв для выправки здоровья  
И без призора побросав детей,  
Использует природные условия  
Для удовлетворения страстей.

Оплачены свершенья эпохальные  
Радикулитом или же килой.  
Напевы по ночам слышны вакхальные,  
Считай, из каждой дачи нежилой.

А утром пляж с ободранными тентами,  
И моря зуб неймет, хоть видит око.  
Кого считают здесь авторитетными —  
На это беспризорным чхать глубоко.

Проводят взглядом и меня на велике  
И в Оймякон поедут ждать весны,  
Не ведая, что — вечные подельники —  
Мы лишь до Судных труб разлучены.

\* \* \*

У каждого звука своя тишина.  
Ее предстояние — сушая мука  
Для неисправимого говоруна,  
Пока не послышится нового звука.

Я именно это хотела сказать  
В давнишних стихах, но сбежала с иною  
Идеей и, рук не успев развязать,  
Осталась один на один с тишиною.

А все по причине, что издалека  
Рванешь, да и вовсе не тянешь к итогу.  
На чем закоснела, борзая строка?  
На теме возмездья, порочащей Бога!

У каждого звука своя тишина,  
Но можно поймать отголосок и эхо,  
И эта инстанция освящена  
И призраком краха, и блажью успеха.

Светлана Васильева

## Любовь к географии



- Как, батюшка, назвал ты науку-то?
- География.
- Слышишь, еоргафия...
- А к чему бы это служило на первый случай?
- На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
- Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж?

Фонвизин, «Недоросль»

Утром проснуться не сразу, не всем телом выпростаться из ветхого бабкиного полотна, попридержать тут как тут имеющуюся готовность каждой клеткой организма соответствовать — вот этой намечающейся трещине в потолке, средней кривизны печной кладке обьятой холодом, уже остывшей, пустеющей лежанки, относительной побитости семейного фарфора-фаянса, Мертвому глазу, некогда чудо-бабочке, а ныне чучелку в ловушке двойных рам, хозяйственному перестуку-перезвону как на вражеской территории у соседей, так и в собственных родных сенях; что там, в самом деле, с такой истовостью частной инициативы можно колоть, рубить, таскать в условиях отдельно взятой местности, да еще сельской, в период сплошной коллективизации и почти окончательной победы социализма? Заткнуть ушную раковину, крепче сомкнуть сонные вежды, лишь небольшими порциями выпуская свет из внутренней тьмы, изрядно накопившейся за ночь в районе обоих полушарий, легких, сердца, печени-селезенки и других жизненно важных органов; пусть пока никто не знает, что героиня рассказа уже з д е с ь, она ведь и сама пока ни о чем таком не догадывается, чего он, собственно говоря, хочет, этот самый ее организм: не спи, вставай, кудрявая, или абсолютно наоборот — спать, спать, спать...

С п а т ь х о ч е т с я. Отец выучил наизусть рассказ Чехова и читает его в клубе, перед членами кооперации. На очереди «Лекция о вреде табака» того же автора, а также сцены из бессмертной комедии Фонвизина «Недоросль». Отец — учитель географии в здешних местах, так что русская классика для него занятие внеурочное. Добровольный акт. А может, просто привычка шпарить наизусть, чтоб и всклад и в лад, — с тех самых пор, как, будучи семинаристом, пытался блеснуть слогом и познаниями в ежедневных эпистолах к ангельчику Наде. Ангельчик Надя — мать, тоже учительница здешних мест. Вуаля ма фамий. Не хочется, однако, сей же час кидаться в ее, семьи, объятья. На правах собственноручного арестанта, быть может, удастся кой-чего подсмотреть, подслушать. Вон какие горбокрылые тени ползут по бревнам стен, какие глухие, частые, слипающиеся звуки взмывают вверх, к потолку. Фамилия отца на «Ша», проистекает от простого рыбацкого глагола «шарудить», фамилия матери на «Ха», с благородно-музыкальным форшлагом окончания — путем некоторой селекции получается какая-то Шар-ская, ей и мутить здешние воды. Ах, ангельчик Надя, ангельчик Надя! Голубая польская кровь! Только предок твой, Цезарь, — не гляди что при царском дворе состоял, — никакой работенкой не гнушался, высочайшие горшки выносил. А дочка-то его, матушка ваша Вера Цезаревна, та уж и вовсе наша была, н а р о д о в о л ь к а, выходец из своего рода. У нее тут именице было, домик каменный — не развалюха какая-нибудь. Прикати-

ла издалека, невенчанная, с ненаглядным своим сожителем. Любили, бывало, фотографироваться перед окнами в сидячих позах, а на обороте подписи оставлять. Он однажды подписался: «l'homme perdu», потерянный, значит, человек. Вот и потерялся где-то в российских просторах, предварительно обобрав свою «народовольку» до нитки. И правильно сделал, как чувствовал. К тому времени все равно всего лишили, списав на мировой пожар, свободу, равенство и братство. Только Вера Цезаревна и сама к тому времени стала сильно возгораться, пить да курить, так что под конец вовсе дымком истаяла. Но акушеркой работала исправно, в своем же бывшем доме — там быстро больничку оборудовали для красноштанников. Кровь с рук смоешь, засученные рукава опустит — и к окошку. Все вдаль смотрела, упершись лбом в стекло. Постоит-постоит, а потом плюнет и уйдет. В доме у своей воспитанницы ночевала, деревянном и поплоче, то есть в нашем с тобой доме, где мы, ангельчик Надя, совершенно на равных правах вот уже сколько лет живы, здоровы и счастливы — спасибо, что не погнушалась, снизошла, пожертвовала своим голубокровым девичеством в пользу студента московской учительской семинарии, а также дела нашего всеобщего народного просвещения. Едем, Надюша, в родные места! Станем учительствовать, поднимать кооперацию, кооперация теперь — все. Я им «Лекцию о вреде табака» читать буду — зачем Вера Цезаревна так много пила и курила? Сцены из бессмертной комедии «Недоросль» исполню, особенно ту, где про географию: «Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь...» Что качаешь головой? Препоясуй и поведут, куда не хочешь? Полно, ангельчик, не твои это слова. Да нам ли жалеть о пройденном пути? Ты ведь и теперь все та же, несгибаемая. И красота твоя нисколько не помутилась — иноземная, брезгающая. Ведь надо жить, надо жить, ангельчик, ко всему руки прикладывать. Давай вместе подумаем, как нам, к примеру, распределять меж собой плоды кооперации, сколько кусков сахара, сколько грамм масла полагается в сутки молодому растущему организму, а то у дочки нашей уже глаза из берегов выходят. Как распахнет их во всю ширь — хлопот не оберешься. Мир возьми да и потони в серых этих, с утренней дымкой, озерах. Хотя, если подумать, что за опасность миру-то в таких вот глазах? Уж как-нибудь все обойдется-перебьется, и не такие, мол, очеса видывали — праведные, невинные, кристальные, отразившись в которых зло не выдерживало собственного вида и становилось как бы уже не злом, а как бы уже добром. У Натальи же и вовсе никакие не очи, а просто зенки, как утверждают Красноштань. Конечно, ни зверь, ни человек в тех озерах пока не ночевал, однако всему свое время. Погоди, голубка, авось и не обойдется, авось и не перебьется. И вправду, по-особому умеет Наталья смотреться на фоне окружающей действительности — вот школы, например, среди таких же, как и у нее, блузоч-юбоч и воротничков-рукавчиков. Но и год-то у нас, если подумать, на дворе какой! Тридцать восьмой! У всех выпускниц в глазах веселье так и плещется на самой поверхности, никаких тебе пасмурных подводных течений, в каждой ямочке солдце играет. А ручки-то белые как переплетены, перекрещены! Не разрубить. Ничего-то эти ручки пока не знают. Одна лишь Наталья — рук не отнимает, а глаза-то в обратную перспективу уходят, и в исходной ее точке будто и не бревенчатые стены, на фоне которых фотограф их напоследок щелкнул, а совсем другое какое-то здание, вверх из себя, из собственного своего корня растущее, каждым бликом отсвечивающее, а изнутри него словно шелест, шепот, восковые слезы со свечей капают. Наталья, малюсенькая, будто вся под сводами стоит, волосы темные вдоль висков крыльшками уложила. Голубка. В окружении окончивших среднюю школу девчат: Машенька М., Нина З., Машенька С., Люда Т. и она сама, собственной персоной, Наташа Шар-ская. Учительская дочка. Что живет на улице Школьной, дом 1, под вековыми дубами либо вязами — из-под сомкнутых век не разобрать. Сомкнутые веки нетяжелы и прозрачны, увиденные сквозь них вещи тоже легки и необязательны. Клуб-церковь. Дом-больница. Парк-кладбище. Нес-трашный сельский морок, где каждый контур размыт и подрагивает в ознобе марева. Вуаля ма вилаж. Местность средней возвышенности и малой пересеченности, до столицы рукой подать, всего километров сто с хвостиком. Отсюда славно путешествовать — куда угодно. Ничто тебя здесь особенно не держит, а как бы, наоборот, подталкивает, зовет. Едем, ангельчик Надя! Пускай дочка, что ни день, получает по цветной открытке с видом. У меня их множество осталось, cartes postales, еще со времен юности. Незаполненные, неотправленные. Ты ведь тогда уже снизошла, и

надобность в корреспонденциях отпала. Вот они в ящике комода ровной стопочкой лежат. Художественное наследие древнего мира на добрую память адресату: древнегреческая скульптура, римские головы, древнеегипетские портреты из погребений Фаюмского оазиса. Фаюмский портрет, чтоб тебе знать, писался еще при жизни человека на тонкой кипарисовой дощечке и вешался на стенку. Когда же человек умирал, его по всем правилам искусства потрошили, смазывали различными спецсоставами, пеленали туго-туго, а портрет клали на лицо и крепко привязывали бинтами. От этого у всех мумий совершенно нечеловеческие лица. Зато портреты отлично сохранились, висят теперь в музее. Пожилой мужчина в синем плаще. Смуглый юноша в золотом венце. Женщина с полной чашей. У одного сердце легкое, как перышко, у другого — тяжелое и жесткое, как камень. Только не суды мы им, ангельчик Надя. Люди есть люди, даже мумии. Тысячи и тысячи километров разделяют нас: Травы, зелена, завтра Петров день. Косить не перекосить наших просторов! Вот когда отправишься путешествовать, сразу и почувствуешь, что такое география. Не пустой звук. Хорошо быть географом! Полное осмысление жизни. Завтра еще пошлю открыточку: бог с шакалей головой боком стоит, на погребальной пелене, косынка как у фараона, только острых ушей под нее не спрячешь. И глаз узкий, длинный, будто стережет, считает сердца умерших для божьего стада. Все кишки у тебя выпустят, в сосуды положат, а сердце оставят — для дальнейшего путешествия. Я тебя, ангельчик Надя, конечно же, не стращаю, только собирай поскорее средства и подальше, подальше от наших мест — будем путешествовать, пока живы и здоровы. Не бойся, за дочкой приглядят в кооперации, в случае чего от голода не умрет. А тут пока голодно. Соседи в поезде едят, и тебе хочется. За три дня истратил сто рублей и все на молоко. Ноги от сидения отекают, сбиваю опухоль молоком. Приеду на минеральные воды с опухшими ступнями. Хороша Мордовия, лучше, чем глухое Черноземье. А в Приволжье — везде сосна. Милая дочурка! Шлю тебе привет с минеральных вод. Соскучился. Пишу открытки ежедневно с 7 до 9 часов вечера в мраморном зале санатория. Меню здесь — всего понемножечку. Только аппетит вступает в силу, а на блюдечке уже ничего нет. А чаю пей сколько хочешь. Мне бы рыбьего жира и жмыха. Хорош на мне белый парусиновый костюм, я в нем — единственный. Его продать, что ли? Но нет, я в нем еще побываю с вами на Кубани! Вечером явятся Красноштаны, будут долго тарашиться на смуглого юношу в золотом венце и на загорело-смуглого же соседа среди мраморных колонн. Все точно, без дураков, ничем не отличается этот доходяга учитель, всегда деятьельный себе во вред, от иных прочих отдыхающих. Даже белого парусинового костюма на нем нет, лишь вафельное нечистое полотенце через плечо. Полуобнаженные тела жестко скреплены фигурой равнобедренного треугольника, плоские лица угрюмо улыбаются фотографу — все как полагается на снимках сказочных предвоенных курортов. Единое стадо бога. Натуральнейше начнут завидовать: ваш-то поправился, раздобрел, а то одна кожа да сквозь нее кости, всего себя отдал. Наверное, скоро орден присвоят или звание дадут. Самое смешное, что орден действительно дадут, только еще не скоро — по выслуге лет. Звание присвоят раньше: местный сумасшедший. Но сомкнутых век не подниму, пусть говорят, что хотят. Поправился так поправился. Жмых так жмых. Мраморный зал так мраморный зал. Бог так бог. Одно другое удостоверяет, сообщает всему в целом некий эффект присутствия в жизни. Потому как, если разять и расчислить по отдельности — либо жмых, либо мраморный зал, либо шакал, либо Бог, — то получится, наоборот, эффект полнейшего отсутствия. Абсолютная нереальность. Все же вместе и реально, и разумно, как эти исписанные мелким почерком, повсюду в доме валяющиеся открытки с изображениями людей в плащах, венцах, с чашами и песыями головами. Открытка зовет. Тянет в дорогу. Эх, учительская дочка! Давно уже пора тебе собирать пожитки и трогаться с места. Красноштаны и то качают головами — не то одобряют, не то осуждают. В дорогу! В дорогу!! Зачем вы мне суете эти вырезки из журналов? Тамара Ханум, зеленая, как утопленница, желает станцевать перед москвичами китайский танец. Члены иностранной делегации исследуют мрамор первой очереди нашего метрополитена на предмет подлинности. Слесарь Борис Дедух после очередной партии в бильярд пьет пиво из хрустального фужера в столичном ДК. Москва, Москва, ты всем близка! Не нужны мне ваши журналы-вырезки, я и так поеду. Не потому ли, в самом деле, не нанесены ни на какую карту мира здешние места, чтобы можно было поскорее их покинуть, отбыть? Не единственная ли это, о отец мой,

перспектива нашего м е с т о р а з в и т и я? Ведь и лицо бабки Веры Цезаревны, кажется, надобно лишь затем, чтоб уйти в прозрачную отстраненность дочери, а той, в свою очередь, — в дочернюю же странную ни-на-что-непохожесть, столь бурно разросшуюся вокруг великих серых озер. Так вот отчего ангельчик Надя год от года все тоньше, все уже. У нее в самом теле какой-то особый уклон наметился. И не земле кланяется, и не людям. Ноги будто подошвами к земле приросли, а туловище вперед летит, прочь из воздуха. Своя ноша не тянет, лишь заостряет человека. Вот и к Натальиному будущему отъезду (не куда-нибудь, а в столицу, не за чем-нибудь, а учиться-учиться-учиться) приновилась заранее. Головы не гнет, ни о чем не спрашивает, в узеньких глазах прощение осколком. Ах, ангельчик Надя, ангельчик Надя! Уж если и рассуждать о семье и долге, то, положа руку на сердце, не от родного ли отца эта тайная любовь — к географии? А может, более ранним ветром надуло: сожитель бабкин залетел шальной вестью, заполз в щели, нашептал в пушистое девичье ушко. Типун мне на язык. Но только зачем же тогда их фотки-то хранить? Думаешь, мне эти лица не являются по ночам? Еще как являются. Этот ваш «хомм пердю» с расчесанной бороდიцей; Вера Цезаревна в душевной суконной кофте с засученными рукавами; воспитанница в двубортном жакете с галстучком, на барских фантазиях возросшая. Так деловито, так непряздно сидят перед фотообъективом, будто сей момент вскочат и разбегутся: Вера Цезаревна — тащить за ножки упирающихся младенцев, ее невенчаный муж — бродить по городам и весям, воспитанница тетка Галка — отбывать пожизненное наказание, платя нам за добро добром же. А кто это у их ног на земле сидит, в зарослях мать-и-мачехи? Да это же ангельчик Надя! Вся в беленьком, в пелеринке, волосья в маленькую упрямую косичку скручены, даже лбу больно. Она-то как оказалась в наших краях, из какой такой любви, к какой географии? Сразу же видно: не жильцы, хоть и восседают все вместе перед домом — за чистыми стеклами плоски, поварешки, кукушкины слезки и фикусы, а все равно не жильцы. Скоротечен сей уют. И по всему — быть Вере Цезаревне стриженной, брошенной, с некрасивым и сильным лицом; сожителю ее — без вести пропавшим; тетке Галке — вечной воспитанницей и добросовестной жертвой. Так какого же черта ты, пся крив, здесь высидиваешь, посреди мать-и-мачехи, со своими барскими замашками, капризами и никому не нужным долготерпением? Сколько можно донимать отца! Он ведь каждый божий день бегает с бидоном в кооперацию — хоть убей, не пойму, что это такое, — колет, рубит, режет, тащит ведрами. Да не сиди же ты на земле, как святая, простудишься! Беги, лети отсюда! Ах, что это такое Натальюшка говорит, что глаголет? Ведь ежели ангельчик Надя куда и улетела, если куда и убежала, то именно сюда, к себе домой. Понимаешь ли, ДОМОЙ. К СЕБЕ. И после никуда отсюда не уехала — тоже от СЕБЯ. Из ДОМА. И померла — дома, то есть в той самой больничке, где раньше был их дом, возле которого и запечатлел их фотограф. А земля, на которой она сидит, еще теплая, хоть и осенняя, вся мать-и-мачехина; с одной стороны, холодно, а с другой — тепло. Что ты, что ты, ангельчик Надя, никто и не думал заикаться о смерти. Это еще не скоро случится, ты будешь жить долго, очень долго, а может, мы и вовсе никогда не умрем — дни человека яко трава, яко цвет, сказано в Писании, а трава не умирает, она лишь рождается, живет, жухнет. Да, трава, ваши дни — трава, ее вытаптывают ногами, косят, жгут. Красноштаны уже на участок мой зарятся, потому что он и ваш теперь. Отдайте, говорят, нам куст смородины, мы общее варенье сварим. А Верочка Цезаревна, царство ей небесное, сладкого в рот не брала, только пила да курила, а в последние дни уже и этого не могла — не ведаю, говорит, чего он хочет, мой организм. То сядет, то встанет, то на улицу выбежит — нет, все не то. А перед самой смертью вдруг принялась считать. Чуть не тысячу насчитала. Что это вы, Вера Цезаревна, считаете? Деток. Все они через эти вот руки прошли. Да откуда же у нас в селе столько-то? А это — еще не рожденные, нежившие. В смертной истоме находилась, смерть вблизи чувствовала. Не к добру тетка Галка напоследок разговорилась. Ей надлежит на фотокарточке сидеть, с бабушкой рядом, в строгом сюртучке на пуговках. А она! Старые обрезанные валенки, платок крест-накрест, пук волос на затылке луковкой. Ах, да! Ведь луковка эта — наше спасение, она же нам благодеяние сделала, пустила под свою крышу, самой-то ей много не нужно. Главное — благодеяние, оно-то нас и поит, и кормит, и умереть не дает. Сладка добровольная жертва. Только отчего же горб у нее из спины растет? Чтобы нам легче было взгромоздиться и за луковку ту держаться? Нет, ангельчик Надя, тебе такой никогда

не стать. Гнешься, да не сгибаешься. Гордо несешь свою ношу. Наталья, конечно, могла бы писать ей и чаще. А то у матери вроде предчувствие: не вернется дочка. А дочка возьми и вернись, правда не насовсем, всего на два года, пока университет находится в эвакуации по причине вынужденного начала военных действий. Таким образом географический факультет прямиком в ее родное село переместится, в знакомую школу, где она временно будет преподавать изучаемый предмет. Мать и привыкнуть к ее возвращению не успеет. И вновь начистит Наталья перышки и вновь улетит в столицу. А там уже победные салюты чуть ли не каждый день, в студенческих аудиториях холод, зато на душе тепло, радость. Не жалуется дочка, пишет; что живет «на большой», то есть совершенно хорошо. На лекции ходят дружно, посещают концерты, а в остальное свободное время «бузят» в общезнании. Барсова по радио поет, как соловей, с родных полей вести несутся, а вот фильм «Светлый путь» почему-то не понравился. Неведомо, что там у них, в столице, за светлый путь — в нашем клубе пока не было, — только дочка свою мечту имеет: купить себе тапочки. Единственные ее туфли вот-вот развалятся, приказав долго жить, и на лекции ходить будет не в чем. Не мечтательная она у нас, ох, не мечтательная. Зато лекции записывает регулярно, иначе ведь не постигнешь эту самую науку: географию. И ни к чему головой кивать, вижу, что не согласна: мечтательная Наталья. Мечтательница. И тапочки ей не нужны. Все равно п р е - п о я ш у т и п о в е д у т к у д а н е х о ч е ш ь... Опять ты за свое? Лучше бы втолковала дочке-то, что при перемещении из одной точки пространства в другую несокрушимость родной обуви — это наиглавнейшая наша задача. Крепость ботинок, калош, валенок, сапог, наконец тапочек. Да, и тапочек! Как же ей изучать эту самую науку, когда каблуки у нее расщелкались, словно пустые орехи. Скоро придется в брезенте и калошах ходить. Что Анатолий скажет? Он ведь победитель. Видел землю с высоты смертельного полета. Ни один товарищ не вернулся. Что ему ваша география? Анатолий — значит благородный, он свое благородство в бою добыл. На самом-то деле он по паспорту Антон, Анатолием его товарищи погибшие назвали. Какая разница, как назвать? Главное, что он ничегошеньки не боится — ни жизни, ни смерти, не то что ваша дочь. Вся в страхах, как в шелках. Боится неправильно от усталости записать лекцию, боится не сдать «основы», боится не свести концы с концами, спасибо за те жалкие крохи, которые идут из деревни. Но более всего тебя, ангельчик Надя, боится. Зачем ты утверждаешь, что Антон никакой не Анатолий, а попросту — вандал и хам? На том лишь только основании, что в письмах он слово «сейчас» и слово «счастье» пишет через «щ»? Так это он не тебе пишет! И чужие письма читать нехорошо. А потом ему действительно все равно, он о счастье такое знает, что вам и невдомек. Ваше счастье для него — узкая щель, не станет он туда пролезать, свое возьмет сам. И вообще, ангельчик Надя, ясновидящая ты или кто? Дочь нарочно, из милосердия каждый раз переправляет «щ» на «с», чтобы потом тебе эти письма показать, откуда же ты все знаешь про наше «щастье»? Уж лучше от тебя совсем скрыться, уехать в родные края Антона-Анатолия, там такая же деревня, как и у нас, река, дорога, лес, только клуба не хватает. Но география везде нужна, где есть хоть какая-то жизнь. Мы и оглянуться не успеем, как протянется между двумя отдаленными точками мост взаимопонимания, в письменной форме потекут через пространство подробности житья-бытья, описания природы, анализ чувств и поступков. Интересно же узнать, каково есть существование в самых различных широтах. Нельзя все время ходить по одним и тем же дорогам, дышать одним и тем же воздухом — так и спянуть недолго чего другого.

Неужели вы не ослепли от вашего солнца на фотографии — от него все лица белые, плоские. Я — ослепла, не хочу ничего видеть, но все равно вижу: что бы ни случилось, отец утром берет бидончик, сумку и идет в свою непонятную кооперацию; между часом и тремя по дневному времени он спит-почивает, как еще в юности предписал ему лекарь; готовится к урокам в школе; учит наизусть что-нибудь из классики. Вижу, как ходит по дому ангельчик Надя, прямая и светлая. Рука у нее живет как бы отдельно от всего тела и тянется, тянется — не за кастрюлей, не за венником, а перекрестить воздух над скрипочкой, висящей на стене. Скрипочка без аккорда. Она мне больше не понадобится. А ты? Видишь ли меня ты, ангельчик? Ведь я не из вечной мерзлоты тебе пишу. Кругом тот же родной суглинок да степной чернозем. Лес только — другой по сравнению с вашими местами: хвойно-лиственная тьма. И поля, поля пустынные, горящиеся на горизонте, никогда до того

горизонта не доедешь. Дорога черная, разбитая, примостилась где-то сбоку, как будто и не нужная никому. Вроде и не уезжала. И сколько здесь ни хожу, сколько ни передвигаю руками и ногами, — все на одном месте стою. А башмаки вот истоптала. Приезжай, ангельчик Надя! От районного центра добраться пара пустяков, километров восемь или десять — идешь, как по аллее. У нас уже столы готовят. Поросенка хотят резать. Режут лишь по большим праздникам: седьмое ноября или Пасха. Но сегодня праздник двойной — Антон сам приехал и жену себе привез. Да какой это Антон? Анатолий. Иначе нельзя, иначе его от остальных не отличишь. Тут полдеревни Антонов, а другая — Ивановы, как его родной брат. Входят в дом, садятся на корточки, у одной стены Антоны, у другой Ивановы. Жена брата Полина уже тазы выставила. Поросенок ручной, чистенький, крови мало. Вынули внутренности — печенку, селезенку, легкие, кишки. Сердце оставить? Да на кой ему. Побросали в таз, сверху крышкой прикрыли, а то дух поднимается, на лицах капельками оседает. Тельце аккуратно промыли, реснички как у младенца, поместили в сених. Завтра пораньше повезут на рынок продавать. Сами сели за стол. Все Антоны, Ивановы, Анатолий, Полина и покорная раба ваша Наталья, деток пока что бог не дал. Мама Анатолия вывалила все из таза на огромную сковороду — поставила в печь. Жар пошел такой, что всех в сон бросило. Сладкий. Теперь-то всем хватит, не сомневайтесь. Не спешите — некуда. Никто и не спешит, за стаканом или хлебушком руки не тянет. Лица неподвижные, крупные, ожиданием набухли, будто им одним уже сыты. На том бы свете нам так сидеть. Вдруг — стучат. Входят одетые, злые и прямо к столу; вы зачем колхозную животину кушаете?! Это ж вредительство... А у самих глаза голодные, человечины алчущие. Ну, присаживайтесь с нами. Только мы не знаем, будете ли вы наше есть, тельце-то вон, в сених лежит. Сличайте. Через два дня колхозного поросенка нашли возле школы — убитым. Составили акт, теперь всем миром будем расплачиваться. Погода стоит холодная, но сегодня была гроза, и наверное, вскоре потеплеет. Вот только ходить трудно. Даже от школы до дома дойти невозможно. Поэтому сидишь во время свободного урока на чужой квартире и пишешь письма. Конечно, можно было б и домой слетать, но слишком уж много снега. Зима в этом году намечается серьезная. Часто метут метели и бураны. Дорог совсем нет. Надо за дровами ехать, да на корове невозможно. Совсем увязнешь. Мне бы валенки, тогда другое дело. В лесу — вот где красиво!

Грибы, красные ягоды, мхи обнимают по щиколотку. Можно было бы ходить каждый день, если бы не школа. Эти уроки меня просто убивают. Особенно младшие классы — порядок там никакой не наведешь. Учебники отсутствуют, по почте от вас ни одного не получила. Иду, не прочитав ни строчки. Из-за того, что учебников нет, все приходится диктовать, а что диктовать-то? Часто собирают на совещания, требуют повышения политическо-педагогического уровня. Времени не хватает ни на что. За это имела замечание от мужа. Его тут нет, я одна с сыном. Если можете, пришлите Колику теплые пальто, чесноку, политический словарь. Анатолий квартирует в местном центре, работает в РК РКП/б/. Добраться оттуда сюда пара пустяков. Идешь, как по аллее. Анатолий приезжает часто, воспитывает Колика. Сегодня отправила ему теплые вещи, картошку с капустой. Сейчас только вспомнила, что позабыла вложить подушку и носки. Вот так жена. Мне от Анатолия частенько достается — насчет белья и просто. Придется самой в центр пешком идти из-за этой подушки, ну да ничего. Все равно скоро вызовут в роно. Вчера беседовала с заведующим, и он поручил мне подготовить доклад на конференцию на тему «Обеспечение мероприятий по улучшению идейно-политического воспитания учащихся при прохождении географии». Мне бы интересно было узнать, что папа проводит в этом направлении. Брат Анатолия Иван ездил в город и привез мне бурки с калошами. Маловаты, правда, но ходить можно. Анатолия послали на шахматный турнир. Думает получить приз. Я готовлю доклад с большим интересом. Пасху встретили хорошо, теперь надо готовиться к 1 Мая и к экзаменам. Ну да стойкости у меня хватит. Анатолий стал часто приезжать — проводит партсобрания. Времени ни на что не хватает. Тут одним знакомым привезли в приданое на свадьбу шторы, материю, творога, масла, я, конечно, не завидую, но все-таки хорошо, когда заботятся. Анатолий вчера приходил, принес рыбы, крупы, ботинки маме и себе. Пошили ему гимнастерку, да не понравилась — отдала переделывать. Купите ему, пожалуйста, орденские ленты и пришлите в письме. Вы пишете, что мне надо купить туфли. Я бы лучше купила тапочки, но их нет. Сидим дома. Брат Анатолия Иван чинит жене сапоги. Колик ему помогает. Полина что-то шьет, детское. На улице полный разлив и шагу нельзя ступить, не провалившись по колено. Думала приехать

к вам на каникулы, но пришлось отставить — повернем все средства на материальные нужды. Приедем теперь с Коликом 1 июня, если будем живы. Анатолий часто приезжает. С Коликом он обращается уж очень круто. Мне иногда даже бывает обидно за его выходки. Ну да выдержки у меня хватит. В школе дела с дисциплиной наладились. Мне поручили делать доклад о 8 Марта, и я провела его кое-как. Анатолий слушал и сказал, что нет связи с прошлым и настоящим. Он очень строго воспитывает Колика. Отучает его от меня, чтоб не лез на руки. Даже связывает ремнем. Колик лежит и орет, как спеленутый младенец. Мне поручили делать доклад об идейности на уроках географии. Уроки литературы проходят лучше. Прошли уже Фонвизина, Гоголя, Герцена. Надо бы взяться за Гончарова, да книг нет. Времени ни на что не хватает. Полина одна хорошо справляется по хозяйству. Правда, сплошные несчастья: подохла старая гусыня, остался гусак, хотим и его продать. Вечером пришел Иван — молча бросил полмешка. Все его трудодни за это время. Сегодня Колику исполнилось 2 года. Но говорить он ничего не умеет. Анатолий принес ему в подарок наган, совсем как настоящий. Ходит теперь по улице с наганом и всех пугает. На днях дадут зарплату, и я куплю себе тапочки. Недавно была в районном центре, но тапочек не было. Купила на базаре темный платок, шелковый, за 70 рублей. Анатолий посмотрел — и смеется: в таких платках в гроб кладут. А мне нравится. Сегодня суббота, завтра воскресенье, и я собираюсь написать вам о моей жизни тут. Надо работать над собой. Мне вынесли строгий выговор по всем линиям облоно. У нас была инспекторша и теперь в роно прислали акт. Мои данные обсуждали на партсобрании и будут проверять еще в конце этого месяца. Голова трещит, времени ни на что не хватает. Но лучше не волноваться и не думать, потому что летом мне все равно придется родить. Работа пойдет кое-как. Ходила в понедельник в женскую консультацию, и у меня определили 3,5 месяца беременности. В общем, такие дела творятся, что я просто ничего не соображаю. Анатолий бывает редко, больше ездит по колхозам. Сегодня у меня ночует его двоюродная сестра. И вот сидим мы с ней, разговариваем — а потом я пошла провожать ее на базар. Приходим. Идем вдоль рядов, я все тапочки себе ишу, и вдруг вижу: женщина. Никогда я ее раньше в этих краях не встречала. Лицо смуглое, как у цыганки, а фигурка маленькая и быстрая — только не цыганка, а просто чем-то изнутри опаленная. И одежда на ней с чужого плеча, веревкой препоясана. Пальто не пальто, а так, старый халат, это по нашей-то погоде. Слышу, что-то себе под нос бормочет, на незнакомом языке, только я почему-то этот язык понимаю, вроде сама на нем говорила в детстве, может быть, с тобой, ангельчик Надя?

Быстро-быстро так бормочет, словно боится опоздать или уже опоздала и от ее бормотания зависит что-то главное, последнее. Но что? Она и сама будто не знает, оттого — тороплива. И никто вокруг ее вроде не слушает, только она все равно не унимается, бормочет и даже приплясывает себе в такт. Да и не пляска это, а от одного человека к другому петелька затягивается. Вроде она всех опутать своим движением пытается, связать воедино. Кто рукой ненароком взмахнет, кто случайно слово молвит, кто просто так взглянет — она тут как тут. Вот она я. Полного согласования ей во всем подавай. Точно классный руководитель. Только вижу я: эти ее старания даром не проходят. Раз от раза они все успешней, словно ножом по мерзлomu маслу. И вот она уже не петельки затягивает, а сама — как одна живая материя. Летает по рядам, тряпка халата развевается, хлопает по ветру. Пролетая же, каждого успевает полой своей коснуться. И всем от этого касания так надежно, так покойно делается. Все так верно и непоправимо куда-то движется, течет-перетекает одно в другое, не дай бог остановить. Весь народ доволен. И женщина довольна, маленькая: кругом полная увязка. Она уже и за руки начинает хватать, уже не уговаривает, а требует: так? ведь так? И каждый обязательно должен ей ответить: так! так! По рукам? По рукам. Одна я не участвую, я тапочки ишу. А она, пролетая, зырк прямо на меня — и рукавом по лицу. И руку-то тянет, тянет, вот-вот моей руки коснется. — Так?! — Молчу. Руки не даю. — Ну, что же ты? — А у самой тельце прямо трясется от нетерпения, такая я перед ней огромная. — Неужели трудно ответить?! — А мне не то что трудно, просто в сердце какая-то дыра и из нее холодом дует. — Ах, вот ты какая! — И вижу, что наночу непоправимый урон, только зачем и кому, не знаю. А сделать уже ничего не могу — не добежала я, не доехала до своего ответа.

Может, задержусь она еще чуть-чуть, я бы руку и протянула. Только она уже дальше летит, к другим. А я остаюсь одна на рыночной площадке, под ногами серая жижа, какие-то ошметки. Вокруг птицы сидят небесные, клюют по крохе, кому что достанется. И никто меня вроде бы не замечает. Но если внимательно присмотреться

— всякий наблюдает со стороны и взгляды сплошь косые, острые, вроде я им поперек дороги. Я одна теперь виновата. Прервала их согласие. Пойдем, говорю мужниной сестре, я в другой раз себе тапочки куплю, пойдем домой, по аллее, все прямо и прямо, все уже и уже. Никого вокруг. Деревья по обе стороны дороги стоят, тенью над головой смыкаются. Оглядываюсь — пусто, темно, снег мои следы замел, будто и не я шла по этой дороге. И вдруг — окликает кто-то. По имени. Наталья, Наталья... Снова оглядываюсь. Никого. Еще шаг — и снова зовут. Так всю дорогу. Пришла домой и чувствую: беда. Кто-то у нас умер. Но кто? Может, Анатолий! А он тут, рядом стоит, смеется: опять тапочек не купила. Жив, слава Богу. Кто же тогда умер? Неужели дети? Но второй ведь еще и не родился, как же он мог умереть? Подойду к детской кроватке, руку положу на лобик — теплый, чистый. У мертвых так не бывает. Кто же тогда умер? Пытаюсь проснуться, разлепить веки, навсегда открыть глаза и больше их уже никогда не закрывать, пускай мне прямо в зрачки ударит твой утренний свет, равновеликий моей тьме, — и я разлеплю веки, и я открываю глаза, и они наполняются ослепительной, белой, негасимой белизной, обступающей меня со всех сторон. Стены и потолки здесь, в отличие от наших мест, всегда белят известью. Ангельчик Надя! География — наука для извозчиков.

\* \* \*

Через год Курская психбольница сообщила родителям, что их дочь получила подарок в целостности и сохранности. Общее состояние ее здоровья улучшается, сама она стала спокойнее. Правый зрачок больше левого, реакция на свет живая, сознание ясное. Бредовые идеи преследования совершенно прошли, слуховых галлюцинаций также не наблюдается, но эмоциональные реакции явно снижены. Проявляет негативизм при обследовании, к своему состоянию нет критики. Кормится из рук персонала. О доме не вспоминает. О детях не беспокоится. За время пребывания в больнице проведена электрошоковая терапия в количестве семи сеансов, что дало внутривольничное улучшение. После седьмого электрошока появилась повышенная температура, обнаружился абсцедирующий инфильтрат правого легкого — это установлено как клинически, так и рентгенологически. После выявления легочного осложнения проведена сульфидинотерапия и пенициллинотерапия. Сказать что-либо на будущее — затрудняются.

\* \* \*

Перед смертью Наташу привезли к детям попрощаться. Старший, Колик, и младший, Витик, уже год как жили с дедом и бабушкой. Антон по-прежнему квартировал в райцентре, и вскоре у него должны были появиться еще двое: мальчик и девочка. Поговаривали, что он потратил уйму денег на лечение жены, но все без толку — жить с ней было никак нельзя. Кричала на детей. Не ладила со свекровью. На уроках географии читала отрывки из бессмертной комедии Фонвизина «Недоросль».

Хоронили Наташу в родной деревне. Гроб выставили на дороге перед домом под большими дубами, вязами ли. На лицо покойной ложилась дырявая тень. Оно и хорошо. Потому что лицо это в раме из живых цветов больше напоминало лицо старухи, а вовсе не двадцативосьмилетней женщины, какой Наташа являлась в момент смерти. Для того чтобы сомнений ни у кого не было, в изголовье поместили увеличенный фотопортрет — на нем она как живая, глазищи смотрят из светлой глубины. Да, болезнь не красит, закатились оченки, шептались соседи, пряча вздох в горсти. И то правда. Ничем Наташа себя не украсила, кроме семидесятирублевого платка. Даже сияние свое нарочно притушила, изжила. Зато ее наконец-то обрядили в тапочки — ступай себе в дальнюю дорогу. Вольно тебе будет путешествовать по рекам земным и небесным, по долинам близким и дальним, вдоль холмов низких и высоких, и дойдешь ты рано или поздно до чудесного града, называется Москва, только это другая Москва, вечная. Там реют салюты, там звучит в школах детский смех, там тянется длинная узкая аллея, по которой ступают твои бессмертные, стертые в кровь ноги, там за столом сидят сытые люди, и руки их легко касаются чаш и плодов, там некто с шакальей головой смотрит на тебя прозрачным косым глазом, там ангельчик Надя глядит на тебя не наглядится, там дети твои взирают на тебя, рожденные и неродившиеся, там сама ты, высохшая мумия, спеленутая в младенчес-

кий кокон, глядишь с молодого портрета. Все, как было здесь, только уже без перемен. И здесь тоже все останется как есть, только без тебя. Но чем, в сущности, была для тебя жизнь, как не постепенным выписыванием себя из этих широт — до полного отсутствия? Все свое ты постаралась унести с собой, даже писем не оставила — одни рапортички с места. Скрипка со сломанным аккордом не в счет. Так что воскресни, не дай Бог, несказанно удивилась бы чуткому к себе интересу. Какое уж тут житие! Просто жизнь. Да и не персона. Бывали на лицах отметины и поярче и пострашнее. Откуда же эта посторонняя тяга к п и с а н и ю, то есть продлеванию того, что прошло, не могло и даже должно было пройти, не оставив следа, не получив никакого «месторазвития»? Что касается Наташи, то она скорее всего усмотрела бы в этом акте жалкую дань, хуже подкупа, непрошеное рвение за ее счет залатать собственные дыры. Нет, не приняла бы она никакой дарованной житийности. Даже побрезговала бы, пожалуй. И, в свою очередь, подала бы на бедность — н и щ е й д у х о м, не знавшей ее бед, не нюхавшей сладкого запаха дымящихся внутренностей, не ходившей в тапочках по грязному месиву, как по аллее, не умевшей складывать множество мелких страхов в один, огромный, как географическая карта родной земли.

...Надежда Александровна будет умирать в местной больнице, то есть действительно у себя дома. В забытии она будет что-то бормотать про добровольную жертву — но чью? во имя чего?

Федор Степанович после смерти Надежды Александровны будет аккуратно записывать в тонкую ученическую тетрадку приход и расход текущей жизни. Он умрет в трезвом уме и деятельной, неведомо куда устремленной памяти.

Внук с женой напоследок принесут ему бульону, но он по старой вегетарианской привычке откажется. «Дни человека яко трава, яко цвет», — нетвердо повторит он и уйдет один в свое долгое путешествие.

Он уйдет в ту же землю, что и Наташа, куда много лет назад приехала стриженная Вера Цезаревна, где так гордо и брезгливо провела свои дни Надежда Александровна, откуда герой войны пытался увести их дочь, где в фанерном закутке, вслед за одним «потерянным человеком», маялись другие, его правнуки, — в ту самую землю, где все они были, жили, выживали и кое-кто даже из ума. Это было их место. Их безумие. Они т у д а п о п а л и. Ибо хоть и не были они ни злыми, ни покорными, ни корыстными, ни суетными, не делали мерзостей, не поднимали руки на слабого, не сквернословили, не ловили силками птицы богов, не добывали рыбы богов, не пытались остановить воду в пору ее, никогда никого не убивали — кто-то все-таки умер.

Такая вот география.

И мне тоже не удалось минуть место сие. Молча постояла я, взглядываясь в железные таблички с больно пересекающимися датами. Ничего уже нельзя было сделать — ни принести бульон, ни задать еще один нелепый детский вопрос. Даже мое одинокое и упорное стояние здесь в столь поздний час выглядело безадресной жертвой.

Поняла ли наконец Наташа, кто умер? — Она сама.

\* \* \*

Я с трудом выбиралась обратно. Меж убогих, разоренных холмиков бегала остромордая собака, кося на меня взглядом. День клонился к вечеру, на окрестности накатывала сонная дурь. Через одну-две минуты дневной свет окончательно погас. Остался лишь долгий эффект его отсутствия.

Каким образом я попала на эту длинную узкую аллею? Позади было темно, из другого конца навстречу мне быстро двигался маленький кусочек живой материи. Незнакомая женщина приближалась прямо ко мне. Поравнявшись со мной, она остановилась лишь на мгновение:

— Так?

И прогнула мне руку.

Валентина Пахомова

## Секреты из стеклышек.



\* \* \*

Сноп света и любви.  
Сток влажного сена.  
Паутинка в заброшенном сарае.  
Мой мир на теплых ладонях Земли —  
будничный, невесомый, сказочный...

\* \* \*

Сама себе покупаю цветы и радуюсь.  
Поставила в вазу белые колокольчики.  
Комната заневестилась и опустила глаза.

\* \* \*

Ветви берез, как руки балерины,  
бережно уносят год уходящий.  
А по опавшим, отлюбившим листьям  
лыжники проложат свежую лыжню.

\* \* \*

Ты ушел по-английски.  
Я по-русски рыдала.  
Ко мне подошла девочка и сказала:  
— Не плачь, козочкой будешь. —  
Не послушалась и стала козочкой.  
Полюбила козла Петю.  
Вместе топтали поля и огороды.  
Петя — мечтатель.  
И однажды ушел по-английски.  
А я по-русски уперлась рогами в избушку  
и рыдаю.

---

Валентина Михайловна Пахомова родилась в г. Павловский Посад Московской области. Окончила среднюю школу. Публиковалась в альманахе «Перовские страницы» (1990, № 1 и 1992, № 2), в журнале «Новый мир» (1993, № 9).

Стихотворные подборки В. Пахомовой печатались в «Антологии русского верлибра» (М., «Прометей», 1991) и в коллективном сборнике «Арбатские матрешки» (М., «Голос», 1994).

\* \* \*

Шел дождь.  
По улице.  
В кроссовках.  
А я шла в белых босоножках.  
Мы обнялись, расцеловались.  
И побежали наперегонки  
испытывать судьбу.

\* \* \*

Я ленивая и рассеянная.  
В магазине меня всегда обманывают.  
Зато дольше всех провожаю глазами улетающих птиц  
...лечу с ними рядом.

## *Секреты из стеклышек*

1

...И наши встречи станут воспоминанием,  
как секреты из стеклышек  
и разноцветные фантики детства.

2

Пурга вылепила твое лицо.  
Смотрю и думаю:  
«Когда же ты позвонишь мне?»

3

Ты меня сегодня обними!  
Быть может, завтра выпадет черный снег  
или погаснет солнце.

4

Только сейчас поняла, как ты мне дорог.  
Перебирая персики, случайно коснулась твоей руки.

5

С деревянного пыльного мостика  
на удочку поймала летний день.

6

Зеленые глаза июля  
притаились в кустах жасмина.

7

Горсть семечек в небе.  
Птицы...

\* \* \*

Цветок хочет пить — напоила.  
Люди хотят есть — отдала, что имею.  
Земля хочет жить — развела руками.

## Потерянный человек

Потерянный человек живет в потерянном мире.  
Мир то гладит его, то щелкает по носу.  
Потерянная собака перебегает дорогу с испуганными глазами  
и встречает испуганный взгляд потерянного человека.  
Они улыбнутся друг другу  
и вместе пойдут по жизни  
потерянной походкой.

## Прогулка

Крупный мужчина выгуливает маленькую собачку.  
Собачке весело.  
Она укусила старушку.  
Старушке весело.  
Она поцеловала молодого человека.  
Молодой человек сошел с ума и женился на собачке.  
Собачка счастлива.  
И каждый день кого-нибудь кусает.  
И каждый день кто-то сходит с ума.

Андрей Сергеев

## Альбом для марок

Коллекция людей, отношений, слов, вещей  
1936 — 1956



### Большая Екатерининская

Деду исполнилось восемнадцать, сваха попросила карточку.

В складчину с приятелем снялись на Тверской: барский кабинет-портрет, колонны и фон с кипарисами. Приятель — простой, дед — не простой: лицо длинное, усы, волосы бобриком, статный, брюки модные, полосатые.

Не скажешь, что никто, ниоткуда — сомнительная деревня Шилово, Рузского уезда. Что чужая изба, оспа на печке — оспины на снимке заглажены. Что с восьми лет в городе, в учениках, то есть за водкой — сначала другим, потом и себе. Что развлечения:

— Франт в соломенной шляпе прогуливается. Мы ему соленым огурцом — в пенсне! Он по земле шарит, не видит — а мы хохочем, бежать!

— Зимой на Москва-реку выходили на кулачки.

Бабушкиной рукой на обороте барского кабинет-портрета: 1891 года. По паспорту дед родился в 1876-м, бабушка — в 1886-м. Бабушка моложе деда на год. Мама родилась в 1898-м. Решение задачи см. на стр. ... и ... .

Бабушка — немислимый фэндесьекль: вавилоны, шляпки, муфты. На обороте паспорту медали и:

Фотография Трунова в Москве. Придворный фотограф ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ШАХА ПЕРСИДСКОГО, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ СЕРБСКОГО, ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ЭРЦГЕРЦОГА АВСТРИЙСКОГО, ЕГО ВЫСОЧЕСТВА КНЯЗЯ ЧЕРНОГОРСКОГО И ЕГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЕДНОГО ПРИНЦА ШВЕЦИИ И НОРВЕГИИ.

А лицо простое, скуластое. В деревне — Ожерелье, возле Каширы, — звали Мордовкой.

— Еще меня Лесовичкой звали. В лесу — не страшно. Раз столкнулась с бродягой — юркнула в кусты. Ищи-свищи! Я отчаянная была, ничего не боялась. В омут ныряла. Могла самую мелочь со дна достать — ногой, пальцами ухвачу, как рукой. Кто что утопит — сейчас за Аришкой. А поля — боялась. В поле никуда не денешься.

По семейному преданию, бабкину бабку в поле цыган догнал. Бабкин брат Семен — черный, смуглый: Цыган. У самой бабки вторая дочь, Тоня, такая же: Цыганка. Мама всю жизнь в цыганивала.

В Ожерелье в семье Калабушкиных всего выжило:

Екатерина, бабушка Катя, старшая, слабоумная,

Семен, дед Семен, Цыган, самородок,

Ирина, Ариша, моя бабушка,

Васса, бабушка Ася, самая добрая,

Федосья, бабушка Феня, красивая.

Их мать была кормилицей у купцов Трубниковых. За ней в Москву первой

попала Ариша — в широкий богатый дом. Что дом — весь переулочек вроде бы их — Трубниковский, с характерным старомосковским ударением.

Пошлут Аришу в кладовку за вареньем, она:

— Ложку в вазу — ложку в рот, ложку в вазу — ложку в рот. А самой страшно — старуха трубниковская твердит: — Очи твои — ямы, руки твои — грабли; что очами завидела, то руками заграбила. — Я все равно наедалась, как Данила. Был в Ожерелье бобыль такой. Мне, говорит, мало не давай. Дай мне так наесться, чтоб потом целый год на дух не надо.

Варенье стояло в глиняных банках. Раз Ариша открыла — а там золотые: старуха трубниковская ото всех спрятала и забыла. Золотые — не варенье, не тронешь. Зато гардероб — как варенье. С девчонками, без зазрения совести, вырядились в хозяйские туалеты — и гулять на бульвар к Пушкину — прямо на молодых Трубниковых. Те посмеялись, старухе не рассказали.

— Культурные были... Анастасий Александрович хороший был человек, обходительный, галантный. Эстет, статьи писал... Жил больше в Париже. Мать на него все ворчала, что отцовские капиталы транжирит...

Анастасий Александрович в приподнятом настроении возвращается домой за полночь. Открывает ему Катя — Ариша упростила Трубниковых взять и ее. Анастасий Александрович:

— Мерси-размерси, тыщу раз мерси!

Катя в слезы. Трубниковы утешают:

— Он же тебе ничего дурного не сделал.

— Ну да! Говорит: мерзкая-размерзкая, тыщу раз мерзкая.

Анекдот — но выше этого разумением Катя не поднялась, и старуха ее спровадила.

Аришу — своего человека — Трубниковы определили на фельдшерские курсы Бродского, на правах прогимназии, учиться четыре года. Курсы — Третья Мещанская, до Большой Екатерининской рукой подать.

У Трубниковых — все хорошо, если бы не старуха. В семнадцать лет бабушка сказала молочнице:

— Найди мне жениха, только почище.

На деда сначала раскапризничалась: рябой. Молочница утешила:

Нам с лица не воду пить.

И с корявым можно жить.

Венчались у Старого Пимена. Мама:

— На свадьбе у деда посаженным отцом — ты прям ахнешь, кто был — еврей!

Кнопп...

Кнопново благословение — васнецовского вида Спаситель — цел до сих пор.

Зажили на Большой Екатерининской. Деревянные домики часто горели. После женитьбы в пожар погибли бумаги. Дед сирота, настоящей фамилии отродясь не знал, числился то Мартыновым, то Кочновым. Теперь деда с бабкой насовсем записали по отчествам: Иван Михайлович Михайлов и — на благородный манер — Ирина Никитична Никитина-Михайлова. Это был первый случай, когда могли измениться даты рождения.

Бабушка про другой пожар:

— Сняли после лета, в углу Николая Чудотворца повесили, под ним сложили узлы — и за мебелью. А тут на втором этаже загорелось. Пожарные льют на второй — протекло на первый, обои отошли и свернулись, все вещи закрыли. Воры вошли — ничегошеньки не видать. А других жильцов обобрали как липку...

И с другой интонацией:

— Вор залез, украл костюм и оставил записку:

Твой костюм зимой не греет,

Летом жарко в нем ходить.

Это на Большой Екатерининской считалось верхом остроумия.

Екатерининские улицы — рабочая слобода у Крестовской заставы, каре между Екатерининским институтом, Трифоновской, Третьей Мещанской и Самарским переулком. Деревня преодолена прямою линией и штукатуркой фасадов.

Достопримечательностей — по диагонали — две: на Трифоновской — старинная церковь Трифона Мученика, на Самарском — деревянный ампир Остермана-Толстого.

Большая Екатерининская довлеет себе. В город выходят к родственникам или на праздник — в собор. В теплое время по воскресеньям на столах под деревьями играют: с важностью — в шахматы, серьезно — в стариковские шестьдесят шесть, с присказками — в лото:

— Два кола!

— И туда, и сюда!

Над крышами мальчишки всякого возраста гоняют голубей.

В молодости дед буянил, быстро и тяжело напивался, свирепо мечтал:

— Из городского кишки выпустить...

— Долгогривого за волосы отгаскать...

Возможность представилась в пятом году. Дед — профсоюз металлистов — корчевал фонарные столбы на Пресне. Бабка носила ему еду.

Похмелье пришло скоро и на всю жизнь: меньше пил, мягчал нравом, *Русское слово*<sup>1</sup> читал от доски до доски, но сам ни во что не лез:

— Не нашего ума дело.

Дед знал и любил церковное пение, советовал, в какой праздник куда пойти. После пятого они с бабкой о церкви не вспоминали. Разве что бабка в крутую минуту — что делать? — помолится.

Вместо церкви теперь — Большой, чаще — Зимин: Шаляпин, Собинов, Нежданова. Для деда всего душевней — *Аскольдова могила* с Дамаевым:

Близко города Славянска...

Эй жги-жги, говори-говори,

Приговаривай!

Весенняя фотография года шестого-седьмого.

Деревянные дома и забор, кирпичный брандмауэр, водосточная труба самоварным коленом. Сзади — крыши, деревья. На широком дворе:

Дед — высокий, в шляпе и тройке, улыбается в черные усы: ремесленник-художник.

Вальжная, в шляпе с бантом бабушкина приятельница Мария Антоновна — моя будущая обшарпанная нянька Матённа.

Бабушка — маленькая, со страусовым пером и в ротонде.

Мама и Вера в белых пальто. Тоня, Цыганка, уже умерла. Родилась такая красивая, что ясно всем: н е ж и л и ц а.

Бабушка Варя, жена деда Семена, Цыгана, — в черных кружевах и палантине, снизошла, позволяет собой любоваться.

Ее дети — Володька в пальто с пелериной, будущий коллекционер китайских древностей; Маргушка — как куколка.

Особняком — руку в карман — дед Семен, Цыган, мамин крестный, в котелке и визитке: коммерсант. Видно, что здесь он в гостях. Был пастухом, был камердинером у Полякова, ездил с ним в Биарриц, выучился солидности и французскому, самородок, сам вышел в баре. Этот Поляков — врач, известный благотворитель. Дед Семен больше брал пример с его брата, заводчика, миллионера. Только бабушка Варя могла — губы в трубочку:

— Калабушкины — все простофили.

Знавшие деда Семена — аттестовали:

— Калабушкин — Загребушкин.

<sup>1</sup> Сыгинская газета, разная, от Дорошевича до Розанова и Блока.

Между пятым и четырнадцатым жизнь на Большой Екатерининской наладилась.

Дед солидно работал у Фаберже, получал семьдесят пять. Говорили, таких закрепщиков в Москве — два, Фаберже и Лорье пытаются их сманить друг у друга. Лорье в Лондон звал — куда там, дед чужой жизни, чужого языка как огня боялся<sup>1</sup>. Фаберже — приглашал в компаньоны.

Дед повышения не желал: сроду претило командовать, решать за других. В своем деле он был художник:

кулончик из разноцветного золота — листья, травы, цветы из розочек;

перстни с цветами и бантиками из разноцветных камней;

перстни с к а п ю ш о н а м и — *так теперь не гранят*, с большими пейзажными яшмами, с искристым и с к у с т в е н н ы м *собранием любви*.

По тогдашним понятиям, это даром: рисовал приятель, свой труд не в счет, золото — вынул из портмоне, камешки простенькие, если алмазы — то розочки, касты — серебряные.

В сорок втором за кружку молока для меня ушла одна из четырех плетенок с я п о н с к и м секретом: снять с пальца, бросить на стол — рассыпается в выгнутую цепочку, четыре звена. Собрать — единственным способом, если не знать — не додуматься.

Фаберже кончился так. Мастер разорался на соседа. Дед — профсоюз металлистов — начал укладывать свой сундучок.

— Что вы, Иван Михайлович! Это вас не касается.

— Знаем, знаем, кого касается.

И ушел. Насовсем. Себя уважал. Работу любил — праздниками тяготился. На лето отправлял бабу с дочерьми в дешевую деревню. Но трижды за девять лет м и р н о г о в р е м е н и — на юг, в Старый Крым, Новый Афон, Эссендуки.

Господину Ивану Михайловичу Михайлову

Верхние торговые ряды № 102-й

1-я артель ювелиров. Москва.

1910 г. 3 июля, Кавказ.

Дорогой папа!

Мы твое письмо получили 2-го июля и были очень рады, что у Вас все благополучно. Мы через день ходим с Верунькой в ванну и почки мои стали немного лучше. Мы целыми днями сидим в парке с Верой. Верунька ждет от тебя 1 р. за рождение. Я свесилась и во мне 1 п. 36 ф. В Вере 1 п. 17 ф. а в маме 2 п. 39 ф. Васюта<sup>2</sup> еще не весилась. Целуем тебя все.

Женя

После Николаевского детского приюта (Почему он был? Не от бедности же!) маму, с п о с о б н у ю, хотели отдать в пансион<sup>3</sup>. (Мама уже начиталась Чарской — и ни в какую). Выбрали гимназию Самгиной на Первой Мещанской. Бабушка стала объяснять, что надо говорить на вступительном экзамене. Мама:

— А как же *долгой царя-правительство*?

— А *долгой семидержавие*?

— А *Одесс подписует в роскошном дворце*?

Это из разговоров больших во дворе и от подружек.

Гимназия Самгиной, даже не последние классы — самое полноценное, активное и успешное время в маминой жизни.

— Я все волновалась: — Мам, я на столько научилась, сколько заплачено? — Не беспокойся, Женя, намного больше.

— Закон Божий был — хоре хорькое, как политграмма. Батюшка спросит: — Опять тропари не выучила? — Да они, батюшка, не запоминаются, не в рифму — нескладные. — Женя, разве можно так говорить? — Батюшка у нас был добрый...

— Я на круглые пятки училась. Немка Альма Иванна Вальтер во мне души не

<sup>1</sup> Возможность уехать!

<sup>2</sup> Бабушка Ася. Моя бабушка всегда заботилась о своих.

<sup>3</sup> Папу, тоже с п о с о б н о г о, определили в Щапово.

чаяла. Я по-немецки хорошо болтала. Нас четыре подружки было — Надька Павлова, Лидка Кудрявцева, Милька Подбельская — мы кто доктор, кто, значит, — мама, кто — дочка больная. Все уроки так разговаривали, разговоры сами придумывали. Ленивые-то, кто не выучил, прям' не знаю, как рады — на этом и ехали. Ну, а нам хорошо...

— Француз мсье Люке ко мне все на парту подсаживался. Я его спрашиваю: — Мсье Люке, правда — французский язык самый красивый? — О нет, госпожа Михайлова. Самый красивый язык — португальский.

— Танцевать я любила, легко танцевала. Кавалеров хоть отбавляй. На балах со мной распорядитель танцевал. А еще любила коньки. Бегала на *Унион* — поближе куда...

Педагогический совет женской полноправной гимназии Лидии Федоровны Самгиной, в Москве, на основании § 12 правил об испытаниях учениц женских гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения постановил дать в награду похвальный лист и сию книгу ученице пятого класса Евгении Михайловой за отличное поведение, прилежание и отличные успехи, оказанные ею в 1913 — 1914 учебн. году. Москва, 4 сентября 1914 г. № 388.

Издания — в о л ь ф о в с к и е, с золотым обрезаем:

Петискус — *Олимп.*

*Царские дети и их наставники.*

*Стихотворения графа А. К. Толстого:*

— *Лучше бы Князь Серебряный.*

Окончательно обосновались в трехэтажном кирпичном 5-а, кв. 5: пять-опять.

Из трех комнат одну — в подспорье, а скорее даже, как все — сдавали, старались кому посolidнее. На Большую Екатерининскую проникали люди из внешнего мира.

По рекомендации явился — куда солиднее — Лев Павлович Никифоров, пензенский помещик, имение отдал крестьянам: толстовец, знаком с Толстым. Живет переводами: Джон Рёскин, Макс Нордау<sup>1</sup>. Жена — Екатерина Ивановна Засулич, сестра Веры Засулич. Сыновья — профессиональные террористы, уже все погибли. Один в тюрьме облил себя керосином и сжегся, другой убил начальника тюрьмы и был застрелен на месте, третьего повесили после ленских событий.

Никифоровы переехали, а сами куда-то ушли. Мама — к замочной скважине. Из плетеного — в рост человека — коробка медленно растекается красное: террористы. Бабушка еле их дождалась, не знала, как сказать. Сами извинились, что половицы запачкали: грузчики кокнули полуведерную банку варенья.

Дочь Никифорова была замужем за Мураловым, но не венчалась и фамилию мужа не брала: Никифоровы-эсэры презирали Мураловых-эсдеков. Николай Иванович Муралов впоследствии командовал МВО: это он вызывался убить тирана. Бабушка моя обобщала, что и эсэры и эсдеки:

— Все норовят, как бы на шармака пообедать.

Патриотическая манифестация:

— Немка нам: — Гутен таг! — а мы ей: — Здравствуйте!

Патриотическая благотворительность, инициатива, несомненно, из гимназии:

Русская специальная ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА, кому, куда  
Письменные сношения военнопленных или с военнопленными допускаются только посредством почтовых карточек, подаваемых открыто.

Письменные сообщения допускаются только на русском, французском и немецком языках.

Германская обыкновенная ПОСТКАРТЕ

Штемпели: Кригсгефангенензендунг Гепрюфт.

<sup>1</sup> Сказки Макса Нордау с дарственной надписью бабушке, с цветными картинками были у меня все детство.

Вскрыто военной цензурой г. Петроград.

Военный цензор № 675.

РОССИЯ.

ЕВГЕНИИ ИВАНОВНЕ НИКИТИНОЙ

Москва, Б. Кисловка, 8, кв. 6<sup>1</sup>.

Германия. Город Альтдамм. Лагерь военнопленных № 1-й в 1-ю унтер-офицерскую роту Ивану Сидорову Аксенову.

Евгения Ивановна! Я вашу посылку получил в таковой нашлось ниже указанные вещи, пара белья, полотенце, носки, чай, сахар, табак, мыло и сухари все это необходимо для меня при чем приношу сердечную благодарность, но я более нуждаюсь в съестном, за тем будьте здоровы и пожелаю всего хорошего унтер офицер 116 п. Малоярославского п.

Иван Сидоров Аксенов.

Дед — ратник ополчения второго разряда, по нездоровью. В окопы попал на второй или третий год. Мок и мерз в Карпатах, мучили головные боли.

Бабка — сестра милосердия — из Москвы помчалась к нему. Не могла найти, по отчаянности явилась к командующему. Брусиллов приложился к ручке, указал на стул. Дед отыскался немедленно — и попал в условия более сносные.

Перед призывом он положил в банк на маму и Веру по тысяче — на университет. Тысячи усыхали и в один прославленный день ухнули.

Февралю дед обрадовался: во-первых, демобилизовался; во-вторых, царя не любил — как любое начальство. В доме пять-опять долго хранилось *Русское слово* с присягой войск Временному правительству.

Перед выборами в Учредительное собрание мучился, за кого голосовать:

— Дураки мы темные — откуда нам знать? Эх — за кадетов, они хоть умные...

С войной вместо солидных жильцов — студенты. Первый мамин ухажер Толя Павперов:

— Я в седьмом классе была. Верка ревновала! Она меня ко всем кавалерам ревновала, все злилась, что за ней никто не ухаживает. А мне он не нравился. Я хитрая была. Он спросит: — Женя, можно вас проводить? — Я в окно погляжу: если дождик — пожалуйста, под зонтом все равно не видать. Он некрасивый был, лицо — как у Сократа. Он с товарищами — все студенты — провел меня к Зимину на *Бориса*. Шалаяпин всегда у Зимина пел. Большой — только название, мест у Зимина больше. Они меня между собой посадили и все пугали, что капельдинер подойдет и спросит билет. Я прям' вся истряслась... Содержательный был человек, умный. А мне — с кем бы поплясать да на каток...

Когда Павперова призвали, на его место появился Гукас.

— От Гукаса паленым пахло. Говорили, что у них в Армении шестьдесят градусов жары, на свиньях кожа лопается. Он на задания ходил — тогда все ходили, гимназисты, реалисты, студенты — все революции сочувствовали, контрреволюционеров искали. Мама за него волновалась, она его, как родного, полюбила. Говорит: — Если бы мой сын на задания ходил, что бы я делала — только молилась. — Он придет и говорит: — Ирина Никитична, спасибо вам, вы за меня молились...

Осенью семнадцатого мама репетиторствовала — еще было где. У вдовца Квальхайма натаскивала дочек — неизвестно куда. К дочери профессора Бадера ходила как мадемуазель, обучала французскому за двадцать бумажных рублей в месяц. Жена профессора, разодетая, как манекенщица от Мюра-Мерилиза, говорила, что будет еще хуже. Сватала маму за норвежца, инженера Христиансена<sup>2</sup>. Мама побоялась:

— Чудной он какой-то был, нерусский. Говорит: смотрите, я ушами шевелю. И правда — у него уши шевелиятся. Я подумала: увезет он меня и бросит там. Что я тогда буду делать?

На Большой Екатерининской кто-то первым сказал:

— Триста лет налаживали...

<sup>1</sup> Фамилия бабушкина, адрес подругин: военная хитрость.

<sup>2</sup> Снова возможность уехать. Сколько же этих возможностей было не на Большой Екатерининской!

Мама на верблюде — ядовито-лиловый провинциальный снимок.

После зимы семнадцатого-восемнадцатого бабушка подрядилась в спокойную сытную Астраханскую губернию. Ее предшественник, фельдшер Гоголь-Яновский<sup>1</sup>, генеральский сын, неуч, лентяй, не справлялся с работой. Должно быть, не мог:

— Как Епиходов — двадцать два несчастья.

Против бабушки ничего не имел. С мамой и Верой подружился. Его сестра Маруся Яновская — в брата — дружит с мамой по сей день.

Когда спокойная Ахтуба переходила из рук в руки, бабушка, Яновский, мама и Вера ухаживали за ранеными. И белые, и красные грозили зарубить — не зарубил никто, даже не угнали с собой, по неопытности. Бабушка благоволила тем, кто почище, поинтеллигентнее.

Дед куда-то уехать не мог: сразу забрили в Гохран.

За большим столом в одинаковых робах линиялые люди заняты чем-то мелким. Во главе стола перед аналитическими весами дед, без усов, глядит в объектив. Лицо арестанта, замученное. Над ним — слоноподобный надзиратель.

По отношению к любимой работе Гохран — антиработа. Закрепщик выколупывал камни из драгоценностей двора и дворянства. Принесли исковерканную диадему с приставшими на крови волосами — деда вырвало.

Каждое утро переодевайся в казенное, без карманов, каждый вечер подставляй задний проход для досмотра.

— Как будто я вор...

Сейчас не понять, как шла почта, как ездили через фронты. Бабушка получила письмо, что у деда испанка, и прорвалась в Москву. Спасла — может быть, не от одной болезни: в бреду дед вскакивал и искал веревку.

— Да как же это я Троцкого не удавил...

В двадцатом к деду поехала мама, отъехала пустяк — сняли в тифу в Саратове.

— Бабы несут в барак. Отдыхают — носилки на снег ставят. Я ору: — Замерзну! — Стала поправляться, врач — симпатичный был, говорит: — Если останетесь здесь, в бараке, — еще что-нибудь подцепите, тогда вам не выкарабкаться. — Ко мне все всегда хорошо относились. Я написала отцу Маруски Яновской: если бы ваша Маруся оказалась в таком положении, моя мама ее на произвол не бросила бы. Он прикатил на извозчике, всю понукает, боится, что я замерзну. Я выздоровела, хочу в Москву. Комиссар на вокзале говорит: — Поймите, мне вас жалко. Вас первый отряд снимет с поезда — и на трудфронт. — А я сержусь, ничего не понимаю: почему снимают, какой трудфронт?

В одно время с папой мама оказалась на Волге, и даже при сельском хозяйстве: для проформы записалась в землемерный техникум.

Наверно, это было хорошее время Саратова: Волга, воля, старые шоры спали, новых еще не надели. Была п у б л и к а — вчерашние студенты из столиц, беженцы из западных губерний.

— Поляк, лощеный такой, пше-вщи, все расшаркивается. Я, говорит, сильный, я этот арбуз вам сейчас донесу. А арбуз — во какой, нивподъем. Он нагнулся — трыкнул...

Поклонников у мамы — т ь м а - т ь м у щ а я. Даже в дикой Ахтубе, не считая пентюха Яновского и мимолетных офицеров, был, солидно ухаживал управляющий баскунчакскими соляными промыслами пятидесятилетний инженер Третьяк. Гонял для нее паровозик, устраивал пикники на верблюдах — отсюда и фотография.

В Саратове и без бабушкина надзора ничего такого быть не могло: слишком мама всего боялась, да и Саратов воспринимала как продолжение гимназических балов, не более. Днем и ночью общество, гулянья, лодки, песни.

Неаполитанские — без государственных теноров:

Легким зефиром  
Вдаль понесемся

<sup>1</sup> Гоголь-Яновский уже был с папиной стороны, теперь еще один появился и с маминной.

И над реко-ою  
Чайкой взовьемся.  
Лодка моя легка,  
Весла больши-ие —  
Са-ан-та-а' Лю-у-чи-и-я,  
Санта-а Лючия!

Три юные, мечтательные, в белых платьях, свесили ноги с лодки. Средняя — мама, правая — Вера, стало быть, двадцать первый год, на пути в Москву.

Дед за Гохран — больше не за что — получил тогдашнего Героя труда — без регалий и привилегий, одна бумага с шапкой р а с ф у ф ы р и л а с ь<sup>1</sup>:

— Жесткая, не подотрешься.

В эпоху аббревиатур и интернациональничанья *герой труда* у деда сэтимологизировался наоборот:

— Никулины опупели совсем, дочке имя придумали: Гертрудá.

Герою труда объявили, что ювелирное искусство чуждо пролетариату, и пристали с ножом к горлу: — Вступай! — Дома он: — Мать, что делать, хоть в петлю. — Да куда тебе, совсем с ума сойдешь.

За отказ у Героя отняли профсоюзный стаж — с металлистов, с пятого года.

Кстати, когда маму не принимали в профсоюз, она побежала к *свежнему столько обедов на шармака* эсдеку Муралову. Б о л ь ш о й ч е л о в е к помочь отказался:

— Надо уметь самой постоять за себя.

Почти эсэровское: *в борьбе обретишь ты право свое.*

Дед работал у Швальбе — тонкий медицинский инструмент. Бабка — у Склифосовского. Еле сводили концы с концами. Дед возмущался:

— Кому на, а кому — нет. И так гроши платят, а тут опять на английских шахтеров собирали. Бастуют! Да они живут в тыщу раз лучше нашего. И ефимплан им никто не навязывает...

Промфинплан при ж и д о в с к о м з а с и л ь е предстал ефимпланом.

В двадцать первом году мама поступила на естественное отделение 1 МГУ, не вынесла анатомички и перешла на химическое.

На первой же лекции оглядела аудиторию и соседке:

— Одни евреи!

Соседка тоже была еврейкой.

Маму таскали во все комы:

— Вы не дочь меховщика Михайлова?

В общем:

Я не хоз и не гос  
И не член союза —  
Если чистку проведут,  
Вылечу из вуза.

На чистке: — Какая разница между партией и правительством?

Мама подумала: — Никакой.

Посмеялись. Оскорбления величества не усмотрели.

Оскорблять — ох, как хотелось! Бабушка приносила от Склифосовского:

Царь-пушка не стреляет,  
Царь-колокол не звонит.  
Червонец не покупает,  
Президент не говорит<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> От «рэсэфэсэрэ». Бабушка, зная, произносила и: сэсэрэ.

<sup>2</sup> В лэфовской кинохронике похорон высокохудожественно было:

титр: ЛЕНИН

кадр: гроб

титр: А МОЛЧИТ

Мамина подружка по пьяной лавочке спела в компании:

Я куплю, куплю свечу —  
 Чум-чу, чум-чу, ра-ра —  
 На могилу Ильичу —  
 Ишь ты, ха-ха!  
 Ты гори, гори свеча —  
 Чум-чу, чум-чу, ра-ра —  
 В красной жопе Ильича —  
 Ишь ты, ха-ха!

Спела и села. А когда вышла, ее стали бояться — как-то сразу запало в сознание, что выходить оттуда — противоестественно. Показывали на большой угловой дом на Солянке:

— Там в подвалах расстреливают — и трупы в Москву-реку.

— Савинков, говорят, мешок с костями был, когда сбросили.

Вычисляли, кто гадит; с вычисленными отношений не прекращали — мало ли что...

Фольклорные расшифровки: ГПУ — Господи Помяни Усопших.

НКПС — Небойся Катастрофы Публика Садись; а если справа налево, по-еврейски — Сядешь Поедешь Костей Несоберешь.

Что до одних евреев, мамыных ухажеры, товарищи по университету:  
 Митька Языков, медик:

Не Дмитрий я Донской,  
 Не Дмитрий Самозванец,  
 А Дмитрий я простой,  
 Я пьяница из пьяниц.

Гавка Попов, тоже медик, сын крупного лесосплавщика. Скрывал, попался на том, что слал посылки на север. Кончил на лесосплаве.

Коля Сабуров — тайный дворянин, восходящее светило химии, уцелел.

Коля Шуйкин — тоже химик. Эту фамилию за глаза не могли не переименовать. Писал маме стихи под Есенина.

Было их — пруд пруди, все на «-ов» да на «-ев», всех не упомнишь.

— Вроде Володи, похоже на тарантас.

И каждый со своей Большой Екатерининской — столичной, губернской, уездной, заштатной. И каждый, как мама, и без ВОСРа был бы в университете. И каждый с понятиями — разлететься с букетиком.

И каждый вставал в тупик перед политграммой. Классово, может быть, чуждые, отнюдь не враждебные, они не были и не стремились стать в доску с вами и ми, но их уже нес поток, и один Бог хранил их, растерянных, от не понятной им гибели.

Дед с бабкой, в отличие от маминых кавалеров, не были растерянными. Молча, без слов, без колебаний они причисляли себя к побежденным. Вслух возмущались, вспоминали мирное время:

— Как сейчас, на одной гречке сидели, зато никто не таскал.

В Московском ювелирном товариществе, потом в артели *Фотоювелир* мало платили, много подозревали. Трясли, требовали золото-бриллианты. В лубянской парилке выдерживали не раз. И потчевали слушком, что есть машинка такая — вставят в задний проход — все отдашь.

Дед был готов отдать до последнего обручального. Бабушку не тягали, ей было виднее: чем больше отдашь, тем верней не отстанут. И неистовостью своей кое-что сохранила.

К практической неистовости — наивная предосторожность. На дверях пять-шесть — круглый звонок ПРОШУ ПОВЕРНУТЬ — для чужих (ГПУ?). С в о и — тонко постукивали в стенку ребром ключа.

На производственной практике концессионер Ралле преподнес маме свой шедевр — духи *Билитис*: золотистая латунная коробка с барельефом Билитис, внутри — в шелковых подушечках флакон с золотистой металлической этикеткой, Билитис во весь рост.

После университета — с двадцать седьмого — мама работала на фабрике *Красный мыловар*, трест *Жиркость*. Фабрика — на краю света, воняло от нее — за версту.

Работа — качественный анализ, как гимназические классные задания.

— Меня жалели, в ночную смену я никогда не работала, слабенькая была...

Пожалели — приняли в профсоюз, пожалели — дали общественную нагрузку: распределять билеты в театр. Пролетариат просил:

— Дайте нам в оперетку. *На дне* — это нам не надо, это мы каждый день видим.

*Трест Жиркость*, эмблема: над Ж вырастает Т.

Заведующий лабораторией, тоже ухажер, уверял:

— Мы кто? Тэжэ: Толя и Женя. И Толя возьмет верх.

Ни давнишний жилец, первый мамин кавалер Толя Павперов, ни Толя — заведующий лабораторией верх не взяли.

Первым браком мама была за инженером Камандиным. О нем знаю: невысокого роста, складный, по тогдашней моде, пенсне и бритая голова.

— Эт' такой человек был черствый, жесткий. Рази он дал бы мне кончить университет? Я пришла на Большую Екатерининскую, говорю: — Возьмете назад? — Я прям' сбежала, уехала на извозчике, все вещи остались. Книги немецкие, хрестоматии. Я только Надьку Павлову к нему послала за коньками: что я без коньков делать буду?

Если подумать, сбежала не напрасно: через несколько лет Камандин загремел в промпартию.

— Все тогда говорили, что на суде эт' не они — ряженые. Я прям' не знаю, как пер'живала — вся почернела.

Думаю, маму не таскали. Представить ее на Лубянке у следователя — страшно.

— Врачиха как увидела, что у меня пятьдесят семь процентов гемоглобина, сразу записку к заведующему производством, чтобы дал отпуск. Мне тогда студенческую путевку в Судак достали. Я молодо выглядела, тридцать лет мне никто не давал. Ехать не на что было — я пошла к заведующему производством, прошу: — Дайте за месяц вперед, я потом отработаю. — Он улыбается: — Женя, так нельзя. Ты никому не говори — вот тебе премия, — у них премии были, а я и не знала... Ну, уехала, отдохнула, в себя хоть пришла.

Погрелась на солнышке — фотографии, правда, замечательно молодая и миловидная.

Погоуляла по берегу — плавать не умела, в горах — боялась высоты.

Судак — последнее мамино путешествие.

Мама никогда не была в Ленинграде,  
 мама никогда не была в Киеве,  
 никогда ничем не интересовалась,  
 никогда не делала никаких усилий,  
 никогда ни над чем всерьез не задумывалась,  
 никогда не признавала высокого и абсолютного,  
 никогда не верила в Бога,  
 никогда не считала себя равной кому-то,  
 никогда не была недовольна собой,  
 никогда не сомневалась в своей правоте,  
 никогда не умела влезть в чужую шкуру,

никогда не заводила кошек/собак/цветов,  
 никогда не влюблялась,  
 никогда не верила никому, кроме бабушки,  
 никогда не отождествляла себя с властью,  
 никогда никого не предала.

Сестра Вера отбивалась от Большой Екатерининской. Поступила во ВХУТЕ-  
 МАС-ВХУТЕИН: Машков, Кончаловский. С брезгливостью: Соколов-Скаля. Обо-  
 жала современную западную живопись и литературу:

— Два-три штриха — и все видишь.

В выращенном белилами шкафчике за стеклом:

*Пушкин в жизни,  
 Ежов и Шамурин,  
 Роза и крест,  
 Русский футуризм,  
 Цыганские рассказы Берковичи,  
 Странное происшествие в Уэстерн-Сити,  
 Новую южное открытие или французский Дедал.*

И брошюры: *Третьяковская галерея, Музей нового западного искусства, Сезанн, Стейнлен, Мазереель, Кете Колльвиц, Прогулка по Трансбалту, Ребенок-художник.* Программка Персимфанса.

В ахрровском журнале *Искусство в массы* я выискал неправдоподобное письмо в редакцию: с а м о у ч к а Т о ч и л к и н и погромные стишки под Демьяна:

Я вышел на площадь поглядеть на октябрьский парад  
 И увидел напротив Кремля, в аккурат,  
 Изображение красного воина  
 На сером большом полотне.  
 Была дура-фигура плакатно удвоена,  
 И уродство ее выпирало вдвойне.  
 На плакате другом с идиотскою харей  
 Красовался квадратный урод — пролетарий.  
 Ворошилов вскипел: — Это глупость иль дерзость?  
 Сейчас же убрать эту мерзость!  
 На вредительство наглое очень похоже...

Книги, брошюры, даже лихие стишки были наличностью. Внизу за глухими  
 дверцами скрывались неопишуемые возможности:

сиена жженая,  
 умбра натуральная,  
 берлинская лазурь,  
 изумрудная зелень,  
 кобальт синий,  
 крон желтый,  
 марс коричневый,  
 кадмий красный,  
 ультрамарин,  
 капут мортум,  
 крапплак,  
 гуммигут...

Настоящих красок — немецких, английских — давно не было, и свои уже не  
 досекинские. Холстов тоже не было. На одном — слой за слоем — писали две-три-  
 четыре картины. Мама часто позировала: бесплатно натурщица. Верина соученица  
 написала ее убранную, разодетую; Вера — в деревенском платке с овощами.  
 Начинала Вера всегда во здравие, но остановиться вовремя не могла, перемучивала,  
 холсты выходили пасмурные.

Пасмурная — вот, пожалуй, слово про Веру.

Внешность у нее была породистая, в деда. Нрав дикий, с заскоками, больше, чем в деда. Мужчин презирала — особенно, маминых кавалеров. На Веру — жених еще не родился.

*Если бы не беременность мной, мама вряд ли вышла бы за отца? А может быть, наоборот? Деваться было так некуда, что беременность мной, чтобы выйти замуж? Очень уж близки даты регистрации брака и моего рождения. Мамины слова:*

— Мне говорят, мы тебя сейчас с откормщиком познакомим. Там многие хотели его на себе женить. А я цепкая... Он все раздумывал. Ты, говорит, легкомысленная. А я, правда, никогда не задумывалась, хорошо я делаю...

Отец раздумывал не случайно: он только что был женат.

Лет в сорок, году в тридцатом расписался с сестрой Нади Павловой, маминой гимназической подружки. Та быстро и на виду ему изменила с общим знакомым. Отец не стерпел. Мама же, у ц е п я с ь, побежала к недавней жене узнавать, какой характер у Якова и вообще...

Как никто на Большой Екатерининской не был рад моему отцу, так все были рады мне. Бабушка не оставляла нас ни в Москве, ни в Удельной. В Москве каждый день — или мы к ней, или она к нам, особенно утром, после Склифосовского, где с у т к и де жур ю — т р о е с в о б о д н ы х. Работала в хирургии у Юдина. Юдин сказал:

— Старух разводить не буду!

Вводили паспорт, и бабушка убавила себе впрок лет восемь.

Дед ни разу не был на Капельском, ни, конечно, в Удельной.

Отец на Большой Екатерининской появлялся по необходимости. Сидел за столом, помалкивал или замечал на деревянной хлебнице надпись: ПРИЯТНАГО АППЕТИТА! Хорошая, а в Усолье была еще лучше: ХЛЇБ НА СТОЛЕ — РУКИ СВОЇ!

Мама любила тонкие ломтики — как лепестки. Дед резал крупно:

— Большому куску рот радуется!

В обычные дни на Большой Екатерининской:

— Ши да каша — пища наша.

В получку дед ш и к о в а л: щедро, на русском масле, жарил крупные пласты картошки. Мне нравилось больше, чем бабушкины елисейские деликатесы. Дед сиял:

— Колхозник!

Когда я ронял на пол, подбадривал:

— Русский человек не повалявши не съест.

Когда я капризничал, требовал, — одобрял:

— Герой! Все ему вынь да положь!

Бабушка ревновала, что я весь в деда.

Мама объясняла: — В Духов день родился, с душком парень.

Вера не рассуждала: — Милюня моя.

И с тех пор, как себя помню, на меня изливали невообразимый поток фольклора — старинного и пореволюционного, деревенского и мещанского, народного и самодельного, жантильного и откровенного.

ДЕД. Был молчалив. Мне пел:

Ах вы, Сашки-канашки мои,  
Разменяйте бумажки мои.  
А бумажки все новенькие,  
Двадцатипятирублевенькие!

БАБУШКА. Любимая песня:

Над полями да над чистыми  
Месяц птицею летит.

И серебряными искрами  
Поле ровное блестит.

БЕРА. Тетку быстро съела болезнь. Поэтому только раннее. Кисейно-оранже-  
рейнное:

У речки над водичкой  
Построен теремок,  
Там с курочкой-сестричкой  
Жил братец-петушок.

И совсем из другой оперы:

Шумит ночной Марсель  
В притоне *Трех Бродяг...*  
У маленького Джонни  
Горячие ладони  
И ногти, как миндаля.

МАМА. Самый близкий, самый богатый, самый пестрый и непоправимый  
источник.

Гимназическое:

Голова моя кружится,  
Пойду к доктору лечиться.  
Доктор спросит: — Чем больна?  
— Семерых люблю одна.

На популярный мотивчик:

Путеец-душка,  
Как ты хорош!  
Берешь под ручку —  
Бросает в дрожь.  
А поцелуешь —  
Всю кровь взволнуешь,  
Ты покоряешь сердце дам!

Военного времени:

Мичман молодой  
С русой бородой  
Покидал красавицу Одессу...

Опереточное:

Кит-Китай, Кит-Китай,  
Превосходный край —  
Шик-блеск-ресторан  
На пустой карман!

Скороговорочное:

Жили-были три японца —  
Як, Як-Цидрак, Як-Цидрак-Цидрони.  
Жили-были три японки —  
Цип, Цип-Цидрип, Цип-Цидрип-аля-Попони,  
Все они пережились —  
Як на Ципе.  
Як-Цидрак на Цип-Цидрипе,  
Як-Цидрак-Цидрони на Цидрип-аля-Попони.  
Родились у них детишки — и т. д.

Мама постоянно распевала и оперные арии — по старой памяти и с радио.

Изредка — за штопкой/глажкой — радиокомитетские песни советских композиторов:

Каховка, Каховка,  
Родная литовка...

В сознание не умещалось, что родной может быть винтовка.

А трансляция на Капельском была, как везде, как у всех. Не было ее только на Большой Екатерининской — и не только у бабушки с дедом.

В тридцать седьмом из Карабугаза в Москве — чудом, на один день — оказался ссыльный Камандин, первый муж мамы. Он пришел на Капельский днем, когда папа был в Тимирязевке. Умолял маму уехать с ним, брался меня усыновить. Мама трезво отказалась. Пораженный, я вечером доложил папе:

— Был дядя, пил водку, плакал и закусывал огурцом.

В переулке зимой человек без пальто, опухший, в очках просит у мамы двадцать копеек. Она достает рубль:

— Несчастный.

Сажали всех. Бабка с дедом, естественно, ни минуты не верили, что кто-то из арестованных виноват. За себя не тревожились:

— От судьбы не уйдешь. Не судьба — ничего и не будет.

За своих — тряслись, за других — возмущались. Не возмущался дед показательными процессами:

— Что мне, Бухарина жалко? Мне Никулина<sup>1</sup> жалко.

По Москве в сопровождении младшей Трубниковой барином разъезжал Лион Фейхтвангер. Посетил он и простое жилище своей переводчицы: Трубниковы-Баландины за огромные четырнадцать тысяч рублей купили кооперативную квартиру Бурденко в районе Грузин. Это там на елке все было непонятно красиво и, как на даче, просторно.

Переводчица бабушке на ухо рассказала, сколько при ней получил Фейхтвангер за *Москву, 1937 год* и сколько ему давали, чтобы остался.

На кухне Капельского мама, на всякий случай, громко произносила:

— У Гайдара — лицо хорошее. *Как закалялась сталь* — я прям<sup>7</sup> обрелась вся, такая искренняя. Проникновенная! — про л ю б и м у ю п е с н ю Ч к а л о в а:

С песнями борясь и побеждая,  
Наш народ за Сталиным идет.

С песнями боролись. То ли за скверный характер, то ли за сезаннизм году в тридцать седьмом Верины работы после благополучного вернисажа исчезли из экспозиции. Нашлись они в темном чулане.

Несколько дней Вера просидела в своей комнате, а потом — с заявлениями помчалась в приемную Ворошилова, в приемные почище. Вопреки воззрениям собственным, деловым, бабкиным, она поверила людям в форме.

При мне на Большую Екатерининскую приезжал врач в форме НКВД. Вера разговаривать с ним отказалась: форма не настоящая, еврей.

Форма была, правда, не настоящая, все зло заключалось в евреях.

Еврей-т р е б у ш и т е л и по ночам деформируют нам черепа, вычленяют кости для перелома, подпиливают зубы, меняют впрыскиваниями глаз и волос, чтобы не были голубоглазыми, русыми: русскими.

Еврей-р и т у а л и с т ы окружают нас своими словами, слова эти всюду, в созвучиях, сдвигах;

с древности славянам грозил *Наваха-донос-сор*.

всю жизнь бабушку преследует профессор *Трунников*,

<sup>1</sup> Сосед и сослуживец.

жасмин в Удельной надо вырубить: он навлекает мешающий мысли *джаз Миньковской*<sup>1</sup>.

Х у и с т ы делают нас бесплодными, и нельзя взять на воспитание: будет *навозпитание*.

Ш у ц б у н д о в ц ы днем и ночью шумителем глушат мысли или читают их с помощью реостата, он же мыслитель.

Для предосторожности — избавиться ото всех меток, клейм, примет. Вера счищала *САЗИКОВЪ* и 84с ложек, *Золинген* и овечку с ножей и ножниц, *ПОПОВЪ* со швейной машины, № 4711 с пудры, *СГУ* с леденцовых жестянок. Чертежно сломанной по диагонали бритвой выковыривала на себе родинки и веснушки.

Полное спасение — в книге *Багдад* с предисловием Джугашвили. Достать эту книгу трудно, если и попадетя — то с вырванным предисловием<sup>2</sup>.

Защищены от евреев в о л ь н ы е х л е б о п а ш ц ы — бабушкины, из Ожерелья, только права у них отняли. Охраняет обращение *гражданин*. Мне:

— Гражданин пришел.

— Гражданин, хочешь тертой морковки?

Евреем же мог оказаться кто угодно:

— Просыпаюсь ночью и вижу — рыжая старуха с потолка опускается.

*Рыжая старуха* — бабушкина сестра, моя бабушка Ася, по мужу — Рыжова. Более доброго, ласкового, внимательного и безответного человека не вообразить. Я любил ее, как никого из родни, — даже не за то, что она всегда привозила мне что-нибудь от подраставших Бориса-Игоря: еще один комплект *Ежа*, игру *Кто догонит*, *блошки*, грубый альбомчик с марками:

— Это тебе на первых порах.

Я представлял себе что-то, мчащееся на всех парах.

Опускала в мою копилку не копейку, а гривенник:

— Серебром собирать выгоднее.

Я представлял себе сказочное серебро. Бедные дары ее всегда были богатыми<sup>3</sup>.

Бабушка Ася не повышала голоса. Лаской, намеками меня, тупого на соображение, подводила к тому, что я сам хотел/делал, что надо, и вел себя должным образом.

Обитали Рыжовы в полухибарке в Покровском-Глеbove — тогда Подмосковье. Чеховский нудный Дмитрий Петрович, бабушки Асин муж острил:

— Сан-Глебау.

Их Борис и Игорь целыми днями сидели возле шоссе и записывали номера проезжавших машин: попадаютя ли одинаковые. Обрати кто внимание — ш п и о н а ж обеспечен.

Папа получал больше, чем дедушка с бабушкой; Дмитрий Петрович и бабушка Ася — меньше. Из нужды сыновей пустили по военной части. Младший Игорь на фронт не попал из-за редкой тропической болезни. Старший Борис, красавец, в з я л у о т ц а и м а т е р и самое лучшее, взорвался в воздухе над своим аэродромом. Бабушка Ася ездила *под Смоленск* на могилу. Если бы не очевидцы, можно было бы надеяться, что Борис где-то среди бывших пленных, рассеявшихся, как евреи.

В тридцать седьмые дед Семен, Цыган, коммерсант, бабушкин брат, мамин крестный, приезжал тайком из воронежской ссылки<sup>4</sup>.

Не случайно антрепренером эрдмановского самоубийцы был некий Калабушкин, владелец тира в саду *Пролетарский бомонд*. Мой дед Семен, Семен Никитич Калабушкин, арендовал в Петровском парке тот самый *Яр* — с цыганами. У Петровских ворот — потом на Большой Дмитровке — держал еще ресторан. Подкармливал спившегося кумира, певца Дамаева. По дороге из университета на Большую Екатерининскую к нему изредка забегала мама:

<sup>1</sup> Гимназическая подружка, к музыке отношения не имела.

<sup>2</sup> Все предисловия тогда были вырванные.

<sup>3</sup> Когда говорят: *добрый*, представляешь себе человека глупого, бестолкового — раздает что нужно самому или что нужно не тому. Судя по бабушке Асе, доброта — талант, может быть, более редкий, чем музыкальный или художественный.

<sup>4</sup> По активности характера мог там знать Мандельштама.

— Язык проглотить можно!

Но когда в к о н е ц п р о ф е р ш п и л и в а л а с ь или раз — потеряла домашние деньги, крестный крестнице ссужал под проценты. И то жена его, бабушка Варя, была недовольна:

— Калабушкин, простофиля, детей по миру пустит...

По миру детей пустил не он.

Бабушка Варя жила у Никитских ворот вчетвером на десяти метрах: сама, дочь Маргушка, внук Андрей, зять Кимряков.

Кимряков торжественно провозглашал про отсутствовавшего:

— Преклоняюсь перед Семеном Никитичем: простой пастух — и в такие большие люди вышел!

Когда-то два молодых поэта приехали из провинции завоевывать Москву. Сережа Михалков прочно женился на дочери Кончаловского/внучке Сурикова, лет на десять старше себя. Его друг Володя Кимряков, если верить, был первым браком женат на Любове Орловой. Потом пристал к Маргушке — может, в расчете на сокровища деда Семена. Что до литературы, то поэт Михалков получил орден, а поэт Кимряков напечатал в *Огоньке* басню *Два ежа и два ерша* — предмет маминых издевательств.

К и м р я к а почему-то считали осведомителем. Может, поэтому, может, по другой причине, бабушка Варя ссыльного мужа не пустила.

Побоялся и сын Володька, инженер, — уже ездил в Италию, будущий коллекционер китайских древностей. Жена Володьки, детская поэтесса Ольга Гурьян вытолкала свекра взашей и разоралась на лестнице:

— Если вы еще раз покажетесь, я заявлю в домком, чтобы вас арестовали...

На Большую Екатерининскую путь был закрыт из-за болезни Веры.

В Покровском-Глеbove он просил бабушку Асю:

— Зарой у себя на участке. Я тебе много денег дам.

Бабушка Ася боялась: дети, а главное, Дмитрий Петрович, порядочный человек, но трус и до опасного глуп.

Дед Семен в слезах объявился у крестной, то есть в Удельной. Лица его я не помню — помню, как он естественно вынул складной ножик, срезал орешину, и через десять минут у меня в руках была сырая пастушья свирель.

Зарыть у нас на участке не просил — то ли остерегался моего отца, который не отказал бы, то ли уже пристроил.

На обратный путь он прибинтовал золото и бриллианты к ноге. Взяли его в Воронеже на вокзале.

Бабушка Катя, старшая бабушкина сестра, слабоумная, вечно равна себе. Увидела в нашей капельской тесноте пианино:

— Куда ж вы пионер-то поставили?

Или на всю Удельную:

— Революцию зделали Троцкий, жида да студенты!

Ее дочь Мария, партийная, наверно, была с ней согласна — как летом семнадцатого была согласна с любым оратором: все нравились. Мария в мать, ничему не выучилась, зато единственная в родне активно вступила в ряды и зарабатывала больше моего папы-доцента: проверяла в Госбанке выигравшие облигации и, не скрывая, громко стучала. Марию пытались расспрашивать, как мухлюют с займами, — она истово охраняла тайну. Гуляя со мной, рассказывала, как на границах буржуи затаскивают наших товарищей к себе и там мучают.

Сын бабушки Кати Сергей — старше Марии. Когда моя мама играла с ним в барыню-барина, Мария была прислугой.

Сергей с отрочества пустился во внешний мир и приобрел цветистую биографию.

Был типографским учеником, тайно печатал что-то для эсдеков, посадил его якобы сам Малиновский. После ВОСРа служил в чеке, начал пятить:

— Поймали молоденького, на велосипеде ехал, поставили к стенке — шпион. Он говорит: — Дайте Богу помолиться, — и стал на колени. Мы и жажнули. А мне его жалко, из головы не идет, снится. Я сказал врачу: — У меня, знаете, в голове птички поют, — и смылся.

С этой службой и временем связана его женитьба на баронессе фон Моргенштерна<sup>1</sup> — умыкнул ее из остзейского замка и в приданое получил тещу-лишенку.

Около того же времени его вычистили из партии.

Лет двадцать он прожил в Киеве и, по мнению московской родни, вконец о ж и д о в е л.

Он сидел у нас на террасе в качалке и с восторгом рассказывал о жизни и нравах евреев:

— На конгресс Коминтерна опаздывает индийский делегат. По всем станциям разослали депеши. Из Жмеринки отвечают: — Рабинович красится, когда высохнет — выедет.

— У моего дружка Шеферсона в трамвае срезали хлястик. Выходим мы из трамвая, гляжу — у него в руках хлястик: — Что, нашелся? — Нет, я срезал точно такой же!

— Старик Шеферсон жалуется мне на жизнь. Я говорю: — Что же делать? Льюшóсхо кевíси аденóи — Он отзывает моего Йоську в сторону: — Это ид? — Это гой. — Тогда это высокообразованный человек, он знает древнееврейский язык...

В подтверждение Сергей оставил нам Шолом Алейхема, *Записки коммивояжера*, Укрроснацмениздат.

Я попросил его привести из Москвы моего любимого *Гавроша*.

— Я в электричке с большим удовольствием прочитал твоего *Гавроша*.

Царапнуло. И все же — веселость, блеск, широта Сергея меня обворожили. Я даже вслух пожалел, что не он мой отец.

Отец же мой над Сергеем подтрунивал:

— Сто верст до небес, и все лесом...

А Сергей тоже ко мне привязался, обдаривал, не жалел на меня времени. При нем я легко парировал самые замысловатые шутки, складно острил сам, мухлевал в карты, хвастался *завидными вещами* в латунной коробке из-под духов *Билитис*. Сергей прозвал меня *О с т а б е н д е р о м*. Я понимал, что это хорошее слово.

Однажды за столом на Большой Екатерининской он сказал:

— У нас забота о людях, чтобы они скорее сдохли.

Он не шутил. Теперь мне кажется, он даже противостоял названному положению.

Я слышал, как он заботился о жене и дочери. Когда они оказались по ту сторону фронта, он перенес заботы на нас: постоянно слал переводы своей матери — бабушке Кате, моей бабушке, маме. Мне — особо — был перевод на 150 рублей. Затем — бандероль: рулоном листы ватмана, уклеенные советскими марками — из какого-нибудь краеведческого музея при отступлении. Я написал ему на кустарной открытке с базара — натрафареченные аютины глазки:

Здравствуй, дорогой дядя Сережа!

Я уже учусь во 2-м классе. Очень благодарю за 3 плаката, я их получил 19 июля. Живу на даче. Бабушка благодарит тебя за деньги. Все пока живы, но я часто болею.

Целую тебя крепко.

19/Х 42 г. Андрюша.

Послать не успел: Сергей в самом начале сталинградской кампании объявился на Большой Екатерининской. Под Сталинградом он возводил укрепления. Немцы подошли не с той стороны. В голове у него вновь запели птички, и он получил незапятнанно белый билет.

Остановился он у сестры — и вдруг туда заявляется его давний — еще по чеке — знакомый: увидел на улице и пошел следом. Сергей сделал вид, что не узнает, что ошибка, что он — не он, и много-много ночей ночевал у моей бабушки.

Он подарил мне все замечательное, что у него было, кроме трубки из канадского корня, а когда я на нее покусился, остановил:

— Андрюша, это агрессия.

<sup>1</sup> Если род шведских баронов фон Моргенштерна не пресекал, я их свойственник!

Он водил меня в цирк, в кино — *Джорж из Динки-джаза, Три мушкетера*. Рассказывал, что война — это быт, а не приключения, что немцы одеты элегантно, что железный крест производит впечатление мрачное и величественное.

Я сетовал, что вокруг так мало красивого, и тыкал пальцем в домишки Большой Екатерининской.

— Ну что ты! Если каждому дать хозяина, подновить, подмазать — красота будет, глаз не отведешь!

Под Москвой Сергей устроился на трудфронт начальником лесоповала, окружил себя целым гаремом. Избранная из избраниц, б о ж е с т в е н н ы й д о к т о р, — с ее мужем-летчиком Сергейпил водку — подарила мне п у ш к и н с к и й р у б л ь — рублевик 1836 года.

Для рабочей карточки он оформил к себе сбежавшую из лечебницы Веру — работать она не могла. Для рабочей карточки и чтобы не загреметь на трудфронт, мама устроилась в артель «Промхудожник» к Кимряку, Маргушкину мужу. Надомники шли отвратительных эскимосов, карточка оставалась у мамы, деньги шли Кимряку.

Любящий нас, окруженный гаремом Сергей отчаянно тосковал по жене, баронессе фон Моргеншгиерна, и дочери Маргарите. Твердо знал, что они в Киеве, все же надеялся на эвакуацию, наводил справки.

Только после освобождения Киева — и то не сразу — пришло письмо от соседки: да, остались. Восемнадцатилетняя Маргарита погибла летом сорок первого — кажется, при рытье окопов. Жена с голоду и по наущению тещи объявила себя фольксдойче. Этого слова в Москве не знали, почерк был неразборчивый, мама прочла *фольксфайнд*, поняла, что по-немецки, чтобы прошло через *проверено военной цензурой*.

Дневник:

8 февраля 1944 г.

Вторник. В воскресенье Сергей поехал со мной в марочный и купил мне 24 марки за 80 руб... В субботу приехал Сергей, в Киев его не пускают...

9 июня 1944 г.

Недавно Сергей прислал из Киева письмо: Маргарита и Ольга Романовна погибли.

Спустя много после войны баронесса написала Сергею из Польши. Она отступала с немцами до Познани, а там вышла замуж за пожилого поляка:

— Он мне, как отец...

*Чтобы мы не сдохли*, в военные зимы, через силу, с пудовым — для всех сестер — грузом меда приезжала из Ожерелья отечная, багровая бабушка Феня, *самая красивая из Калабушкиных*. Мед распределялся поровну, доставалось не так уж много. Дед и папа — пробовать не желали. Бабушка подкармливала Веру — н е с ч а с т н а я, маму — с л а б е н ь к а я, и всю — меня. О себе забывала, никто не напомнил. А я в голод учился распознавать сорта и оттенки медов.

Сердцем бабушка Феня мучилась с детства, осталась в деревне, счастливо вышла замуж за просвещенного крестьянина Ивана Павловича Бычкова. Это был книгочей, мастер на все руки и богомаз. Деду Семену в ресторанах расписывал потолки амурами. Первым в Ожерелье завел пасеку. Моя бабушка Ирина выписывала ему журнал по пчеловодству.

В коллективизацию соседи-завистники с помощью его собственного родного сына-комсомольца состряпали на него донос: не 6, а 600 десятин. Ивана Павловича не раскулачили, а арестовали. Через год-два-три из-под Караганды — опустил добрый человек — пришло единственное письмо. Смысл: не ждите.

Пасека пережила хозяина, и по-деревенски бедная, больная бабушка Феня дарила нас, городских. А какие она присылала письма! По всем правилам: *Во первых строках моего письма...* — и перечисление, кому, в каком порядке, какие поклоны. И затем живо, как говорила, — фонетическая запись рассказа о новостях в Ожерелье, о новых пакостях сына с невесткой...

Зиму сорок второго — сорок третьего мы с мамой жили у бабушки: центральное отопление не действовало, голландку худо-бедно топили.

В Вериной качалке я читал дореволюционную *Тысячу и одну ночь*, в комплектах *Пионера* выискивал *Экспедицию Барсака*, отвратился от *Великого противостояния* и *Старика Хоттабыча*. Сладко пощипывала *Дикая собака динго*, пугала *Военная тайна*, добрые чувства пробуждала *Школа в лесу*.

С бабушкой я повадился по е п а р х и и. На Большой, на Малой Екатерининской видел старинную утварь, коврики, статуэтки, чашки, киот с эмалевыми образками Серафима Саровского. Получал: где открытку Делла Вос-Кардовская или *Христос Воскресе!* Где — царскую марку, где — франк Наполеона Третьего. Однажды бабушка, ликуя, притащила мне толстый неровный медяк с двумя фигурами и большим М:

— Чуть не Михаил Федорович!

Растравила меня бабушка Варя, жена сгнувшего деда Семена, Цыгана:

— У меня была медная монета со Христом, византийская.

Моя бабушка — в утешение — тайно подарила мне новенькую пятерку 1818 года.

После серебряной мелочи дед презентовал мне советский рубль с рабочим и крестьянином:

— А еще был червонец — как царская десятка, только крестьянин сеет.

У него я уже был не колхозник, а старьевщик.

Дед пытался сводить меня в *Экспресс* — по старой памяти, звал его *Инвалидным* — на *Петра Первого*. Меня, *до шестнадцати лет*, не пустили.

— Хорошая картина *Петр Первый*. Хорошая — *Чапаяев*. Там психологическая атака. Я из-за нее четыре раза смотрел.

(Папа в *Чапаяеве* запомнил другое: *Вы спите, мнимые герои...*)

Дед научил меня играть в шахматы. Говорил: гарде, офицер, турá. Шахматы у него были революционные — обычные фигуры, только не белые и черные, а красные и черные — чтобы никто не был белым. На доске — накладной квадрат в одно поле:

Тов. Михайлову И. М. от шах-коллектива «Фото-Ювелир» занявшему 2-е место в 1-м турнире 10/VII-33 г.

Папу я иногда обыгрывал, деда — ни разу.

Папа приходил почти каждый вечер, носил картошку, ходил за водой, колол и носил из сарая дрова, со всеми ел *суп-рататуй*, сдержанно говорил о войне и политике.

По воскресеньям гулял со мной. Раз зашел во дворе в уборную — в доме канализация/водопровод замерзли, — кто-то снаружи хлопнул его палкой по голому заду. Папа рассказывал, смеялся.

Я ходил на лыжах один — детей в доме 5-а, не было, — вдруг меня обступили Тимур и его команда. Вырывали одну лыжную палку. От оскорбленности я не кричал — держал, упирался. Отняли, исчезли. Я рассказывал, не смеялся. Старался сидеть дома.

Меня выгоняли гулять с Верой. Я часами выслушивал о евреях, гнусно поддакивал: Вера дарила мне марки — венгерские с парламентом и жнецами, колониальные с туземцами и ландшафтами, греческие с вазами и скульптурами. Она наглухо клеивала марки в альбомчик и обводила поле с зубцами золотой акварелью:

— Так сейчас модно за рубежом.

Некоторые марки, показав, сжигала. Сожгла она все свои холсты и этюды, принялась за книги. Никто не препятствовал:

— Ее вещи. Что хочет, то и делает.

Только папа официально купил у нее *Пушкин в жизни*, *Academia*, в коробке.

Вера была хроником, держали ее в Столбовой. Бабушка ездила к ней дважды в месяц — редкими, почти без расписания, паровиками — ц е л а я и с т о р и я. Раз ездила мама — потом три дня л е ж а л а в л е ж к у.

Вера требовала, чтобы ее забрали, на глазах выливала, выкидывала с трудом собранную еду.

Часто бегала. Сбежав, била бабушку по щекам; деда — боялась. Рассказывала тюремные ужасы — скорее всего, чистую правду.

Из Столбовой по пятам вваливались санитары, увозили — иногда с боем. Зачастую бабушка не выдерживала, оставляла дома под расписку — со всеми мыслимыми последствиями.

Дневник.

17 июля 1944 г.

Верка совсем спятила: приехал Игорь — Верка назвала его шутцбундовцем и плюнула ему в лицо.

Плевала она в бабушку Асю и в папу. Папа отшучивался:

— Недолет, Вера Ивановна.

В ответ она строила дикие рожи, показывала язык.

Странным образом, папа уважал Веру, ценил в ней культурность, художественное начало. Перед войной, когда она была л у ч ш е, на свою ответственность устраивал ей в Тимирязевке заказы на диаграммы.

По-прежнему Вера любила меня и оказывала мне всяческое внимание. Мне же само ее присутствие было чем дальше, тем невыносимей. Сидит, молчит — а я хоть беги вон. Папа пытался меня оградить, протестовал, что-то говорил по-хорошему. Со своей стороны, дед, д о м а ш н и й т и р а н, боялся, что как-нибудь ночью Вера всех нас пережрет. Безуспешно. В бабушке верх брала жалость к несчастной дочери<sup>1</sup>.

Бабушка по-прежнему работала у Склифосовского, только теперь — в приемном покое и — сутки дежурю — двое свободных. Месячной зарплаты ее с пенсией хватило бы на три-четыре рыночных буханки хлеба или пять-шесть кило картошки. Зато всем родным были лекарства — даже сульфидин. При этом в голову не приходило, что лекарства можно продать. Лечить бабушка обожала:

— Выходит из нас пудами, а входит золотниками.

Лечила дома — может быть, слишком. Лечила и на работе. Есть рассказ, что она дала профессору Юдину от дизентерии порошок ксероформа вовнутрь — и как рукой сняло.

Сама — никогда не лечилась: *а мне все нипочем*. При гнойном аппендиците отказалась от операции.

Работа в приемной покое непосильная, а видеть приходится столько, что жизнь предстает еще ужасней, чем есть.

Ребенок проглотил лезвие безопасной бритвы.

Рабочие перепилились метиловым спиртом.

На пешехода ребром упало стекло с этажа.

Воры накачали лягавого автомобильным насосом в задний проход.

Среди дежурства примчалась к нам — убедиться — привезли мальчишку из-под троллейбуса: вылитый я.

Бабушка до последнего опекала маму: может быть, понимала, что той не справиться. Мама *никогда не делала никаких усилий* — а когда я родился, усилия ох как понатащались. Мама изнемогала, ей постоянно *не д о м о г а л о с ь*. Кто-то сказал слово: гипертония. Слово пошло в ход:

— Я же гипертоник!

— Разве я человек? Я полчеловека...

С утра голова стянута мокрым полотенцем:

— Эх, башка, башка от поганого горшка...

На бабушкину долю пришлось учить меня уму-разуму. Она объясняла мне историю и политику, ниспровергала кумыры:

— Усатый садист!

— Ленина спрашивают: — Владимир Ильич, что вы все руку в кармане держите? — Это я комячейку поддерживаю: член и два сочувствующих.

Бабушка же не дала мне конуствовать, когда я начитался *Комсомольской*

<sup>1</sup> Что такое любовь, что такое жалость, если с моего первого дня бабушка/мама надо мной и через меня враждовали с моим отцом? Лег в двенадцать я уже понимал, что жалеть душевнобольных — не жалеть здоровых. Тогда сказал — повторю сейчас: заболею — засадите без размышлений.

пасхи. Больше того — подарила мне на всю жизнь иконку смоленской Божьей Матери, где на обороте дощечки еле виделось карандашное: *Ризу в память чудесного исцеления* и число не то 1841, не то 1871 года.

Учила подавать нищим:

— Просить труднее.

И — недаром маленький я во дворе сказал:

— Тебя одна мама родила, а меня — мама и бабушка!

Отношения с бабушкой я омрачил только однажды. В *Закономерности* Вирты понравилось выражение: *Наш хлеб ешь!* — я и ввернул. Плохо от этого было мне. Мама стыдила, бабушка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжала меня, как маленького:

— Кушай, этой последнее. Последнее — самое вкусное.

Я поднывал: — Конфетку бы мне завалиющую...

Конфетка — не конфетка у бабушки всегда находилась.

Я решал, что отдал бы серебряный рубль с рабочим и крестьянином за одно яблоко, — и не подозревал, что яблоко тогда было дороже, namного.

Удельнинская полоумная жилица Варвара Михайловна приносит мне в подарок морковь: *как зайке*. Мука моральная: я не мог взять ценный подарок, зная, что сколько-то морковки у нас есть, и забился под стол.

Мука физическая: серая мышь Мегера — ею квартиру пять уплотнили в двадцатых — приволокла из МОЗО ригинус, касторовые бобы. Со скрипом отсыпала нам. Ей — хоть бы хны. Нас всех рвало. Назавтра бабушка через силу пошла на работу. Мама лежала пластом весь день. Меня мутило до лета.

Дед — рослый. Работа физическая плюс нервное напряжение, на работу/обратно — пешком. Голод ему давался труднее всех. Красное лицо в оспинах становилось еще краснее, острые глаза от головной боли еще острее, бритый череп в стариковских пигментных пятнах. Ходил — пошатывался. Упал на улице. Привезли к бабушке, к Склифосовскому. Через месяц я бегал смотреть, как бабушка медленно ведет его на Большую Екатерининскую. Дед крепил алмазы на маршалских звездах и умер от алиментарной дистрофии после Сталинграда, почти на Пасху. При смерти повторял:

— Посмотреть бы, что дальше будет. Хоть одним глазком.

Мама/бабушка долго шушукались, как быть со мной: первый покойник в моей жизни.

Деда сожгли, урну оставили в общей могиле.

Бабушка мне объясняла, что после войны будет свобода торговли, и тогда все будет.

Ничего не было.

Посадили профессора Юдина. У Склифосовского объяснили:

— Арестован на аэродроме при попытке бежать в Америку.

Как всегда, бабушка не поверила.

Как она сдала! Помню ее всегда в движении, в заботе обо всех с в о и х. На первых моих фотографиях — маленькая, сгорбленная, усталая.

Как она тянулась за мной, как следовала моим увлечениям! Джильи — Джильи. Вертинский — Вертинский. Бальмонт — Бальмонт. Футуризм — футуризм. Может, это прибавляло ей сил...

В пятидесятом году я узнал стихи Пастернака. Ни с мамой, ни с папой поделиться этим счастьем не мог. Подумал, что бабушке будет интересно — по воспоминаниям, — и прочел ей *Высокую болезнь*:

...А сзади в зареве легенд,  
 Дурак, герой, интеллигент  
 В огне декретов и реклам  
 Горел во славу темной силы,  
 Что потихоньку по углам  
 Его с усмешкой поносила...

Бабушка слушала, ожив, когда я кончил, задумалась:

— И как это он все верно подметил!

Умерла бабушка — от инфаркта — 17 октября 1951 года. Я в последний раз пришел в пять-опять. На длинной дубовом столе в тазу стоял остывший кувшин с молоком. Я витал во вгиковских эмпиреях и не пошел на похороны из-за пустой репетиции. Никто мне ничего не сказал.

После смерти бабушки мама держалась с полгода. В начале весны поднялась ночью — и упала назад, на свою раскладушку. Скорая помощь не приехала вовсе. Утром явилась тетя из поликлиники Стурцеля:

— Что случилось, больная?

— Да вот допрыгалась.

— Откуда прыгали?

Мама, сколько я помню, искренне полагала, что изнемогает от непосильных трудов:

— Яков меня батрачкой сделал. Я сначала прям' вся обрелелась...

Труды заключались в уборке/готовке. По магазинам большей частью ходил папа. Теперь, когда мама слегла, придя с работы, папа готовил нормальный обед из первого и второго — как всегда, не мог угодить.

Долгая болезнь и медленное выздоровление,  
мой уход из ВГИКа в Иняз,  
переезд с Капельского на дальний Чапаевский,  
моя бурная деятельность в Инязе и арест Черткова,  
моя женитьба и уход из дому,  
самоубийство Веры в лечебнице,  
мой развод и вторая женитьба,  
наконец, отдаленность и годы —  
из-за всего этого Большая Екатерининская постепенно выветривалась из  
мамина сознания — как и общая могила старого крематория, где оказались дед и  
потом бабка. Мама жила просто и безмятежно.

Вот ее письмо из Удельной нам на отдых, в Апшудиемс:

Дорогие мои, не хотела писать, скоро увидимся, а все же думаю, будете беспокоиться, не зная о нас долго. У нас все по-прежнему спокойно, живем с перемкнутой бодростью, по-стариковски. Наварила варенья из клубники, немного из вишни. В этом году вишни много, до вас еще довисит. Смородины красной и черной по ветке видит, совсем нет, и очень дорогая на рынке — не покупала. Яблок много, но мелкие, как грецкие орехи. Будете есть, а хотите, варите варенье. У меня кончился песок и нет банок. Порутала немного Галю, забыла привезти банки с крышками, они остались у вас. Сварила немного малины. Успела как-то, а то все дожди, и малина испортилась на корню. Кроме Слесаревой, у нас никого из Москвы не было. Видно, все устарели, и не под силу ездить на дачу. Андрейчик, когда будешь в Москве, спроси у Леночки, чего бы попить от склероза? Иногда пошатывает в сторону. Диоспонин перед отъездом я не нашла, чего еще не пила, и не знаю.

Писать некогда, папа идет на базар и торопит меня. Целый день кручусь, устаю, а сделано мало.

Спроси, нет ли настоящих шерстяных носок у твоей хозяйки. А то купить их трудно в Москве. На базаре у крестьян, только я не хожу. Папа не понимает. Еще раз целую крепко.

Почерк не то мамин, не то папин. Ни подписи, ни числа. Вне времени и пространства.

На Чапаевском весь подъезд был такие, как она, только без Большой Екатерининской, правильные. Мама боялась их, как боялась всех в жизни, но часами обсуждала с ними не только личную жизнь Зыкиной, Магомаева, Фурцевой и Фирюбина, Лемешева и Масленниковой, Симонова и Серовой...

— Я так думала, вдова Чкалова за Белякова выйдет.

- Правда, что Хрушев, Шолохов и Мао Цзэдун женаты на сестрах?
- Надо же, придумали! Цари у нас были: Владимир Мудрый, Иосиф Грозный и Никита-Кукурузник.
- Ток' никому не говори, а то еще-ещ' посадют: Ленька загрустил, что все его, а мавзолей не его. Один рабочий ему говорит: — Не грусти, я тебе помогу. — Как?
- Да я над Е там две точки выбью, и будет ЛЕНИН.

После смерти папы мы съехались: мама предпочитала сидеть голодной или в ы ц ы г а н и в а т ь у соседей, только бы не возиться с готовым обедом из холодильника. Окна нашего одиннадцатого этажа на бывшей Четвертой Мещанской выходят на то место, где находилась Большая Екатерининская. До Олимпиады вдалеке был виден трехэтажный кирпичный 5-а. Его снесли перед самым открытием. Маме было не интересно даже взглянуть в ту сторону.

О Большой Екатерининской: разъяснение

Как всякий замкнутый мир, Большая Екатерининская обладала своими устойчивыми представлениями о мироустройстве. Суть их сводилась к четырем положениям:

1. *Истина — то, что я уже знаю и что мне сказал родной, знакомый, сосед.* Предположение, слух, понравившийся рассказ, вычитанное между строк в первой же передаче превращались в неоспоримые факты:

- что царская семья и сам Николай Второй уцелели. Нищенка с Переяславки видела его на Ленинградском вокзале. — Что, узнала? — спросил он. — Возьми на память. — Нищенка показывала золотую десятку с портретом.

- Году в сорок пятом бабушка Варя с Маргушкой и внуком снимали в Кратове. На соседней даче жил полковник с женой: — Я сразу подумала, что — она. Зовут Татьяна Николаевна, вылитый отец, и, главное, палец так же отщелкнул.

- что Ленин помиловал эсерку Каплан и она живет в своем домике на Колыме.

- что Ленин был сифилитиком — как Маяковский.

- что Сталин — садист и застрелил Аллилуеву — к ней Большая Екатерининская испытывала слабость и захаживала на могилу.

- что Буденный тоже застрелил жену — шпионка, а Ворошилов не дал арестовать свою — защищал с наганом.

- что Буденный — из конокрадов, а Ворошилов — из штрейкбрехеров.

- что Луначарский, Молотов и Калинин любят балерин.

- что Калинин тайно верует в Бога и устраивает на дому молебны.

- что Рыков — пьяница: *ушел Рыков в час с четвертью, пришел Рыков в два без четверти.*

- что все анекдоты придумывает Радек, и его расстрелять не могли: кто же будет писать передовые?

- что в промпартию и тридцать седьмые на процессах сидели ряженые: кто бы сам на себя такого наговорил?

- что Гельцер и Жизнева — осведомительницы.

- что Мейерхольд топором зарубил Зинаиду Райх.

- что Веру Холодную разрубили на куски и бросили в колодец.

- что Демьян Бедный — сын великого князя: Придворов.

- что все матерные стихи сочинил самый милый человек на свете Сергей Есенин.

2. *Вранье — все, что от властей:* из газет, радио, с ненавистных собраний. Это положение свято соблюдалось лет двадцать пять, пока из-за военных побед возросший престиж власти не соединился с традиционной подозрительностью к посторонним. На Большой Екатерининской заговорили:

- что поймали старушку, которая торговала котлетками из младенчиков.

- что по Москве ходит человек и бросает встречных мальчишек под трамвай: чтобы у нас меньше защитников было.

Отсюда один шаг до врачей-убийц:

- Я всегда боялась Андрюшу в больницу отдать: кто их знает...

3. *Мы — простые, хорошие; прочие — не такие.* Бабушка/мама верили, что все чужие — дошлые, скрытные, злыдни. Себя и своих считали порядочными, отходчивыми, простофилями:

— На нас только дурак не ездит.

При этом мама долго и с чувством помнит зло, а бабушка без излишней щепетильности добивалась, чего хотела.

С в о и — русские, *широкая натура*:

— Коль рубить, так уж с плеча.

— Последнюю рубашку с плеча сметет, — *опять с плеча*, а на хлеб или на пропой — не наша забота.

— бесшабашные: — Дамаев голос пропил, в мороз на тройке купцам пел, и почти с осуждением: — Шаляпин — этот свой голос берег.

— *Талантливые*: — Пушкин, Толстой. Самородки. Водка всех губит.

Русские тоже не все с в о и. К примеру:

— Деревня серая.

— Дворяне бывшие. Как редиска — внутри белые, сверху красные. Все вслуживаются. На кого хошь раздокажут. Пакостники.

— Поповичи. От поповского семени ни жди доброго племени. Жадные, изовравшиеся, прям' — русские евреи.

Евреи — особый разговор. Большая Екатерининская считала, что революцию сделали нам евреи. Литвинова бабушка величала сионским мудрецом. В еврействе подозревали Сталина, Ленина — никогда: в его пору всеобщим жидом был Троцкий. Вне подозрений — вожди ГПУ: Дзержинский, Менжинский, Ягода, Ежов.

Евреев на Большой Екатерининской никогда не было.

Вчуже читали про дело Бейлиса и самодовольно:

— Вот какие мы, не дали безвинно пропасть.

Погромы осуждали тоже со стороны, не могли и не пытались представить себя на месте громимых.

После революции образовалось *жидовское засилье*:

— Куда ни глянь — везде они. Два жида в три ряда.

— Все устраиваются, да еще-ещ' своих норовят вытянуть<sup>1</sup>.

В двадцатые годы сказать: *Я — русский*, — было почти то же, что сказать: *Я — контрреволюционер*. Сказать: *Ты — еврей*, — было почти то же, что сказать: *Я — антисемит*.

Большая Екатерининская была готова любить евреев *культурных*<sup>2</sup>, то есть обрусевших, которые не похожи на местечковых, *макровых*. Такими даже умилялись: руки-ноги есть, голова не песья, по-русски знает, даже зубы болят, как у людей.

И после войны, когда Сталин выпил за русский народ, Большая Екатерининская поняла, что он имел в виду, но не перестала верить в *засилье*. Когда слышали, что евреев не берут на работу или гонят, с сомнением:

— Это они преувеличивают.

— Привыкли плакаться...

И по-прежнему про каждого нового человека:

— А он не еврей?

Все остальные, вместе взятые, народы занимали в сознании места куда меньше, чем одни евреи.

Кроме евреев, в рассеянии среди русских жили татары, китайцы и немцы.

Татарам помнили с тех самых пор, злорадствовали, что теперь они дворники да старьевщики, *к н é з и*:

— Шурум-бурум, старьем-берем!

Ох, ох, не дай, Бог,  
С татарами знаться —

<sup>1</sup> Будто бабушка Ирина не выгатила в Москву бабушку Катю и бабушку Асю и не помогала учить Сергея и Марию!

<sup>2</sup> Как и *культурных армян* — в отличие от *армяшек*. Бабушка бережно, как хрупкую драгоценность, извлекала фамилию интеллигентнейшего, прекраснейшего врача: Бабашинов.

Некрещеная душа  
Лезет целоваться.

После ВОСРа татарин вдруг стал опасностью:

— К кому придут, спросят? К дворнику. На обысках кто сидит? Дворник...

Опасность китайская быстро прошла и забылась:

— Как сейчас помню, в девятнадцатом году сидит х о д я на тумбе, *ищется*.

Вошь поймал — и на зуб. Хрустнул и проглотил: *Ши-зя-ши ши...*

— Ходя, добродушный такой, все ходит, фокусы показывает. Приставит к больному зубу трубочку, поколдует — вытащит червячка: вылечил.

— Китайцы на Сретенке прачечные держали. Чисто стирали, не обманывали... До войны во дворе доживало:

Немец-перец-колбаса —  
Кислая капуста —  
Сьел селедку без хвоста  
И сказал: — Как вкусно!

Русских немцев — не остзейцев, не колонистов Поволжья и юга, а горожан культурных профессий — уже не было.

Не удивительно, что в Китае некому было заметить исчезновение китайцев в России. Поражает, что исчезновения русских немцев не заметили немцы германские.

Большая Екатерининская не чувствовала себя равной ни одному народу на свете.

Существование украинцев и белорусов подвергалось сомнению.

Белорусов — так точно нет никаких.

Украинцы — те же русские, только ополченные, вариант н е с в о и х русских: хитрые, чистюли и прижимистые. Хохлы. А нас называют кацапами и москалями. Русский язык выворачивают.

Молдаване — те же цыгане, только не признаются. Цыгане же говорят:

— Мы не цыгане, мы сербияне.

К цыганам относились с презрением и опаской:

— Дикие они. Не работают — попрошайничают да воруют. Как ворвутся в дом — все расташут...

При этом всю жизнь с важностью вспоминали:

— Мне цыганка сказала...

Названия народов Севера и Поволжья звучали, как ругательства:

— Комяки. Самоеды. Татары. Мордва.

Из прибалтов до тридцать девятого года актуальны были одни латыши-растрельщики. В тридцать девятом — сороковом все сразу — финны, эстонцы, латыши и литовцы — оказались: злобные, нас ненавидят.

*Души мой грузын* воспринимался в двух ипостасях. В Москве — чахоточный студент, в Тифлисе — кинто.

Чеченцы, черкесы, кавказские татары — понаслышке — чуть что, за кинжал.

Крымских татар Большая Екатерининская видела и уважала: хорошие хозяева, работающие, честные.

Туркестан — твоя-моя, калбиты, сарты, балашки:

Один верблюд идет,  
Другой верблюд идет,  
Третий верблюд идет,  
Целый караван верблюд идет.

Якуты — еще хуже.

Корейцы — все шпионы.

Восточные границы в сознании размывались. За ними просто жили:

Китайцы, — желтые, нищие, очень их много. Главный революционер у них —

Сук Ин-сын.

Япошки — тщедушные и жестокие. Нас, сволочи, победили.  
 Индусы — мудрые и степенные. Их надо жалеть — как негров.  
 Арабы — статные, благородные.  
 Турки и персюки — турки и персюки.  
 — Турок Суворов бил.  
 — Персюки Грибоедова... Потом, говорят, найти не могли.

Братья-славяне обязаны нас любить. Полячишки — предатели из славян, потому что не любят. И вообще — снаружи лоск, гонор, только бы пыль в глаза, а внутри пшик один, пши-вщи:

— Не пепши вепшу пепшем, але пешепепшишь вепшу пепшем.

Из великих народов Запада всех роднее и ненавистнее были немцы:

— Колбасники толстые, знай, пиво дуют.

— Немцы разве, как мы, работают? Немецкая точность. Немецкая техника.

— Немец ради порядка человек не пожалеет.

— А у нас немец стоял — офицер, — так он нам хлеб давал. Хлеб у них как резиновый.

Англичане — тощие, чопорные, аршин проглотили. Англичанки — все старые девы.

Французы — лягушатники, все ножкой дрыгают. Французы — как мы, душевные и (вздых) культурные. Француженки рожать боятся.

Итальянцы — макаронники. С осуждением и умиленно:

— Все поют...

Испанцы начали существовать с их гражданской войной:

— Сколько в эту прорву нашего добра ухнуло...

Америка — дикая, некультурная, вроде Сибири. И это от бабушек/мам, воспитывавшихся на куперах, эдгарах-по, марк-твенах, джек-лондонах.

Еще у Трубниковых бабушка прочитала *Хижину дяди Тома*, мечтала замуж за негра, чтобы были негритята. До старости лет вспоминала, как Т о п с и п л я ш е т.

Изредка из экзотического тумана у бабушки выплывало:

— Когда на Мадагаскар приезжает белая женщина, ее украшают цветами.

— Райская жизнь — на Таити...

В детстве меня мучило тихое убожество Большой Екатерининской. В юности я ненавидел ее за несовременность. В шестидесятых меня на нее повлекло. Улицу чуть подмазали, привели в порядок. Я видел и понимал то, чего прежде не мог видеть и понимать. И написал:

Может, стал наконец добрей, поглупей.  
 Даже стыдно сказать, что, живя понаслышке,  
 Я когда-то грозу призывал на домишки,  
 Где у крыш, ни на чем примостившись, мальчишки  
 До сих пор над Москвою пасут голубей.

Где доселе царит досоветский покой,  
 И старушки стоят в допотопной одежке,  
 И у каждой на солнышке в каждом окошке  
 Меж цветов одинаково замерли кошки,  
 Приложившись к стеклу разомлевшей щекой.

Я вступаю в отцовский и дедовский сон.  
 На углу, как всегда, магазин Соколова,  
 На Орловском палаточка Петьки Кривого,  
 На Самарском ампир Остермана-Толстого,  
 Чуть пониже за ним — стадион *Унион*.  
 Я не знал вас и все же добром помяну:  
 Вы достойные партии в жизненной драме.  
 О когда бы хоть как-нибудь встретиться с вами!

...Старичок с артистическими ноздрями  
Осторожно ведет хромоножку-жену...

Я отсюда. И этого быта заряд  
До конца как реальность во мне сохранится.  
Я с надеждой гляжу в незнакомые лица —  
Может, в ком-то блеснет узнаванья крупца,  
В ком-то чувства созвучные заговорят?

Кто здесь помнит меня! Разве эта зима,  
Разве улица, ставшая страстью моею...  
Я мечтал по-щенячьи разделаться с нею,  
А теперь опасаясь дохнуть посильнее,  
Чтоб не рухнули хрупкие эти дома.

Большая Екатерининская продержалась до 1976 года. Весь район от Четвертой Мещанской до ЦДКА и Трифона Мученика снесли под олимпийский комплекс. Редкие люди ковырялись на пепелище. Огромные липы и тополя лежали спиленные, рядами, как лес.

1978

### Новая жизнь

Я не люблю свое отрочество — и тогда не любил.

Клаустрофобическое существование втроем на тринадцати метрах. Всегда на глазах. Мама, папа; постоянно бабушка, Вера. Хочу побыть дома один — не удастся. Мама тащит за собой на Большую Екатерининскую. Я стараюсь изbleвать из себя Большую Екатерининскую. Стараюсь мысленно отстраниться — и чтобы родные поменьше обо мне знали. Сам хожу только в школу. В школе томление и одиночество — не то, о котором я тщетно мечтаю дома. Спрятаться от чужих и родительских глаз и собраться с мыслями удается только в Удельной. Смутно брезжит, что скверно мне еще и потому, что рядом нет таких, как я, с р е д ы.

Я осознал, что живу не так, и решил начать жизнь сначала. Может быть, с этого и зародился мой всегдашний психологический пэттерн: я с т а р а ю с ь. Может, это наследственное: отец мой тоже с т а р а л с я.

На переломе от семилетки к десятилетке направление намечалось скорей эстетическое: быть посвободней, жить по красивей, брать повыше.

По утрам регулярно, как на разведку, я ходил — а освоив трамвай и троллейбус, и ездил — в центр. Упорно бродил в негустых серых толпах по серым улицам, рассматривал серые и посеревшие здания. Обжил несколько главных музеев — больше других привлекал Исторический. Простаивал в Академкниге у прилавка с историей.

В достаточно дружественную среду я без особых усилий вошел на Кузнецком мосту. Искренний интерес и основанные на *Ивере* познания объединяли меня с людьми той же направленности. Некоторый опыт у меня имелся: папа нередко водил меня на Кузнецкий. Наличествовал и фундамент: в послевоенный год мы приобрели юношеский *Шаубек-Европа* 1936 года — шесть тысяч марок за пять дореформенных сотен. И теперь иногда мой червонец мог быть равен червонцу крупного коллекционера.

Сколько себя помню, я собирал монеты и марки. В моей новой жизни, при лучших филателистических предпосылках, выбор пал — окончательно — на нумизматику. В самом слове слышалось что-то изумительное.

Демобилизованные толкали т р о ф е й н ы е марки кучами, коллекциями. Т р о ф е й н ы х монет было сравнительно мало.

Сначала я собирал *весь мир и окрестности*. Потом, логично, только Россию — по Гилю.

Откуда у меня брались деньги? Во-первых, папа верил в мою рассудительность/целесообразность приобретений и постоянно что-то подкидывал. Во-вторых, я никогда не тратился по пустякам — на мороженое, пирожки и т.д., — так что все наличные шли в дело. В-третьих, я относил к букинисту не необходимые книги, вплоть до сытинской детской энциклопедии. В-четвертых, загонял марки и неактуальные монеты.

В одно прекрасное воскресенье я пришел на Кузнецкий раньше обычного. Никого из считанных московских нумизматов еще не было, и ко мне направили мрачного мужчину в кожаном заграничном пальто. Мы удалились в привычный подъезд, и он из кисета высыпал в мои подставленные ладони несколько десятков тетрадрахм и другой крупной антики:

— Это Афина, это Лисимах, это варварская царица<sup>1</sup>.

То ли он сказал, то ли я придумал и сам поверил, — он вроде бы получил в Восточной Пруссии особняк и выкопал на огороде коллекцию. В кисете был только обмен.

Говорил он с непонятным акцентом, нес явную ахиною:

— Когда нужна монета, платишь рубель в год, до две тысячи пятьсот.

За деньги он не отдавал, меняться с ним было нечем. Он торопился, никто из серьезных нумизматов не подоспел. Мрачный человек ушел и как в воду канул. Наверно, с ним что-то случилось, может быть, загремел и монеты ухнули. Иначе в коллекционерской среде рано или поздно заговорили бы о таком чрезвычайном богатстве антики<sup>2</sup>.

Монополистом на Кузнецком, моим ментором и поставщиком был Володька. По его словам, он кончил не то ГИТИС и поллитинститута, не то литинститут и пол-ГИТИСа, до войны выпустил где-то в Поволжье книжку стихов. С войны вернулся хромая, с палкой. Какое-то время инвалидам позволяли бзить, и они, качая права, костылями были стекла не впускаявших битком набитых трамваев.

Володька был этого сорта. Как-то я встретил его на Первой Мещанской — хромая, он несся во главе небольшой орды, помахая оцинкованным ведром.

— Володя, куда?

— За пивом!

На Кузнецком Володька поднимал палку на разгонявших мильтонов.

— Я инвалид войны!

После эного привода недели на три сменил пластинку:

— Я теперь милиционер. Меня пригласили режиссером в клуб милиции.

Володька принципиально нигде не работал. Каждое воскресенье он толкался на Кузнецком, по будням дежурил в Историческом музее. Музейщики ни в чем не были заинтересованы и гнали его лениво. Володька перехватывал все, что приносили с улицы. Одна скупенькая старушка пригласила его к себе; покойный муж боялся попреков и божился, что больше полтинника за монету не платит. Володьке за бесценко достался бесценный материал.

Когда у него появлялось что-нибудь для меня, он звонил и в изысканных выражениях предлагал заглянуть.

Жил он неподалеку, на Первой Мещанской, в бывших меблированных комнатах — на восьми метрах с женой, сыном, тещей и тестем. Осатанев, он самовольно вселился в уборную — тоже метров восемь (в другом конце коридора была еще одна), — отключил воду, покрыл унитаз столиком, к стене приставил кровать. Под ней коллекция — деревянный ящик с пакетиками, даже из-под презервативов.

Когда к Володьке в уборную собирались немногочисленные тогдашние нумизматы, он выставлял жену:

— Пуса, ты — б..., и товарищи это знают. — И объяснял. — Раз в жизни мечтал культурно побыть дома, говорю: Пуса, сходи за портвейном, хочу посидеть с сыном, — так она — никогда в жизни!

Сыну было три года.

<sup>1</sup>Точно помню: сасанидская драхма.

<sup>2</sup>Дочь Розанова Татьяна пишет, что ее сестра Надя в 1947 году привезла из Ленинграда и продала в частные руки одному армянину большую часть коллекции монет отца. Вдруг...

К дому, Большой Екатерининской и школе я прибавил центр, Кузнецкий и Володьку, то есть стал посвободнее. Жить покрасивее было проблематично. За брать по выше я попытался на музыке.

Ибо с лета сорок седьмого года я неожиданно полюбил музыку. Перед войной и в войну мама возила меня к Любове Николаевне Басовой — то есть я достаточно долго учился — совершенно бесчувственно. И вдруг — трофейные фильмы с Джильи:

Ты мое счастье,  
Не забывай меня,  
Где моя дочь?

С экрана пели Джильи, Ян Кипура, Тито Гобби. Каждое Божие воскресенье в обед, в два пятнадцать по московскому времени, я включал *Телефункен: Vox at the Opera*. Би-Би-Си посвящало в тайны, обыкновения и чудеса великих от Карузо до Христовы.

Итальянское пение вдруг обнаружилось рядом. В сороковом году вместе с латвийской Ригой к эсэсэр отошел Александрович. Всю войну он выводил по трансляции литовскую *Ай-ду-ду-ду-дудалэ* и вот он поет, как итальянец, и по-итальянски, самые волшебные арии и неаполитанские песни.

Я пошел в Большой зал консерватории. Кругленький, с закрытыми глазами и книжечкой в руках, Александрович маслянистым голосом связывал и развязывал самые прихотливые бантики — сапожникам Лемешеву/Козловскому такое во сне не снилось.

На «бис» итальянский певец вдруг закричал и заплакал:

Бида биду,  
Нема ништу,  
А як я без овци  
Домой пи-ду?

Я не понял, зачем это.

Большой театр обходился без Александровича, на мой слух — так вообще без певцов. Оплотов — разных Лемешевых, Козловских, Михайловых — я не выносил, вычислял, кого поприличнее:

— *Севильского* бы с Хромченко, Норцовым и Белоусовой-Шевченко!

Глядел в афишу: *Севильский цирюльник* — Хромченко, Норцов, Белоусова-Шевченко. Купить билет тогда было проще простого.

Ходил я предпочтительно в филиал, где было поиностраннее: Россини, Верди, Гуно.

В самом Большом хорош был *Борис* с Рейзенем.

У Немировича шел *Оффенбах*, Милёккер, Лекко и советское: Энке, Хренников, Кабалевский.

Пуччини и Моцарт — только в студии Чайковского (студенты консерватории).

Дон Жуана пел приглашенный Иван Шмелев (*Мне бесконечно жаль*).

Вагнера не было нигде.

По трансляции изо дня в день музыкально-образовательные:

программность *Времен года* Вивальди,

венские классики, особенно *Детская симфония* Гайдна,

народность Моцарта,

революционность Бетховена, симфонии — Маркс, сонаты — Ленин,

русская опера XVIII века: *Мельник, колдун, обманщик и свят*,

*Санкт-петербургский гостинный двор*,

скрипичная музыка Хандошкина,

Двадцать первая симфония Овсяннико-Куликовского *На открытие оперного театра в Одессе*,

оперы и *Камаринская* Глинки,

восточные мотивы в *Шехеразаде* Римского-Корсакова,  
украинские мотивы в Первом концерте Чайковского,  
Первая симфония Калининкова,  
Концерт для голоса с оркестром Глиэра,  
скрипичный концерт Хачатуряна,  
творческое содружество Власов—Молдыбаев—Фере,  
опера Мейтуса *Молодая гвардия*,  
новинки Хренникова и Будашкина,  
симфоническая поэма Штогаренко *Шорс*, удостоенная сталинской премии.

Изо дня в день бранились словами эстет, формалист, безродный космополит. На консерваторской афише *Игорь БЕЗРОДНЫЙ* кто-то, естественно, прописал: *космополит*.

Изо дня в день склоняли: народный, народного, народному. Это было понятнее, чем эстет, формалист, — и проникало глубже. Я перевел — слово в слово — американскую песенку с пластинки:

Пой, скрипка, пой  
Эту песню народную, —

и Шурка Морозов обрадовался:

— И у них — народную?

Дядька Игорь, бывший лейтенант, ныне студент Востоковедения, прослушал мои пластиночки с итальянцами, сощурился и отдалился:

— Мне те две понравилось, народные.

А я — несмотря ни на что, я мечтал стать итальянским певцом. Сейчас у меня голос ломается — установится, и я поеду в Италию учиться. Другие не могут — я смогу. И вернусь знаменитостью.

Пока же я с патефона затверживал арии и неаполитанские песни. Наслушавшись и не слыша себя, думаешь, что поешь, как великие. Я бессовестно выл в уборной — ванна с акустикой бездействовала во всем доме. Как терпели соседи...

Я захотел учиться на пианино — понятно, с какой целью. Я показал Любви Николаевне список:

серенада Альмавивы,  
романс Неморино,  
песенка герцога,  
песнь Манрико,  
ариозо Канио,  
ария Рудольфа,  
ария Каварадосси,  
монолог Лоэнгина.

Любовь Николаевна не спорила. Дала Азучену и Вольфрама — переписать (с нотами было плохо) — и засадила за Черни, Клементи, Кулау.

Внешне Любовь Николаевна походила на колоратуру Барсову. До революции она кончила в Лейпциге у Шарвенки вместе с Л е н о ч к о й Бекман-Щербина и получила диплом свободного художника — висел в рамке. Небольшую ее комнату наполняли пианино и концертный рояль; над роялем огромная, во всю стену, картина в тяжелой раме, вероятно, шумановский *Wilder Reiter*.

Семилетняя ученица про Баха:

— Что он маленький не умер!

Я, четырнадцатилетний:

— Венские классики скучные. Слушаешь — знаешь, что будет дальше.

— Чайковский — мещанство. Балеты его — карамельная музыка.

— Терпеть не могу романсы русских композиторов!

— Не люблю Грига, он холодный.

Любовь Николаевна не выдержала, отшатнулась от пианино и на рояле с бравадой выдала *Huldigungsmarsch*. Раз, выйдя из себя, крикнула:

— Штраус был гений!

Я укреплял себя чтением. Из тимиразевской библиотеки папа приносил мне девственные номера *Советской музыки* со статьями о малерианских ошибках дирижера Зандерлинга и стихами о консерватории:

Который год из этих славных стен  
Идет череда бесславных смен.  
Идут, идут — хоть караул кричи —  
Все маленькие Шостаковичи!

Тоже из Тимиразевки мне попала заваливавшаяся с тридцатых годов книжечка Соллертинского о Берлиозе, о красках в музыке. В книжечке назывались новые, неслыханные имена: Брукнер, Малер, Рихард Штраус. Там же или где-то рядом я прочел о других венских классиках.

Недавно с Шуркой я старался прочувствовать джаз. Теперь я прикинул к *Телефункену*, вслушивался в оркестр, в оркестровку. Меня возносили вагнеровские скрипки и нежили пуччиниевские арфы.

Ради особых звуков я сочинил фортепьянную пьесу на полторы страницы. Играл ее себе несколько дней и вдруг обнаружил, что в правой и левой руках — разные тональности, и все равно складно.

Любовь Николаевна отказалась судить и направила меня в музыкальную школу на Самотеке к знакомому. Молодой чахоточный еврей в пенсне просмотрел и спросил, слышал ли я Хиндемита. Я не слышал. И он бесстрашно, в казенном помещении, проиграл мне куски Хиндемита, Стравинского, Прокофьева — все криминал — и заключил:

— Вы не имеете права бросать композицию.

Я стал брать уроки у композитора Карпова. Он жил напротив Селезневских бань в комнате меньше нашей с молодой женой, детской кроваткой и пианино. Ко мне Карпов отнесся трезвее:

— Ничего, кроме творческой инициативы.

Как бы там ни было — какое блаженство идти по весеннему солнышку, отгородясь от толпы папкой с нотами, и мечтать!

В области сугубой реальности новой жизни способствовало окончание семилетки. Всех, кто думал учиться дальше или не попал в техникум — техникум был в цене, — отправили в Марьину рощу. Вряд ли это было бы безобразнее семилетки, но и благообразнее быть не могло.

На мое счастье, директор 254-й, старый Иван Винокуров выговорил себе в районе отличников из семилетки. Я попал в стабильную школу почти с традициями: с довоенных лет было известно, что Иван провинившихся долбит ключом по темечку.

В 254-й я уже учился — в холоде/в тесноте сорок третьего — сорок четвертого, больше болел, чем учился. Здесь мама пыталась меня свести с Вадей Череповым — *из хорошей семьи*, — он был в параллельном классе.

И теперь в параллельном классе был Вадя Черепов. Мы сошлись с ним не помню как — сами.

Вадин отец, без пяти минут граф, кончил пажеский корпус и очутился в Конной Буденного. Иронически, в начале тридцатых, Буденный попал под его опеку: из командарма хотели сделать свадебного див-генерала. Бывший дворянин тщетно обучал бывшего рубака манерам. Надо думать, Черепов отличался от Буденного еще тем, что был военным-профессионалом: всю войну, не ночуя дома, он провел в генеральном штабе.

Меня встретил добродушный корректный полковник в отставке, с широкими лычками поперек двух просветов. Говорил он посмеиваясь, очень ровным тоном:

— В ЦДКА разносили роман Гроссмана. Один оратор не мог пережить, что героиня наклеивает фотографии на паспорт: где это видано, чтобы так обращались с нашим советским паспортом?

— *Двенадцать стульев* — это зубоскальство, глумление над несчастными.

— Мейерхольд погиб под трапедией с голыми боярами.

— Интеллигенция — прослойка между рабочим классом и крестьянством.

Разница между рабочим классом и крестьянством стирается, стирается и прослойка.

— В тридцатом году в немецком журнале была карикатура: голый мужик прикрывается капустным листом: Kohlrose.

— Держинский не умер от туберкулеза, он застрелился из-за растраты.

— Столыпин — последний, кто мог бы предотвратить...

— У Николая Первого были задатки Петра...

Непонятно, как это не пресекала Вадина мать. Она нигде не работала, зато так активничала в родительском комитете, что получила медаль *За трудовые заслуги* — чего, вообще говоря, не бывает. В идеал она возводила военное:

— Вчера заходили мальчики Ивановские, суворовцы — вежливые, подтянутые, — смотреть приятно!

Вадя жил в готическом особняке, в квартире предков. Череповы занимали анфиладу из трех маленьких проходных комнат, в четвертую, изолированную, им подселили пролетария-стучача. Квартира на удивление сохранилась: дубовые панели на стенах и потолках, над дверью в коридор — витраж, метерлинковские девы<sup>1</sup>.

У Череповых были дореволюционные пластинки, две туго заставленных полки под граммофонным столиком: Шаляпин, солист императорских театров Виттинг, Варя Панина, протоиерей Розов.

В книжном шкафу готическим золотом догорали немецкие собрания сочинений: Шиллер, Гете, Кернер, Вагнер. Глухими заборами отпугивали сталинские подписные: Горький, Алексей Толстой, Новиков-Прибой. Из нижнего угла я извлек огромную, без переплета антологию Ежова-Шамурина — такую в тридцать седьмые сожгла сумасшедшая тетка Вера. Вадин Ежов-Шамурин жил у меня месяцами, благодаря ему я со временем перестал путать Мандельштама с Мариенгофом и Цветаеву с Крандиевской.

У Вади я брал лейпцигский однотомник Достоевского. Мама предупредила:

— Хадось! Ужасы такие — прям' читать жутко. Патология.

Патологией меня только что — нешуточно оскорбил Толстой: *Крейцера соната*, *Дьявол*, *Фальшивый купон*. Достоевский после него показался оазисом. Самое здоровое целебное чтение — роман *Преступление и наказание*.

Лет десяти, услышав о пошлости Чарской, я прочитал *Княжну Джаваху* — и ничего, вроде *Школы в лесу*. Классе в восьмом-девятом узнав о гнусности Арцыбашева, я прочитал *Санина* — Вадя прочитал, Дима Жданов прочитал — из-за чего шум? Чем Лев Толстой возмущался? Сам-то хорош!

С почтением, переживая, я усвоил *На западном фронте без перемен*. Когда мне в руки попало *Прощай, оружие*, я счел его не достойным упоминания.

Естественно, мы с Вадеей терпеть не могли того, что проходят в школе и за что дают сталинские премии — от *Слова о полку* и *Онегина* до *Поднятой целины* и *Белой березы*. Это была бессознательная защитная реакция. Стоило нам пуститься в высокоумные рассуждения, как мы впадали в то самое, от чего убежали:

— Все великие современные поэты — Арагон, Элюар, Хикмет, Неруда — за коммунистов. Что бы это могло значить?

Арагона, Элюара, Хикмета, Неруду хвалили, но не печатали. Других зарубежных — тем более. Для нас западная поэзия кончалась на киевском *Чтеце-декламаторе*, то есть году на двенадцатом, отечественная — на Ежове-Шамурине, то есть на двадцать пятом.

Вадиной высокой словесностью были *Фауст*, *Жером Куаньяр*, *Словарь прописных истин*; моей — все те же *Мертвые души*, *Облако в штанах*, *Хулио Хуренито* и новооткрытый *Громокипящий кубок*. Мы с радостью сходились на *Бегущей по волнам*, с восторгом — на Оскаре Уайльде.

Образ нашей взаимонайденности: мой любимый ботанический сад, мы пришли на затаивший снег дегустировать *Ночную фиалку*, в которой ценили начало, — и славить Верлена, которого почти не читали. Дуря от тлетворного духа, мы обговаривали лорда Горинга, бенберирование и предисловие к Дориану Грею:

<sup>1</sup>Теперь здесь чередуются африканские посольства. Интерьер — видно в окна — погиб.

Ненависть девятнадцатого века к реализму — ярость Калибана, видящего в зеркале своего отражения.

Ненависть девятнадцатого века к символизму — ярость Калибана, не видящего в зеркале свое отражение.

Кино было для нас буквальным окном в Европу. В прокате мизер советских фильмов выгодно дополнялся массой т р о ф е й н ы х и купленных. Мы регулярно ходили в *Форум*, *Уран*, *Перекоп*, открытой душой принимая

— яркие краски — немецкая *Индийская гробница*<sup>1</sup>, французский *Скандал в Клошмерле*,

— сильные чувства — американский *Побег с каторги*,  
английский *Мост Ватерлоо*,

— добрые чувства — американский *Во власти доллара*,  
французский *Адрес неизвестен*,

— упоительную музыку — я уже говорил о немецких с Джильи и Яном Кипурой. В новом финском *Песни скитальца* была мелодия шире арий Пуччини, шире *Жатвы* Чайковского, шире Второго концерта Рахманинова — о песне такой широты я мечтал всю жизнь.

Геббельсовская антиамериканка или *Девушка моей мечты*<sup>2</sup> нас с Вадей не трогали — равно как американский *Тарзан*.

Дима присоединился к нам, когда на экранах возник неореализм:

*Рим — открытый город* (мне просто не понравился).

*У стен Малапаги* (все были в восторге, я не оценил).

*Похитители велосипедов* (я тоже пришел в восторг: замечательно, а непонятно, как сделано).

Самое сильное впечатление произвел на меня немой фильм: в прокате неожиданно выплыл *Потомок Чингисхана*. Я понял, что немое было больше кино, нежели звуковое, и стал говорить: к и н е м а т о г р а ф и ч н о.

Из нашего класса я довольно быстро выделил Диму Жданова, сына литературного критика. Аккуратный, в костюме и белой рубашке, он отвечал у доски, сложив руки — сейчас запоем. Дима, казалось, не обращал внимания ни на отметки, ни на учителей, ни на сотоварищей, держался особняком, говорил мало и еле слышно — и все время был погружен в свои, далекие мысли.

Я подбирался к нему много месяцев. Решающий разговор произошел у распахнутого весеннего окна, стало быть, уже в сорок девятом году. Для установления отношений хватило маленькой переменки.

Покочевав с парты на парту, я утвердился соседом Димы. Все уроки мы занимались своим делом.

Я придумывал, Дима рисовал:

— Пушкинский уголок — Пушкин орлом на унитазе.

— Толстовский уголок — Толстой с бумажкой на горшке.

— Проект памятника Маяковскому — пьедестал кучей, фасад паровоза, под колесами голый мужчина, подпись:

Лягу, светлый, в одеждах из лени  
на мягкое ложе из настоящего навоза  
и тихим, целующим шпал колени  
обнимет мне шею колесо паровоза.

— Посаженный на кол — голый мужчина, вид снизу, множество вариантов.

<sup>1</sup>Божились, что в роли Зиты — мужчина. Т р о ф е й н ы е шли без вступительных титров и, как правило, с переименованными названиями.

<sup>2</sup>Якобы в главной роли — Ева Браун.

В зависимости от обстоятельств Дима был для меня Скверножданом, Угожданом/Неугожданом, Обсужданом и, главное, Сопровожданом. На перемене я говорил: — Сопроводи меня! — И мы без слов направлялись в уборную. И после уроков я мог сказать: — Сопроводи меня! — хотя сопровождать, собственно, было некуда. С полчаса мы с Димой толклись на Первой Мещанской между нашими разнонаправленными переулками, и я поглядывал в сторону Серединки, безумно надеясь хоть мельком увидеть Таньку.

Главным сопроводительством были концерты, преимущественно Колонный зал. Радиокомитетский оркестр в форме поддерживал Гаук, но любить мы любили часто гастролировавшего ленинградского Зандерлинга. Солисты Нейгауз, Юдина, Рихтер, Фейнберг были делом обыкновенным, и мы никого особенно не выделяли. Считали: Нейгауз очаровательней всех, Григорий Гинзбург — блестящий, Юдина — страшилище. На Софроницкого не ходили, не любили его — как вообще камерные концерты.

На лучших концертах мы неизменно встречали высокого, хромого — опирался на трость — джентльмена лет пятидесяти с благородно очерченным профилем европейца. Одет он был не как иностранец, хотя из публики выделялся элегантностью.

Публика была полосатая. На симфонические забредали командировочные офицеры с дамами в летних платьях. Москвичи, завсегдатаи, кадровые меломаны рядились во что попало. Речь даже не о Москвошвее — половина Москвы еще ходила в трофейном. Даже у меня водилось немецкое пальто из комиссионки. Трофейное было слишком с чужого плеча и никого не красило. Тем более что по привычке и Москвошвей, и заграничное донашивали до распада.

Элегантный джентльмен с концертов так нас заинтересовал, что мы стали расспрашивать, кто это. Нам сказали: — Хромой? Анатолий Доливо! — Я пошел на концерт Доливо: камерный певец (песенки Беранже), кумир довоенной интеллигенции был неэлегантен, как все, и, как все, не имел профолия.

Досоветский/эмигрантский кумир Вергинский пел по театрам — в понедельник, когда нет спектакля. Сарказмом, пластикой, игрой алмазного перстня он отвлекал внимание от старческого тремолирования — и успешно, — публика была в восторге: Вергинский демонстрировал то, чего нам никогда не увидеть.

Бабушка принесла мне от сослуживицы ноты Вергинского — *Бал Господен и Попугай Флобер*. Дима проиграл, с удивлением согласился, что это профессионально, но сопроводить меня на Вергинского — под мою ответственность — все-таки отказался.

Как дают почитать книги, мы давали друг другу ноты. Он мне — *Хованищину*, рахманиновского *Полишинеля*, романс Глиэра *О если б грусть моя*. Я ему — *Гранаду* Альбениса и прочие переписанные от руки раритеты.

Дима говорил, что надо купить из нового. Так у меня появились прелюдии Шопена и Скрябина, и я их играл по складам, для себя, лет двадцать.

Упоительны были наши предвечерние выходы на Неглинную, 14, порываться в бухгалтерическом. В стопах макулатуры встречались никому, кроме нас, не нужные Сибелиус, Синдинг, Де-Фалья, фортепианные переложения Вагнера.

Шли мы неспешно, Цветным бульваром, — деревья на нем с той поры как будто не выросли.

— *Фантастические танцы* из опуса пятого превратились в опус первый. Шостакович что сделал? Переопусовал! Слово какое: переопусовка! — начинал я.

— Но что война для соловья.

У соловья ведь жизнь своя, — списано с прелюдии Рахманинова: та та-та там та там, та там, — отвечал Дима.

— Начало вальса из *Щелкунчика* взято из *Прекрасной Елены*, — не отставал я.

Со слов отца Дима передавал союзписательские новости:

— что Кирсанову сталинскую премию дали потому, что вспомнили, что он еще ни разу не получал,

— что в Куйбышеве в ресторане Григорий Новак вычистил зубы антисемиту Сурову.

Я говорил о том, какое счастье быть дирижером, какое счастье стоять в Большом зале консерватории лицом к публике и читать собственные стихи. (Мечты о дирижерстве и активное стихописание вытеснили недавние грезы об итальянском пении).

Дима отвечал, что в бальзаковской *Истории тринадцати* тринадцать друзей занимают разносущественные посты и выручают друг друга. Так и надо. Что на Алтае есть такие глухие места, где нет советской власти. Кто-то туда уже переселился.

Мы забредали чем дальше, тем глубже — и до расставанья на углу улицы Дурова мы, утопая в себе, говорили о главном, подробно, словами, из такой сути тогдашних себя, что сейчас этих слов не вспомнить — и пытаться не должно.

Дима был тем редкостным сверстником, кому я мог показать свои музыкальные сочинения. Он просматривал их дома и возвращал без комментариев. Только про танго на слова *Невыразимой поэзы* и балладу *Семеро* сказал:

— Что-то есть. — И тут же усумнился, что можно любить и Северянина, и Хлебникова.

*Семеро* происходили из восхитительной *Дохлой луны* — ее Шурка Морозов раскопал на удельнинском чердаке и обменял на марки. Безапелляционно синие иллюстрации, роскошно разбросанные по толстым страницам стихи Шершеневича, Бурлюков, Хлебникова, Маяковского, Большакова разжигали мою страстную любовь к футуризму. Вся школа футуризм был синонимом вольного поступка, яркости, бодрости. И вот — первозданный футуризм у меня в руках, — и радость моя омрачена лишь тем, что из *Дохлой луны* в тридцать седьмые вырвали тетрадку с *Госпожой Ленин*. Однако, по логичному пэттерну, наступив на горло нумизматике, я взял за сотню пятитомного Хлебникова. Томясь, одолел всего — чтобы потом читать/перечитывать один первый:

Где Волга прынула стрелой  
На хохот моря молодого.

Неожиданно судьбоносным оказался второй.

На одной парте с Димой до седьмого класса сидел Евтушенко — из седьмого его вышибли. Через Диму Евтушенко попросил у меня почитать Хлебникова. Первый том я пожалел, за второй Евтушенко прислал избранного Пастернака. Я раскрыл под партией на первом уроке:

Февраль. Достать чернил и плакать!  
Писать о феврале навзрыд,  
Пока грохочущая слякоть  
Весною черною горит.

Я давно бредил черной февральской весною — но в лучшем сне не вообразил бы, что она уже в книге и что книга лежит у меня на коленях.

Меня затрясло. Математик Николай Николаевич пропел Э-э-э и удалил с урока. До звонка я читал в уборной.

Жизнь моя поделилась на до прочтения Пастернака и после.

Собственное восхищало меня, пока я писал. Дима и Вадя похваливали и поругивали. Сам я потом, трезвым оком, видел в себе Архангельского, *Дохлаю луну*, Пастернака:

Нежное; недужное  
Слабое и жалкое  
Облачко жемчужное  
Над землечерпалкою.

Весенний запах в зимних лапах  
Сквозь непогоду, снег и лед

Показывает, что на крапах  
Замерзших крыш, земель и вод  
Весны готовится приход.

Как всегда, смеркаясь, с похоронным звоном,  
Бронзовит огней желтоглазый мятеж —  
Это город пляшет игуанонодом  
На пепелищах погибших надежд.

А мрак разграфили огни этажей...  
Любовь проклятая эта!  
И сыпал фонарь по асфальту драже...  
О где ты?

И наряду с чистым искусством, время от времени почти через не хочу выдавал что-то газетное в духе позднего Маяковского. Вадя и Дима не комментировали.

Самый позорный случай произошел летом в Удельной, когда я на досуге даже не без вдохновения сочинил поэмку о сорок первом годе — по образцу *Высокой болезни*. Был безумно собой доволен, и в голове шевельнулась безумная мысль:

«А что, если бы это прочитал сам Сталин?»

Я не допускал, что Исаковский-Твардовский-Долматовский-Матусовский и Маршак с Симоновым могут кому-нибудь нравиться. И ничто не соединялось с тем, что обожаемого Пастернака не печатают.

Ждановские речи и постановления витали в воздухе, но проходили мимо сознания. Я их прочитывал — серые газеты на серых заборах. Композитор, который пишет муру и курит *Дели*, равно как *Приключения обезьяны*, был для меня той же серостью, от которой я бегал с детства. И вообще это как бы не тот Зошенко, который сочинил восхитительную *Аристократку*. Как Эренбург, автор *Бури*, — не Эренбург, автор *Хулио Хуренито*. Писатели раздваивались; любимые, лучшие почему-то делались никакими, казенными. Притом мне в голову не приходило, что речи и постановления как-то влияют на литературу и людей в литературе.

Несколько раз Дима заходил со мной на Четвертую Мещанскую к Евтушенке. Евтушенко устраивал для меня представление:

— У меня первый разряд по пинг-понгу!

(Он был расхлябанный, движения приблизительные, рука жидкая, влажная.)

— Мне дали визу в *Советском спорте*!

(Это значило, что отныне он благословляет в печать редкие стихи в спортивной газетке. Там же он впервые напечатался сам — о безработном американском боксере-негре.)

— Я провел ночь с поэтессой Т!

(Были поэтессы Гиппиус, Ахматова, Цветаева. Т. по моему разумению, быть не могло.)

— *Герои едут в колхоз* — гениальные стихи!

(Я знал, что есть такой казенный поэт Гусев — не более. Евтушенко доставал книжку и, подвывая, читал.)

— *Герострат* — гениальная поэма!

(Глазкова я знать не мог — его с а м с е б я и з д а т ходил только в кругах писательских.)

— Ты — бухгалтер Берлага!

(Я не принадлежал к цивилизации Ильфа и Петрова и понятия не имел, кто такой бухгалтер Берлага<sup>1</sup>.)

Восторжествовав, Евтушенко брал мои заношенные, маранные (сталинские шариковые ручки текли) листочки и медленно, сквозь зубы читал:

Хитро смеются полуторатонки,  
Тупо трамваи набычились в гонке,

<sup>1</sup>Двенадцать стульев и Золотой теленок ко мне попали поздно и уникальными не показались: я уже прочел их прототипы — катаевских *Расстратчиков* и берзинского *Форда*.

Рыбой тарашатся фарами форды,  
ГАЗы мигают скелетовой мордой...

— *Фарами форды* — это хорошо, — он ставил на полях плюс.

Потом проглядывал снова и словно изумлялся, как я дошел до жизни такой:

— Но ты — формалист!

(Я не поправлял, что я футурист.)

С высоты положения Евтушенко читал свое. Заключал:

— Если бы эти стихи были подписаны: Евгений Евтушенко, верхолаз, город Красноярск — их бы напечатали в *Правде*. Тебе понравилось?

Я с удовольствием говорил, что нет.

Евтушенко злился:

— Ты бомбист!

Вышибленного Евтушенку в школе не только не забывали, им было принято восхищаться: мы тут зря сидим, а он дела делает. Какие именно — не слишком интересовались. Говорили только, что с ним невозможно идти по улице — подбегает к каждой газете и прочитывает стихи:

— Надо знать конкурентов.

Литературу у нас вела орденоносная тетя-жаба, прозвище Китоврас.

В начале урока она устанавливала тишину: долго колошматила по столу огрызком карандаша. Зыркала над бельмами пыльных очков, выискивала вредителей. Выскаивала:

— Цырлин, что сказал Пушкин о рабстве диком? — Цырлин был должен залпом выпалить цитату.

— Усачев, что сказал Белинский...

Если Усачев мешкал:

— Кто знает?

Тянулись руки: за пять цитат наизусть в журнал выставлялась четверка, за десять — пятерка. Цитаты регистрировались в замусленной общей тетради, отдельно от журнала. Цитата — плюс, нет цитаты — минус, пять минусов — двойка.

Система *Белинский о Маяковском* вела известно к чему.

Невзирая на Китовраса, класс кишел стихотворцами.

Моим соперником себя почему-то считал — лошадиное лицо, девический румянец, огромные серые глаза и нос кнопочкой — Эдуард Афонюшкин. Он вызвал меня на поединок: кто к завтраму насочиняет больше стихов на *-ес*.

Я начал:

В самолет, пыхтя, полез  
Обер-группенфюрер Гесс.  
Испуская аш-два-эс,  
В высоту рванулся през.

Афоня зарифмовал *херес, шартрез* и всех *Геркулесов, Ахиллесов* и *Гермесов* — и разгромил меня в пух и прах.

Приятель Афони Цырлин, Цыга, тоже включился в поэзию. Рожал он туго и родил всего одну строчку, зато апокалиптическую:

В Китае жил китайский пленник.

Повальное стихописательство, несомненно, принадлежало к возрастным занятиям и входило в брачные игры.

На большой перемене на углу Дурова мы брали на двухгривенный соленых огурцов и, по Фрейду, забрасывали их в окна женской 235-й у Филиппа-Митрополита.

После уроков — стыкались. Почти по-джентльменски, клали к ограде портфели, если кто в очках — срывал их шикарным жестом и бросался в бой: побеждает, кто бьет первый.

Зрители стояли кольцом и соблюдали нейтралитет: двое дерутся — третий мешается<sup>1</sup>.

Мы знали, что мы ничего не знали. Экспириенсоватые от нас отхихикивались. Нам оставалось прислушиваться к рассказам и росказням баб-ика Усачева. Мы верили и не верили, что у потерявшей невинность над переносицей поперек лба появляется тоненькая морщинка;

верили и не верили, что в одиночку изнасиловать невозможно;

верили и не верили, что от изнасилования не беременеют;

содрогались от самого слова *изнасилование*;

вождедели providenciального соития и боялись его как чего-то родственного изнасилованию, противоестественного, отвратительного;

болезненно гадали друг о друге, кто уже *да*, кто *нет*;

болезненно острили: — Онанизм — это самообладание.

Мы с Вадей тайно именовали себя поллюционерами:

— Узок круг этих поллюционеров...

Главное поле для брачных игр — танцы, что еще? Дежурная острота пришуривалась: — Танцы — трение двух полов о третий.

Это звучало почти кошунственно. Только на танцах нас встречали с девочками из женской школы, чаще всего — 235-й. Только на танцах жертвы раздельного обучения на час-другой оказывались в менее противоестественных отношениях друг к другу<sup>2</sup>.

Танцы имели две ипостаси. Во-первых, б а л ь н ы е т а н ц ы. Вертявый человек из Большого театра распинался:

— Ну зачем нам западные танцы, когда у нас есть свои, хорошие, русские — полька, венгерка, па-де-грас, па-д'эспань<sup>3</sup>...

Бальные танцы имели для нас мало смысла: за ними не разговоришься, не познакомишься. Необходимость в танго и фокстроте была так очевидна, что где-то на командных высотах их оставили, переименовав: м е д л е н н ы й т а н е ц, б ы с т р ы й т а н е ц.

Урок заканчивался, девочки из 235-й разбегались, ветеран балета удалялся, мы двумя параллельными классами окружали аккордеониста — он не спешил. Безработный джазист с косыми глазами западненца тоскливо говорил:

— Все знают, — и называл никому не известную украинскую песню. — Попробуйте узнайте ее в такой импровизации.

Мы восхищенно слушали. Стремясь к прямой правде, я спросил, какой самый лучший джаз в мире, и он с готовностью произнес:

— Глен Миллер.

Во-вторых, в е ч е р а. Их предвкушали заранее, старались не пропустить, строили планы. Не ходил на них один Дима.

Зато появлялся Евтушенко. Стоял в толпе, всматриваясь, как будто оценивал положение. Изредка ронял:

— Пастернак — гениальный поэт...

— Шефнер — гениальный поэт...

Вечера начинались с официальной части:

— доклад о международном положении или

<sup>1</sup>В школе попроще мордобой был бы пооткровеннее. Но и 254-я ни от чего далеко не ушла: на выпускном вечере, когда сводили счета, команда подвыпивших добровольцев бескорыстно избивала кого попросят.

<sup>2</sup>Никоим образом не нормальных. В одной женской школе для нас отвели особую уборную. Наклеили на двери «М» и внутри расписали и разрисовали так узорно, что ничего подобного я не видел в курортных и станционных.

<sup>3</sup>Похожий на дедушку Крылова физик, объясняя, оговорился:

— Великий русский ученый Михаил Фарадей...

Он снял очки, оглядел нас дикими глазами, расстелил на коленях большой носовой платок и громко плюнул.

— с а м о н а д е я н н о с т ь — старшекласники с удовольствием развязничали, изображая эсэсовцев или американцев, или

— Вадим Синявский. Он жил рядом со школой, охотно приходил, трепался почти интересно, но очень длинно, отнимая время у танцев. Его радением к нам заявлялись звезды:

Бобров,  
Федотов,  
Хомич,  
Бесков,  
Чудина,  
Григорий Новак.

Полковник-тренер из ЦДКА показал поединок неравных партнеров. Под конец слабейший был цвета своей клубной майки.

Школьное — или районное — начальство добредало до таких чертиков, что раза два танцы было велено открывать полонезом. За ним тяготно тащились бальные. Мы выжидали, когда надзирающие умотают домой или обалдеют от бдительности. Тогда на школьном радиоузле ставили давние, довоенные, ныне запретные, з а п а д н ы е:

*Брызги шампанского,*  
*Куст сирени,*  
*Дождь идет,*  
*Риорита,*  
*За чашкой чая,*  
*Охота на тигра* братьев Миллс,  
утробная *Инес*,  
варламовская *Свит-Су*,  
цфасмановское *Неудачное свидание*,

более поздние:

утесовская *Лунная рапсодия*,  
*Если любишь, приходи*,  
кручининское *Южное небо*<sup>1</sup>,  
*Танго соловья* — Таисия Савва, художественный свист,  
*Мне бесконечно жаль* — Иван Шмелев,  
*Вдыхая розы аромат*,  
*Утомленное солнце*,  
тяжеловесный *Цветущий май*,  
рижский *Лос-Анжелос*,  
шахновская *Карусель*.

Переименованное танго, переименованный фокстрот — это и был тот максимум ж и з н и п о к р а с и в е й, который позволяла незаграница.

Хороший тон — танцевать с т и л е м, то есть с отсутствующим выражением лица, вихляясь, прищелкивая каблукками и ставя носки ботинок вовнутрь.

Мало-помалу в углу пара-другая парней начинали л и н д а ч и т ь. От криминальной линды с завуча Федя мгновенно слетала дремота, и он разнимал танцующих, как дерущихся.

Если ослушники заводили обожаемого и больше, чем джаз, запретного Петра Лещенко — шестидесятилетний Федя летел по коридору и скользкой затертой лестнице на другой этаж.

Радиоузел — преувеличенно громкое название подсобки с техникой... Это был конец эпохи, вращавшейся на семьдесят восемь оборотов. Предел мечтаний — немецкий электропроигрыватель-автомат, который сам меняет местами и сторонами заряженную в него стопку шеллачных пластинок.

В радиоузле заправлял Володька Юдович, уроженец Сретенки и одессит по замашкам. Он ходил, как фрей, не сгибая ноги в коленях и широко раскидывая ботинки.

<sup>1</sup>Тот самый Кручинин, что сочинил *Кирпичики*.

— Э-э, приэ-эт! — Как необходимую новость он сообщал, что еще одного шмока скинули с крыши ресторана *Спорт* на Ленинградском шоссе. Сообщая, он извлекал из носу козявку и элегантно приклеивал ее на лацкан или рукав собеседника. Из-за элегантности никто не протестовал, и полкласса гуляло в его соплях. Из О.Генри я выудил и подарил ему кличку Сопи.

Володька учился в музыкальной школе на флейте, но поразговаривать предпочитал о ф о р т е п л я с а х — каково концертмейстеру, что такое поймать и выжать синкопу.

Он таскал в узел редкую заграничную джазовщину — те же фокстроты и танго — и иногда на переменке запуская на всю школу — д л я о п р о б о в а н и я а п п а р а т у р ы. Получив нагоняй за упадочную музыку, оскорблялся:

— Скоро Моцарта запретят — у него половина вещей в миноре.

Даже после поверхностных, ни к чему не располагающих б а л ь н ы х т а н ц е в я буквально валился с ног от напряжения. Много хуже мне приходилось на в е ч е р а х, где было настоящее испытание себя. За вечер мне обычно удавалось протанцевать с кем попримичнее два-три танго/фокстрота — потом несколько дней я изывал мерзкий мутный осадок.

Счастлирое исключение произошло на вечере в 235-й. Я пригласил совсем незнакомую, еврейского вида, в веснушках. Вдруг оказалось, что ноги танцуют, точно я великий маэстро, а говорим мы не об околоскольной ерунде, а о главном, будто сто лет знакомы. На беду срочной влюбленностью меня не пронзило, и я упустил ее — больше никогда не встречал.

В школе был немецкий. Уроки английского я брал в доме на Серединке у Ирины Антоновны. Она только что кончила ИН-ЯЗ, учила толково, разговаривала со мной разговоры, относилась с сочувствием и почти пониманием.

Она и познакомила меня со своей соседкой Танькой — скорее всего, из любопытства. Танька была тоненькая, миловидная и такая бесцветная, что без подсказки — скажем, на вечерах — я ее мог бы и не заметить.

Подсказка была, и я тут же влюбился.

В момент знакомства у меня было два билета в студию Чайковского на редкостную *Богема*.

С рождения готова меня к худшему, мама прожужжала мне уши:

— Я всегда сама за себя платила. Эт' только прости-Господи позволяют. Ты не вздумай...

Как я ни изживал из себя Большую Екатерининскую, нет-нет да всплывало — в самых неподходящих случаях. И сейчас я был готов спросить: «Вам кресло или откидной?»

Бог не довел до срама. Услышав слово *опера*, Танька замотала головой.

Встречались мы редко — на вечерах или случайно. Идя по Первой Мещанской, я неизменно ее высматривал.

Конечно, ей со мной было скучно.

На прямой вопрос об интересах она ответила: спорт.

Спокойно сказала, что книг не любит.

Про что-то отнеслась: — *Это хуже*.

И все же она меня не избегала и не отталкивала: то ли на всякий случай, то ли подстраховывала Ирина Антоновна.

Танька всегда обещала позвонить, и я недели, месяцы, годы умоляюще глядел на телефон в коридоре. Ожидание — вот образ моих отношений с Танькой.

Что Таньке буквально все милее меня, можно было понять — сознать, объяснить, даже утешиться.

Оскорбительна и непоправима была сама Танькина природа.

Оскорбительность/оскорбленность не убивала чувств, она растравляла их. Чувства были наивные, но нешуточные. Лет через двадцать пять, забывший, не вспоминая, женатый-переженатый, я увидел во сне Таньку — она поманила, и я пошел без оглядки.

От растравленных чувств я содрогался, завидев вдали на улице похожую походку. От растравленных чувств я содрогался при звуках имени, когда Лещенко пел *Татьяну*. Растравленность порождала отчаяние, противление, бессонницу, злобу, мечты о возмездии — и стихи.

И в один прекрасный вечер я понял, что сочинил свое главное тогдашнее стихотворение:

Разрешите на минуту оставить лоск,  
 Позабить уважение и еще чины.  
 Благодарю за разрешение и скажу не зло:  
 Вы достойны хорошей пощечины.  
 Почему? Не удивляйтесь, ведь не золото, а медь  
 В вашей, столь досадно милой головке.  
 Вы могли себе позволить, как вы смели сметь  
 Против меня кознить уловки?..

Перед Филиппом-Митрополитом прочел Ваде. Тот оценил:

— Это у тебя не хуже некоторых мест *Облака в штанах*. (В скобках: Таньке своих стихов я не показывал.)

...Откуда-то я вернулся домой, мне сказали: звонила какая-то Таня, просила позвонить. Позвонил — нет дома. Выскочил на улицу и впервые увидел Таньку почти у наших ворот. У каких-то ее друзей собирается компания, не хватает двух парней — Вадя уже приглашен и будет.

Нас привели на второй этаж просыревшего деревянного дома на Переяславке. На протертой клеенке стола стоял казенный салат и много водки. Хозяйка и ее подруги... такие ходили на каток в неприличных трехклинках, мы таких избегали. При них были соответствующие молодые люди — шпана или что похуже. Самым старшим и страшным казался белобрысый детина в галифе, пупырчатый, как огурец. Танька, удивительным образом, не отходила от него ни на шаг, подкладывала ему на тарелку, подливала в рюмку — только что не сидела у него на коленях.

С нами никто не заговаривал, на нас не обращали внимания, разве что белобрысый детина время от времени взглядом удостоверился, что мы на месте. Мы с Вадей сидели рядом, спиной к стене, брезгали винегретом, дотрагивались до водки и ждали, когда нас начнут бить.

Так мы досидели до достаточно позднего часа и достаточного распада в комнате. Мы выбрались в коридор, осторожно спустились по покосившейся облещенной лестнице, единым духом промахнули Безбожный — и облегченно вздохнули в ярких огнях Первой Мещанской.

Через день-два Ирина Антонова открыла мне, что детина в галифе — оперативник, и Танька мечтает за него замуж.

Итак, по Танькиной милости, мы с Вадей, сами того не ведая, участвовали в какой-то муровской акции.

Я вырос в одиночестве. Вадя вырос в одиночестве. Дима вырос в одиночестве. С рождения мы были лишены естественной органичной среды. Не знаю, была ли в тогдашней Москве н а ш а среда. Даже своей компании у нас не было, и мы не могли ее образовывать; Вадю и Диму связывал только я. Встречались мы, как правило, по двое на улице. У Вади я довольно часто бывал. Ходить к Диме было не принято. Что говорить о нашей капельской тесноте!

Школа кончалась. Впереди маячило студенчество. Может, оно окажется той самой необходимой средой... Рисовалась мизансцена вроде смирдинского новоселья: все сидят за большим столом, а один стоит и вроде читает стихи.

Дима собирался в архитектурный. У нас с Вадей никаких планов не было. Скорее всего, я пошел бы в университет на филологический. Но опять, по пэттерну, вмещалась случайная книга.

Аляутдинов принес на урок и дал до завтра домой *Как я стал кинорежиссером*. От Александрова до Ярматова все восхищались своей особенной, великолепной жизнью. Душевней всех был Кулешов — такого имени я до того не встречал. Он без

обиняков сообщал, что больше всего на свете любит умные машины, нашу русскую природу, охоту и зверюшек.

Я был зачарован, куплен с потрохами. Если вдуматься, я уже получил от кино бесконечно много такого, чего иначе бы не получил. Как делается кино, я видел в александровской *Весне* — ее мы с Вадей восторженно смотрели несколько раз. Я не мог и не хотел понять, что все — от Александра до Ярматова — те же Исаковский-Твардовский-Долматовский-Матусовский и Маршак с Симоновым. Я не мог и не хотел понять, что казенное кино убивает так складно начавшуюся новую жизнь. Ибо здесь предлагалось именно то, чего не доставало известной мне действительности, — *красивая жизнь*.

Я решил поступать в киноинститут.

Мои родители не знали, что сказать.

Вадина мать узнала, что во ВГИК поступить невозможно.

Сосед Алексей Семенович покачал головой:

— Это значит, что ты всю жизнь будешь делать то, что тебе прикажут.

1981—85

## ВГИК

Сосед Алексей Семенович напрасно качал головой:

— ...ты всю жизнь будешь делать то, что тебе прикажут.

Приказывать было не нужно: меня оглушила и съела химера особенной, великолепной жизни кинорежиссера. Погнавшись за *покрасивее*, я думать забыл о *повыше и посвободнее*.

Не столько готовился к экзаменам на аттестат зрелости, сколько ломал себя:

— всегда сторонился политики и науки, теперь же самодовольно раздумывал, мог бы Черчилль или Трумэн написать о языкознании;

— всегда презирал Горького, теперь же, зная, что надо, давясь, глотал *Фому Гордеева, Дело Артамоновых, Клизма Самгина*;

— никогда не любил драматический театр, теперь же в майской-июньской духоте высиживал основные спектакли основных театров. Самое отвратительное мгновение во МХАТе, когда на сцену выплыла старая бесформенная Тарасова и зал закричал: — Кра-са-ви-ца... — Единственное потрясающее — в *Ленинского комсомола*, когда Берсенев—Федя Протасов в последнем действии выкрикнул: — Как вам не стыдно?

На Дне открытых дверей нас приветствовал Лев Кулешов — тот самый, который больше всего на свете любит умные машины, нашу русскую природу, охоту и зверюшек.

Он был невысок ростом, но грандиозен: львиная голова, львиная седина, красиво подстриженные усы; галстук дорогого красного цвета — в тон ярким губам; темно-серый, крупной выработки заграничный пиджак; светло-серый, необыкновенной вязки жилет.

Он добродушно шутил, щедро приглашал поступать и ничего не бояться. От него струились величие и великодушие, он сиял посвященностью; я влюбился. По пэттерну в пятьдесят первом мастерскую набирал именно Кулешов.

На первом туре показали герасимовский *Освобожденный Китай* (намек: набирают документалистов). В темноте просмотрового зала я записал в блокнот кадр за кадром. При свете дня на проштемпелеванных листочках — обнаружил феноменальную память и выдал комментарии а ля газетный Эренбург: *хлеборобы Кубани и шахтеры Астурии, безработные Сан-Франциско и кули Гонконга...*

На втором туре сочинение *Мой родной город* — я заявил, что описать Москву невозможно, поэтому — про одного москвича. Вспомнив: *если бы эти стихи были подписаны: Евгений Евтушенко, верхолаз, город Красноярск — их бы напечатали в Правде*, я соцреалистически вывел в верхолазы удельнинского Юрку Тихонова, загнал его в строители высотных зданий и в финале дал ему в руки *Поднятую целину*.

Собеседование. В коридоре абитуриенты сокольской пирамидой лепятся к стеклам под потолком: увидеть, услышать.

Меня вызвали. Из предбанника я узнал голос Кулешова:

— Сейчас я вам покажу замечательного парня — из него можно сделать что угодно.

В первый вгиковский день Кулешов обратился к нам как старший к равным:

— Не думайте о красивой, особенной жизни. Есть такое понятие — киношник: светофильтры на пол-лица, клетчатая куртка с начесом, краги — так все это вздор, ложь. Настоящий работник кино одет, как все, и живет, как все, только работает много больше других... А теперь посмотрите венгерский фильм Германа Костерлица *Маленькая мама...*

Кулешов не зря заклинал нас быть/жить, как все, ибо, выдержав конкурс двадцать человек на место, одобренный высокой комиссией (Кулешов, Головня, Копалин, Ованесова), студент творческого факультета уверенно считал себя избранным и дарованием.

Я задрал нос перед школьными друзьями.

Не пошел на торжественный вечер получать золотую медаль: занят, репетиции. Даже не хоронил милую бабушку Ирину: тоже некогда.

Каждый день с девяти лекции, семинары, просмотры, потом до пяти, семи, даже до девяти — репетиции. Дома — сплю; в воскресенье отсыпаясь и увязывая хвосты домашних заданий.

При такой жизни меня озадачил призыв Кулешова по-станиславски наблюдать жизнь. Где я мог ее наблюдать? Дома? В институте? Оставалась дорога туда-обратно.

И я строчил в запкнижку виденное/слышанное в трамвае:

Ремесленники: — Десять билетов!

— Вас нешто десять? Все двадцать, наверно.

— Не двадцать, а двадцать три.

— Кондукторша-то симпатичная!

— Я у вас третий раз еду. Два раза билет брал. Как вас зовут? А что, если я в ваш звонок позвоню?

— Ребя, у нее нос картошкой!

— Сейчас высажу!

— А мы приехали! Бери билеты назад. Москва — Воронеж!

С передней площадки врываются двое без ног на тележках:

— Мы три моряка черноморского флота, один потерял руки, другой — ноги, третий — глаза. Подайте на воспитание наших детей. Полный вперед!

Табличка: *Лучший кондуктор г. Москвы*. Пожилая, бодрая, тип — монашенка.

— Заходите, граждане, не торопитесь, всех увезем. Бабоньки, бабоньки, не толкайтесь. Бабуся, держи руку! Кого обслужить? А вы, ребятки, ай-яй-яй — без билета! Следующий — Студгородок... приготовьтесь, кому сходить. Смейтесь, граждане — у меня вагон всегда веселый.

Перед мухинской рабочий/колхозницей люди спрашивают:

— Вы у чучелов сходите?

Ирония и пэттерн: на первой лекции с переходом в студенчество нас поздравил Сергей Митрофанович Петров. Известно, что литературовед Сергей Митрофанович Петров поставил министру культуры Александрову кадры для элитного дома терпимости. Не могу сказать, тот или не тот, не похоже: наш был коржавый мордвин с красноречием директора пробирной палатки. Я как раскрыл на нем, так и не закрывал заведенную в школе запкнижку:

— Язык Тургенева как бы надушен одеколоном... У Тургенева человек не припаян к природе... Тургенев подначал поддаваться вправо — читайте в работе Эльсберга *Герцен...* В *Обрыве* Волохов надругался над Верой, и она оборвалась... С древнейших времен, с конца девятнадцатого века...

Западную литературу преподносил стрекулист Верцман. Закатывая глаза:

— У Данте была Беатриче, брюнетка с голубыми глазами — роскошь! — Он показывал пальцами, какая роскошь, и тут же, сияя простодушием, объявлял: — К поэзии я глух!

Историю искусств — ИЗО — читал Цырлин. Воспитанный голос:

— Принцип хиазма... Валерные отношения... Какая-то такая мысль... Тициан прожил сто лет и до конца... Какие-то такие искания... В Ленинграде я еще раз посмотрел *Бурлаков* — все-таки красиво написано... Какая-то такая сила.

На вступительной лекции по советскому искусству он рассказал, что на Западе считают современным русским искусством, т.е. назвал Шагала, Кандинского и пр. Однокурсники из народных артистов тыкали в меня пальцем:

— Он импрессионистов любит. Формалист!

Часть занятий шла в Третьяковке. Я раболепно и тщетно пытался полюбить обязательных передвижников.

По дороге Цырлин спрашивал:

— Какая из новых станций метро вам нравится больше всех?

Н а р о д н ы е а р т и с т ы :

— Комсомольская!

— Но это какое-то такое пирожное...

Я наслушался об ордерах, Египте и Ренессансе и, вычислив, робко, тайно спросил:

— Метро — это эклектика? — и в ответ тихо:

— Разумеется.

Марксизм тенором в нос выводил Козьяков:

— Агностики! Они заблуждали народы, что все это только кажется, что вот этот стол передо мной я выдумал, как будто не всякому видно!

Не всякому: сам Козьяков был слепой в синих очках.

— Товарищ Сталин организовал негодование, облачив его в партийную форму.

Форма речей Козьякова: синтаксис изумлял, лексикон требовал перевода:

Агностики — мракобесы,

Сикофанты — изуверы,

Оппортунисты — те, кто мешает.

Беркли, Мах, Авенариус — бранные междометия.

В большой 201-й аудитории было много народу: кроме мастерской Кулешова — первый операторский, первый художественный, не помню, были ли сценарный и киноведческий. Никто не слушал. Все занимались своими делами. Если вдруг становилось шумно, Козьяков грозил резким козлиным фальцетом:

— Я вас! С целью коллективщину вытравить — выгнать!

Более любых лекций во ВГИКе справедливо ценились просмотры.

Перед началом Колодяжная извлекала жажущих из-под столов, из-под портьер, сладострастно срамила люто намалеванным ртом. Ей принадлежала валюта: *Под крышами Парижа, Последний миллиардер, Огни большого города, Новые времена, Джордж из Динки-джаза, Серенада Солнечной долины*, иностранные детективы — на вгиковском сленге, *Пробитый вагон*.

Долинский пускал всех, но у него была малоценная история советского кино. Он изумлял проносом:

— Держинский поехал в Тибилиси... Пьяная бариня в семье бёт приомную доч...

Актерское мастерство начал у нас Белокуров. Он задал придумать и изобразить этюд: сам блистательно показал, как пьяного за шиворот выводят из ресторана — вышел в дверь, дверь закрылась, — и больше мы Белокурова не видали.

Его заменили: а/ ниоткуда — прохиндей Бендер, всегда восторженно шерится; б/ из закрытого Камерного — тонная дама Сухоцкая (есть портрет Сарры Лебедевой). Предполагалось, что курирует их Хохлова, ассистент и жена Кулешова, ныне лицо без речей и Баба Яга без грима, в отдаленном прошлом — одна из прелестных серовских девочек Боткиных, во вгиковских легендах — великая эксцентрическая актриса (якобы приглашали в Голливуд).

Нас пичкали *Работой актера над собой*. Не помогало. Даже с помощью Станиславского такие, как я, с л у ч а й н ы е, то есть сразу после десятилетки, не умели придумать этюд, говорили на площадке заводным голосом, дико сучили руками и припечатывали подошвы.

Снять актерский зажим — дело очень возможное. Для этого есть много простых приемов и мелких уловок. Но никто из троицы педагогов не спешил нам помочь.

Весь первый курс я был в альянсе со случайным Лысенко — вчерашний школьник из того самого Красноярска, без особых способностей и, не будучи верхолазом, с ходу влетел на режиссерский.

Вместе мы ходили в трущобный район за Яузой — агитаторами, плюс — наблюдать жизнь.

Переулок из заборов, старая еврейка:

— Так вы ж скажите им, чтоб они лампочку в фонарь вкручивали — а то я так боюсь, так боюсь — Розочка ж поздно из техникума...

Длинный темный бревенчатый коридор, корова. В комнате под иконой большой фикус. Статный мрачный старик:

— Опять судей выбирать? Придем, придем. Только нам не судей, нам защитников нужно.

В день выборов ко ВГИКу приходили к шести утра целыми семьями, чтобы первыми, чтобы сфотографировали — может, поместят в газете, может, чего дадут...

Впервые я встречал Новый год не дома. В полночь хозяйка, третьекурсница, торжественно пригорюнилась:

— Давайте выпьем за того, кому труднее всех, кто сейчас не спит и думает, чтобы нам было еще лучше.

На втором семестре Кулешов задал сочинить и разыграть сценку. Условие: чтобы раскрывались черты нового в человеке.

Что такое черты нового, не объяснялось: каждый должен знать сам.

Я задумался. Лучший кондуктор г. Москвы, конечно, не в счет. Избиратели, спешившие голосовать первыми, выглядели как нищие. Тост за Сталина прозвучал неловко.

Ни на Капельском, ни на Большой Екатерининской, ни в Удельной, ни в школе, ни в институте, ни в трамвае, ни за Яузой я не видел черт нового. Я не обнаруживал их ни в ком из окружающих, даже в самом Кулешове.

На вступительном экзамене я рассудил, что от меня ждут верхолаза. Чего от меня ждут теперь? Мы с Лысенко долго сидели над пустотой и в конце концов высидели сюжет:

В колхозном инкубаторе градом побило стекла. Застеклить временно нечем. Два комсомольца на время крадут стекла из отчих окон.

Сочинить было все же проще, чем изобразить. Мы целый семестр вдвоем репетировали нашу муру, приходя в отчаяние от своей неспособности.

К нам заходили на полчаса-час старшие однокурсники, ф р о н т о в и к и, показывали, как держать в руках воображаемые стекла, как эффектной кормить цыплята.

Троица педагогов заглядывала на минуту. Хохлова безмолвствовала. Бендер шерился, Сухоцкая, мило улыбаясь, втыкала шпильку.

Хохлова спешила к Кулешову, Бендер — покурить. Сухоцкая — к н а р о д н ы м а р т и с т а м.

Мои сотоварищи по мастерской были явственно четырех категорий:

Н а р о д н ы е а р т и с т ы — Полока, Вехотко, примкнувший к ним Махнач и втершийся Родичев;

ф р о н т о в и к и — Фокин, Николаевский, Черный;

н а ц и о н а л ы и д е м о к р а т ы — Шахмалиева, Турусбекова, Абалов, Микалаускас, Дабашинскас, эстонец Ельцов, венгр Кашкете, поляк Зярник, какое-то время кореец Ли Ген Дин;

с л у ч а й н ы е — после десятилетки Ильинский, Лысенко, я.

В глаза народным артистом Кулешов (а за ним с готовностью Хохлова и Сухоцкая) звал Гену Полоку. Я так любил Кулешова, что меня это не корбило. Про Полоку же я сочинил весьма портретный стишок:

Познакомьтесь, братие, с Полокою,  
У Полоки глазки с поволокою,  
Двигается Полока с сутолокою,  
Говорит Полока с бестолокою.

Вслух не сказал, у Полоки действительно было пол-ока — опущение век.

Полока перешел из Щепкинского училища. Высокий, розовый, чисто одетый, он заторможенно вихлялся, вышагивал на полусогнутых. Говорил замедленно, с паузами:

— Понимаете... Когда я изучал... драматургию Чехова... — Затрудненный округлый жест от плеча, голова запрокинута, по лбу идут морщины, в муках формулируется мысль: — Отец... рассказывал... Он был на приеме... у Тито... Понимаете... Тито... Он сидел на троне... а справа и слева... лежали... немецкие овчарки...

Толя Вехотко вышел в народные артисты явочным порядком. Такой же длинный, как Полока, тоже чей-то сын, он перекантовался из ленинградской мореходки. От нее, очевидно, Вехоткины маньеризмы — хождение по струнке, резкие движения, отрывистость речи, подчеркнутые альвеолярные и идеальный пробор.

Примкнувший к ним Махнач — после десятилетки, но уже на колесиках — был бы смазлив, если бы — рытвинами по щекам — не искажала лицо улыбка.

Махнач истово служил н а р о д н ы м а р т и с т а м, и они свысока считали его своим.

Блудливая улыбка из-под дорогих очков, оправдания наперед, затаенная злобность, вежливая недоверчивость — это Родичев. В миг опасности, как черепаха, втягивает голову в корсет. Годы он пролежал в гипсе, обжираясь Шекспирами/Рафаэлями. Во всем современном видел *полив*, но первый из встреченных мной восхищался Хемингуэем.

Кулешов неустанно твердил, что после профессии летчика-испытателя самая вредная — кинорежиссер. Не знаю, что заставило его взять корсетного Родичева, которого он к тому же явно терпеть не мог.

И н а р о д н ы е а р т и с т ы с радостью отжили бы не своего эрудита, но что-то мешало, что-то доказывало его принадлежность касте, хотя сам он н а р о д н ы х а р т и с т о в не жаловал, якшался больше со старшекурсниками и неистово прогуливал, в совершенстве владея искусством проникать на просмотры.

Иногда я по старой памяти сочинял стихи. Забавно, что в привольной возвышенной новой жизни я, бывало, сбивался на газетное. Зато в творческом, то есть идеологическом вузе, откровенно продаваясь на занятиях, стихи — хорошо ли, худо ли — я писал только чистые, только высокие, только ради Искусства с большой буквы. Но кому я мог показать? Наименее неподходящим в мастерской был Родичев. Я показал — он растерялся, не знал, как быть со стихами, которые не лезут в государством поставленные ворота.

Первое задание по режиссуре — очерки о переломных моментах в жизни — почти призыв к самооговору.

Я во ВГИКе не раскрывал себя, инстинктивно таился. Умолчал про футуризм, *Хулио Хуренито*, н о в у ю ж и з н ь, прочтение Пастернака. Отделался вновь верхолазно — газетным. Сошло. На обсуждении похвалили.

Поляк Зярник написал, как он с девочкой Крысей бегал смотреть Варшавское восстание. Крысю тогда же убило.

Все молчали. Кулешов, отчаявшись, ткнул в меня. Я не мог угадать, чего от меня ждут, и испуганно понес:

— Непонятно, как матери отпускали детей, матерям должно было быть понятно, что восстание — антинародное...

Мне было совестно перед собой — не перед Зярником.

Простолюдин с гонором, он расхаживал гоголем, громко топя бутсами:

— Эц! Эц! Эц! А пачему в Варшаве муку прадают, а в Москве — нец?

— Хорошо еще, Ежи не знает, что в Будапеште двести пятьдесят зимних бассейнов, а в Москве — два, — шепнул Родичев.

У с л у ч а й н о г о Ильинского в очерке была фраза: *грузовик, груженный мужчинами*. На нее скопом набросились народные артисты.

— Это талантливо, — неожиданно пресек Кулешов. — У Ильинского получилось оригинально потому, что он так увидел. Не старайтесь оригинальничать! В Школе Живописи-Ваяния-Зодчества Келин дал нам писать женский портрет с натуры. Я сместил голову вправо — на холсте осталось пол-лица. Келин меня пробрал при всех — до сих пор помню. У Келина учился Маяковский — мы с ним еще тогда познакомились<sup>1</sup>. Ищите — и не стыдитесь, если вас назовут формалистом. Формализм — не сифилис, а однобокость — половина лица, как на моем портрете. От этого надо избавляться на людях, не таясь. Пойдете к реализму — придете в кинематограф. Если есть реализм, есть и монтаж. Монтаж не я выдумал — на нем стоит вся классическая литература.

И мы раскадровывали охоту из Анны Карениной, где молодая травинка прободает прошлогодний лист, и даже

Морозной пылью серебрится  
Его бровь воротник.

Второе задание по режиссуре — документальный очерк. Тема по собственному усмотрению.

Я выбрал что почище — консерваторию. Там мне официально дали от ворот поворот, но в коридоре я встретил парня, с которым летом сдавал на режиссерский, — и проник в запретную зону.

Общая аудитория. Посреди марксизма вдруг вопль и рывок к окну — раскрылась форточка: вокалисты боятся простуды.

Инструменталисты боятся физкультуры — затесаться на физкультуру мне, конечно, не удалось.

Фортепиано было знакомее других инструментов, и я пошел на урок к самому Нейгаузу. Если бы не представился, Генрих Густавович считал бы меня за очередного ученика. А так — он правой потряс мне руку, а левой вынул у меня из кармана книжку:

— Бела Балаш. *Искусство кино*. Хорошее лицо — как у музыканта. — И забыл о моем присутствии.

— Что вы делаете? — ужасался он на студентку. — Здесь лес и река! Ах, это чудно! Почему вы качаетесь? Сидите, как за столом! На рояле играть так просто! Это скрипач должен стоять и еще держать инструмент и еще играть!

Педагог Артоболовская привела вундеркинда Наседкина. Сын шофера в шесть-семь лет имел собрание сочинений, в том числе оперу по сказке Пушкина. Нейгауз работал с ним, как со взрослым.

Я написал много меньше, чем видел/слышал. Все же осталось достаточно много, и меня похвалили. Явно лучшие очерки были у народного артиста Вехотко — о сортировочной горке — и у ф р о н т о в и к а Черного — про таксомоторный парк.

На грозном экзамене после первого семестра комиссия должна была учесть наши очерки и просмотреть вымученные этюды. На площадке из общего неумения выделялись Полока и Вехотко. Заведомо лучше всех были Черный и венгр Кашкете.

Сильно вечером, уставшие до потери бдительности, мы не подслушивали у деканата.

Николаевский рвал на гитаре довоенное. Зярик, как позыбные, выстукивал на пианино свою единственную джазовую фразу. Фокин сорил х о ф м а м и. Черный разделся до трусов, залез на стол и, прикрывшись шкурой из реквизита, изобразил рубенсовскую *Шубку*.

Кулешов возвратился один — объявлять:

— Вехотко — отлично, Ельцов — отлично, Ильинский — отлично, Кашкете — отлично, Лысенко — отлично, Микалаускускус — отлично, Полока — отлично, Родичев — хорошо, Сергеев — отлично, Турусбекова — хорошо, Фокин — отлично, Черный — два...

<sup>1</sup>Кулешов родился в 1899 г.

Черный машинально поднялся, не ослышался ли:

— Простите, профессор...

— Не перебивайте меня!

Двойка — профнепригодность, автоматическое отчисление. Одного из самых способных. Фронтовика.

Назавтра Кулешов — для таких, как я — с нажимом:

— Причина отчисления Черного очень серьезная. Вспомните его очерк о встрече на Эльбе. Вы не почувствовали скрытую симпатию к американцам?

Год был пятьдесят второй, Черный был Марк.

Случай с Черным — сквозняк средней силы; можно надеяться, он обошелся без крови. Вообще сквозняки гуляли по ВГИКу все время.

Сквознячок на уровне быта. Общее комсомольское собрание. Главная б... из дома терпимости министра Александрова (до разоблачения осталось год-два) клеймит с трибуны жалкую плачущую однокурсницу — кого-то к себе привела в общежитие на Зачатьевском.

Сквознячок позлокачественнее. Чиаурели привез тепленький *Незабываемый 1919*. На другой день народный артист и комсорг Вехотко отвел меня в угол и настоятельно:

— Это ты допускал высказывания во время просмотра? Михаил Эдищерович сидел в заднем ряду и слышал. Ты ведь сидел сзади. Кто допускал высказывания?

Я не помнил, допускал я или не допускал, но на всякий случай начисто отказался.

Куда более опасный сквозняк. Венгр Кашкете всегда погружен в невеселые мысли. Говорил он мало. Держался возле народных артистов — похоже, потому что они были одеты почище и такие же рослые. В юности он что-то национализировал — за заслуги его и прислали в лучший и единственный в мире киноинститут.

Через семестр одаренный и работающий Кашкете, получив пятерку, запросился домой. Сам перестал ходить на занятия. Такой оплеухи лучший/единственный сроду не получал.

Наш объяснитель Кулешов отмалчивался. Венгры с других курсов послушно открыли грязьфронт:

— Там нехорошая женщина.

Ли Ген Дин, наоборот, отказался вернуться домой.

В середине учебного года в институте появились двое корейцев — на одно лицо и разят рыбой. За несколько недель рыба выветрилась, лица сделались разные. Ли Ген Дин — откровенный — признался, что поначалу мы все тоже выглядели на одно лицо.

Старшие братья, н а р о д н ы е артисты, пытали желтого гостя:

— Ли, Чехова ты читал?

— Столько! — он руками показывал метр.

— А Есенина?

— Столько! — обхват толстой книги.

По сравнению с Кореей в Эсэсэр было раздолье. Ли Ген Дину нравились мы, и он с удовольствием говорил — тихо, но правду:

— У Северной Кореи нет авиации. Только советские летчики.

— Китайцы — плохие солдаты. Мы их звали ленивые животные. — Мы бежим в атаку — всех уже убили. Или мы захватили — а они еще идут из окопов. В Восьмой армии Чжу Дэ были одни корейцы.

По счастью, Ли Ген Дина сквозняки обошли.

Из народной Кореи Ли Ген Дин сбежал в свободный Эсэсэр; из Эсэсера эстонец Ельцов сбежал в свободную Англию.

Он был гага avis<sup>1</sup>, эстонизованный русский, сын шахтера из Киви-Бли; от остальных эстонцев отличался только фамилией и безукоризненным двуязычием.

<sup>1</sup>Редкая птица (лат.).

Обидчиво-принципиальный, он, казалось, всюду искал выход своей раздраженной энергии.

От профкома надумал взвесить шницели, которые подавали в соседней столовой — своей в институте не было. Гомерический недовес позволил ему возмущаться открыто и громко.

Он участвовал в ликвидации смертоубийственного сквозняка.

Мастер третьего режиссерского Александров доконал щуплую невзрачную эстонку. Она грохнулась на пол в истерике:

— Нэнनावийсу! Нэнनावийсу! Нэ хассу пить здэсс! Хассу Калливутт! Калливутт!

Вгиговские эстонцы вовлеклись в тайную деятельность. Надо полагать, Александрову всем миром втолковали, что при огласке ему самому несдобровать. Дело замяли.

Сквозняк на уровне высшей меры наказания.

В большом просмотровом Родичев подвел меня к изящному третьекурснику:

— Это Миша Калик. Андрей, напой Мише *Всадники в небе*.

Через несколько дней Кулешов уселся в свое режиссерское кресло, положил очки на низенький столик, вынул большой красивый платок, вытер слезы, высморкался:

— Товарищи, произошло несчастье. В институте раскрыта банда американских шпионов во главе с Каликом и Черенцовым.

По Ельцову и Микалаускасу я заключил, что с прибалтами мне легче, чем со старосоветскими.

Микалаускасу было крепко за тридцать, он имел актерский стаж — играл даже в оккупацию. Мне выдал редкостный предвоенный анекдот:

— Из Германии в Литву прибежал еврей. Его спрашивают, как зовут. Он говорит: И.М. — Как И.М.? — Да так. Я был Изак Майер, но Гитлер отрезал мне Зак мит Айер.

В Литве у Микалаускаса были прозвища Йокугис — смехунчик — за легкий характер и Мокслининкас — ученый — за привычку читать на улице, на ходу. В Москве он был настоящий Рашиতোялис — писательчик, — ибо на лекциях, на переменках, в любые свободные десять минут он переводил на литовский текущую детскую литературу. На стипендию — двести двадцать — прожить было невысказано, родители помогать не могли.

Старики его жили под Каунасом, но в Каунас ни разу не ездили: не было дела. Они не поверили, что в Москве есть метро: если столько вырыли под землей, куда подевали вырытую землю?

Жемайтийские истории про родителей Витас не выдумывал: по природе не фантазер, из другой области — словотворец. С русским языком был в прелестнейших отношениях:

похлопывая себя по животу: — А у меня пуз есть;

растирая ноги после физкультуры: — Мыгищи болят;

как-то морг обозвал *трупарней* (есть у Игоря Северянина).

Я спрашивал, он радостно отвечал:

самое страшное литовское ругательство — рупуже (жаба); но есть и фольклорные три этажа — *бибис тау и аки* (в глаза). По моему наущению Витас сочинил *бибис тау и шикна* (в жопу) и великолепное по звучанию *бибис тау и бурна* (в рот).

Когда в мастерскую пришел Дабашинкас — отстал, год болел, — кто-то из народных артистов сразу ему в глаза: Бибишикнас. Он заморгал и вдруг с высоты своих двух метров восторженно грохнул, оскалась, как тигр.

Наши лингвистические упражнения увенчало царское слово. На лагерном сборе Махнач в остервенении завопил *бибижиндис!* — тотчас к нему, белобрысому, бросился белобрысый солдатик.

Лагерным сбором с первых дней нас запугивала военная кафедра в лице полковника Овчинникова.

Сроду не воевавший, неловко штатский, заземленно-хозяйственный, от бессилия злобы — почти добродушный, он то оправдывался перед нами, то, что-то вспомнив, усмехался и изрекал непонятное.

Опоздает на лекцию, объяснит:

— Крышу я крыл. Надо же крышу до заморозков покрыть?

На лекции после атомного удара на Мстибово вдруг, покряхтывая, облюбовывал кого-то из нас и почти ласково, ностальгически:

— Сирьге-ев, бу-удьте лошадью! — и не дожидаясь ответа, переходил на Липони-Дяки.

Разговорщику укоризненно:

— Лысенк', а вы — демокра-ат!

От укоризны к угрозам:

— Что я с вами гуманничать буду?

Распаяясь:

— Будете сами себе копать, дондеже не опупеешь!

Мы катили по улице Текстильщиков станковый пулемет, справа барачники комментировали:

— Пулемет Максим Горький.

Лучшие наши часы с полковником Овчинниковым на загаженном берегу Яузы.

Полковник Овчинников тянет себя за длинную верхнюю губу, исподлобья ищет взглядом. Нашел:

— Что вам, Фокин, закурить мне дать жалко?

— Вы какие предпочитаете, товарищ полковник?

Усмехаясь ноздрями:

— Чужие.

С особым чувством брал *Беломор*, — затянувшись, разглядывал, читал надпись, витал мыслями. Мы расспрашивали про кабанчика, или сколько нашинковал капусты, или где доставал толь на сарай.

Неожиданно полковник спохватывался:

— Что вы меня в идиотство вводите? Мне, конечно, на вас наплевать — хоть вы кверху задницей, — но я вас воспитывать должен. Я, конечно, себя недисциплинированно веду, но вы-то должны.

После весенней сессии мы были должны. У института нас погрузили в автобусы, на Москве-Товарной — в телячьи вагоны — и целые сутки тащили за двести километров.

Вялотекущее время, скученность и невеселое ожидание вызывали необычные для вگیковцев крамольные разговоры: своих фильмов шесть в год, дублируем покупные, снимаем одни фильмы-спектакли.

— Искусство в массы — все спектакли заснять, все театры закрыть.

— История советского кино делится на три периода: немой, звуковой и дубляжный.

Возникали общестуденческие песни — в институте их петь не подумали бы, я слышал почти впервые:

Я был батальонный разведчик,  
А он писаришка штабной  
Я был за отчизну ответчик.  
А ён спал с моёю женой...

Лагерь стоял на болоте, солома в матрацах — выдали мокрую — не просыхала все двадцать дней. Комары заедали сплошь и в кровь, от мошки ценные лица на р о д н ы х а р т и с т о в к утру становились подушками. Чтобы не нажить воспаления легких, мы с Микалаускасом спали, сцепившись локтями, спина к спине. Сменив поношенный ладный костюм на х/б б/у, он из сияющего европейца превратился в затруханного з/к, даже ссугулился и засеменял. Должно быть, глаза мои были красноречивы — Витас вскидывал брови и отвечал обольстительной жалкой улыбкой:

— Лучше, как в тюрьме, — скоро выпустят.

Природа воздавала закатами — таких красивых, как от ровика на опушке, я не видел ни до, ни после — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, — и все разлинованы тонкими серыми тучками.

Иногда курсант с газеткой или в газетке тихо опускал взрывпакет, и в божественные небеса на фекалиях взлетали зазевавшиеся орлы.

В учебном поле курсанты изощрались:

— Взво-од, бегом — ложись!

Полковники учили:

— И вошли мы в село, мать его, Сидорово.

После изнурительной обороны, наступления или — хуже того — маршброска с нас требовали строевую, да еще весело. Мы были вполголоса или громко заводили свое:

Желе-езная дорога  
Федулово — Москва!

И самое центровое и недопустимое — Киплинг!

День-ночь, день-ночь  
Мы идем по Африке...

С непривычки к говноедению Микалаускас исходил поносом. Маленький оператор — азербайджанец в столовой ел только хлеб и, тощая, держался на сгущенном какао из ларька — больше там ничего не было.

Картошку я видел один раз — когда за провинность получил наряд на кухню — чистить гнилую — для офицеров. За один присест я услышал, запомнил, записал — ровно сто анекдотов. Для примера годится любой из школьных. Вот позабористее:

В семье подрос сын. Отец дал ему пятерку на б... В коридоре сестра говорит ему: — Тебе не все равно, с кем? Мне пятерка нужна. — После она говорит: — А ты лучше, чем папа. — Мама мне то же самое говорила.

Время отдыха у нас заматывали.

В воскресный день мы благоустроивали стадион или маршировали в честь заезжего генерала.

В послеобеденный час нам показывали заржавленный танк пенсионного возраста или заставляли украшать территорию лозунгами:

**ОРУДУЙ ЛОПАТКОЙ, КАК ЛОЖКОЙ ЗА СТОЛОМ!**

Приходилось с а ч к о в а т ь. Предъявил сбитые ноги — полдня с сопровождающим курсантом на складе менял сапоги. То есть меняли их мы часа два, а потом на лоне природы сидели и молча курили. И на химии — оттянул на щеке маску, глотнул хлорацетофенона — после этого снова полдня по велению санчасти лежал на солнышке.

К природе я равнодушен. Надо было попасть в лагерь, чтобы в огромное мгновение покоя как событие переживать дерево, куст, поляну — не говоря уже о грандиозных закатах над ровиком. Это несмотря на то, что все протяжении сбора я жаждал одеревенеть: боялся снов — снились книги, не желал писем из дому — бередили.

В палатке фронтовик Николаевский на ночь делал зарубки: сколько прошло — сколько осталось.

Начали пропадать ружприборы: кто-то терял, а в конце надо сдавать.

Накануне откуда-то появилось спиртное.

Утром надсадно:

— Хр-тя, в пásледний раз — пáдь-ем!

Поезд нам позабыли подать. Предложили пождать на довольствии день-два.

На платформе Федулово мы с боем взяли тамбуры пассажирского. Ждали во Владимире оцепления, но нас только выгнали из дверей. Между двумя вагонами могут висеть шесть человек, седьмой, самый пьяный, сидит на корточках в середине. Кто-то на ходу швырнул взрывпакет в станционный базарчик. Железная дорога Федулово—Москва с приличной стоянкой во Владимире — всего шесть с небольшим часов.

На втором курсе понемногу приобщали.

Хохлова свозила нас на «Мосфильм». В высоком грязном сарае — запах сырого бетона и соллюкса — Ромм<sup>1</sup> снимал костюмный *Корабли штурмуют бастионы*. Для постановки света перед камерой часа два загорали ряженные статисты. Потом на двадцать рабочих минут появились леди Гамильтон (старая Кузьмина) и адмирал Нельсон (кажется, Ливанов). Ромм сидел в кресле и негромко дирижировал.

Хохлова сообщила, что Ромм единственный, кто не матерится на съемках. Вообще это нужно. Снимали *Кубанских казаков* — Сталин потребовал фотографию группы. Конец дня, все измочаленные. Пырьев построил. Фотограф навел; Пырьев сказал — Х...! — группа просияла, фотограф щелкнул.

Нас пригласили на защиту дипломов.

Янушкевич — *Лесорубы Прикарпатья*.

Абуладзе — *Композитор Палиашвили*.

Чхеидзе — *Центр-форвард Пайчадзе*.

Председатель — вальяжный, как оперный ксендз, живой классик Довженко — прямая длинная седина, прямые длинные жесты. Медлительно встал за стол комиссии перед экраном, попросил всех встать:

— Есть какой-то шарм в том, что когда преподаватели вошли, то студенты встали и сели.

На *Лесорубах*, своем ридном, он заиграл:

— У вас черно-белая лента, а не думали вы, что небо над плотогонами — гоголевских тонов? Не хотелось вам перенестись в две тысячи тридцатый год? Не хотелось вам плакать и волосы на себе рвать? Не хотелось на берегу поставить жилища и мать с дитем или девушку? Оператор вас не угнетал?

*Композитор Палиашвили* — гладенький интеллигентный, прошел без сучка, без задоринки. Не то *Центр-форвард Пайчадзе*.

— Лента у вас чересчур темпераментная, не по теме. Это же западная реклама. Футбольный начальник как столп отечества. Мысль простая, а узлов навязал...

Янушкевичу и Абуладзе по пятерке, Чхеидзе — за темперамент — четверку.

На режиссуре Кулешов предложил каждому сочинить и поставить одноактную пьесу — опять черты нового.

Я сочинил про нефтяников — понятия о них не имел.

По сравнению с другими семестрами я был на недостижимой для себя высоте. Хороших актеров мне как слуха и не полагалось, я вывел на площадку фронтоника Николаевского, второгодника Абалова и националку Турусбекову. Посвятил их в либретто и начал импровизировать, дирижируя карандашом. Я только задавал направление, а все трое актеров, сами того не ведая, превращали мои наброски в такой органичный текст, какого никто из нас на бумаге не высидел бы. Конечно, мура пребывала мурой, но, по крайности, было ловко и складно.

Три парты одна на другой — буровая. За ними Ежи Зярник ритмично постукивает ложкой по батарее — буровая заработала.

Из-за кулисы, бережно отирая руки грязной ветошкой, выходит Абалов — армянин, чем не нефтяник? Лунообразная, по-азиатски акающая Турусбекова создает некий кулер локаль.

Пуант: из неназываемого производственного романа я почерпнул, что проходку ведут непременно с глинистым раствором. Эрго, черта нового — без глинистого раствора.

Через месяц эстонец Ельцов показал в газете: нефтяники Башкирии впервые в мире бурили без гнилистого раствора.

На уровне мастеров ВГИК был юденфрай. И вдруг к осени пятьдесят второго Райзмуну дали набрать актерскую мастерскую. В одну из его студенток я и влюбился.

Познакомился без труда в трамвае: мордочка свеженькая, хорошенькая, такая хитренькая, будто всегда улыбается. Ей было лестно: режиссер, второкурсник и т.д.

Началась цепь истребления.

Меня перешиб режиссер-четверокурсник, румын Наги (трансильванский Надь).

<sup>1</sup> Произносилось: Ромэмэ, в отличие от Роёма.

Румына достаточно быстро затмил Копалин, сын Копалина, — свитер с оленями, деньги, квартира, машина, дача.

Выждал момент и взял свое райзмановский ассистент старикашка Шишков из МХАТа. В зимнюю сессию за неспособность грозили двойка и отчисление. Накануне экзамена она съездила на дом к Шишкову и получила четверку. Все происходило чересчур на виду. И я страдал на виду. Эстонец Ельцов признался, что на репетиции объяснил:

— На любимую девушку надо смотреть, как Сергеев на...

И я смел вздохнуть и на кого-то смотреть, когда рядом — с первых вгиковских дней — была милая верная Галька. Я в любую минуту мог набрать ее номер — она жила рядом, — и через четверть часа мы встречались у сто десятого отделения — даже если она стирала, мыла голову, помогала матери по хозяйству. Галька была с экономического, но понятий самых строгих, хороша собой до врубелевской изысканности и полупрозрачна от недоедания.

Мы шастали с ней по городу и глазели — скажем, на офицерские амуры перед ЦДКА. Сами целовались в любимом Ботаническом саду. Когда родители были в Удельной, заходили ко мне. Посещали *Форум*, *Уран*, *Перекон*. Напивались в коктейль-холле.

С ней было спасительно. Беда ее (моя/наша) — она чересчур хорошо, не скрывая, относилась ко мне.

В мастерской Кулешова имелись две девушки — на республиканских местах.

Дочь киргизского Маяковского (погиб на войне) Лиля Турусбекова, на русский взгляд некрасивая, была самого славного нрава. Получала от матери письма на институт к и н о м о т о г р а ф и и — показывала, смеялась. Рассказывала, что у них во Фрунзе дом в два этажа и большой сад. Приходило в голову: женись на ней — и всю жизнь живи в богатстве/почете и ничего не делай.

Красивенькую азербайджанку Шахмалиеву портила походка.

На вечере в Доме кино мне передали, что меня зовет Кулешов. Я полетел на крыльях. Кулешов сидел, уставясь в фужер. Хохлова меня огорошила:

— Шахмалиева много пьет. Скажите ей, чтобы она танцевала.

Я подошел к столику с народными артистами и сухо, как мог, передал:

— Лев Владимирович желает, чтобы Шахмалиева танцевала.

Ниоткуда — для пэттерна — выплыло слово ИН-ЯЗ: ф р о н т о в и к Николаевский женился на Диане Митрофановне Петуховой с французского.

На Козьякове мы с Фокиным обуримали народную свадьбу и преподнесли Николаевскому. Бывший лабух, чуть не плача, протянул Кулешову наш несчастный листок:

— Сергеев и Фокин про меня гадости сочиняют.

Мастерская хихикала. Кулешов воздвиг очки, прочел, еще раз просмотрел, постановил:

— Сергеев и Фокин, вы должны извиниться перед Николаевским.

Мы были готовы извиниться, но Кулешов уже сел на конька:

— В наше время любовь Ромео и Джульетты не актуальна. Она не состоялась потому, что не имела базиса, в ней не было производственных отношений. Кроме производственных в любви должны быть товарищеские отношения. Любовь — это тенденциозное соединение человеческих жизней, а не просто физиологическое становление человека. Не осознавая этого, человек может из-за любви пойти на преступление. Возьмите *Тараса Бульбу*. Андрий стал предателем потому, что утратил тенденцию. Разве мы можем сказать, что Андрий л ю б и л изменять родине?

Родичев прекрасно понимал разницу между конспектом и запкнижкой. Поэтому по-мефистофельски мне на ухо:

— Ты до сих пор в восторге от Льва Владимировича? Все благородство его — полив. Старый лис уже показал себя и еще покажет. Отец советского кино!

Я уже не был в восторге от Кулешова, но его *По закону* ставил не ниже всего, чем в истории советского кино восхищались.

Рассказывали, что его, формалиста, били смертным боем, а в тридцатых предложили совсем отказаться от съемок. Взамен — спокойная жизнь: доктор, профессор, кафедра. Больше всего ужасало, что он, по рассказам, подумал и согласился.

Периодически возникали слухи, что ему дают постановку. Слухи оставались слухами. Уборщица выносила из его кабинета пустые бутылки.

Сам он о себе все чаще:

— Когда мы зачинали советское кино... Мой ученик Эйзенштейн... Мой ученик Пудовкин... Мой ученик...

Или:

— Товарищи, я пишу историю мирового кино. Я хочу прочесть вам вступление: *Задолго до изобретения черно-белого кино, Ломоносовым были разработаны принципы цветного...*

В день смерти Сталина Кулешов явился с крепом на рукаве. Сел в свое режиссерское кресло, положил очки на низенький столик, вынул большой красивый носовой платок, вытер слезы, высморкался:

— Я — коммунист. Товарищи, все вы — коммунисты и беспартийные большевики. Мы должны жить, как Сталин. Поклянемся, что будем жить, как Сталин...

Мы встали. Кулешов предложил проект клятвы. В деканате, под надзором Хохлихи, двумя пальцами я отпечатал его на машинке — больше никто не умел. Мы все подписались.

Семестр мы мусолили тексты — инсценировка прозы, отрывок из пьесы.

Я захотел поставить горьковского *Озорника* — за яркость поступка. Должно быть, за это самое Кулешов не позволил. Тогда я предложил фрагмент *Парня из нашего города* — выигрышно на площадке и ясно, кому играть. Кулешов счел, что я запрашиваю не по чину хороших актеров, и опять не позволил.

Кончилось тем, что для спасения Шахмалиевой Кулешов разделил на три части некрасовскую *Осеннюю скуку*. Первая часть — Ильинскому, вторая мне, третья, по накатанному, — ей.

Чужая скучная выгородка. Чужой скучный ритм. Скучная пьеса скучно тянулась по внешним значениям слов. Я попробовал оживить, зайти за слова, найти парадокс. Кулешов не позволил **к о в е р к а т ь к л а с с и к у**.

На приемном, первом моем экзамене по режиссуре мы подслушивали комиссию. По пэттерну, первом моем экзамене по режиссуре мы подслушивали комиссию. По пэттерну, первом моем экзамене по режиссуре мы подслушивали комиссию. По пэттерну, первом моем экзамене по режиссуре мы подслушивали комиссию.

Назвали мою фамилию. Кто-то без энтузиазма:

— Отлично.

Голос Кулешова:

— Сергеевской работы там нет, все это сделал я.

В мастерской Кулешов читал отметки:

— Сергеев — четверка. Комиссия требовала тройку, я вас отстоял.

— Лев Владимирович, я ухожу из ВГИКа — вот заявление. — Я протянул еле просохший лист.

Я собирался уходить из ВГИКа после первого курса.

Эйфория первых недель прошла, и я обнаружил, что я здесь чужой и своим не стану — не того теста, не тем живу, не того хочу. Переломить себя не в состоянии. Во ВГИКе было не с кем поговорить о главном — напрямик и без опасений. В творческом вузе я старался не раскрывать себя, наоборот — скрывать. Я чувствовал, что второй раз взялся не за свое дело (первый была музыка).

Кулешов ошибся во мне — из меня не удалось *сделать что угодно*. Я ошибся в Кулешове. Ошибся во ВГИКе.

Ставил ли я свое, играл ли ролишки в чужих постановках, смотрел ли работы сотоварищей или старшекурсников, во мне нарастал финальный выклик Феди Протасова:

— Как вам не стыдно?

После первого курса Кулешов с Хохловой усадили меня в экзотический

открытый лимузин с блямбой румынского королевского автоклуба и прочувствованно отговорили:

— Такой талантливый.

После второго курса меня не отговаривали.

Кулешов выписал выпренную подорожную:

#### ХАРАКТЕРИСТИКА

на студента 2-го курса постановочного факультета (режиссерского отделения) Всесоюзного Государственного Института кинематографии А.Сергеева

Дана в Институт иностранных языков.

Тов. А.Сергеев в течение двухлетнего обучения во ВГИКе, в руководимой мною творческой мастерской — показал себя как культурный, дисциплинированный и усердный студент.

Тов. Сергеев по всем предметам получал отличные оценки, а по специальным (кинорежиссура и актерское мастерство) хорошие.

Тем не менее тов. Сергеев еще не проявил ярких творческих данных, как будущий кинорежиссер, и поэтому его желание перейти в Ваш Институт является вполне закономерным и с государственной точки зрения правильным.

Тов. Сергеев, хорошо и дисциплинированно занимаясь, вел и активную общественную работу в стенгазете режиссерского отделения. В политчасах тов. Сергеев принимал также активное участие, выступая с докладами и в обсуждениях.

Заслуженный Деятель  
Искусств, доктор искусствоведения  
профессор

Л.Кулешов

27 июня 1953 г.

Из ВГИКа выгоняли, сами оттуда не уходили. Изменить ВГИКу было почти тоже, что изменить родине/партии.

Когда осенью я пришел за справками, комсомольский босс сыренизировал: — Ну, ты — мужественный человек!

Гаденыш курсом младше в глаза прошипел: — Предатель.

Мои бывшие однокурсники поглядывали выжидательно: не иначе, Кулешов подвел серьезную базу. Заулыбались только Микалаускас и эстонец Ельцов. А Дабашинскас поднялся во весь двухметровый рост, оскалил тигровые зубы и обнял.

Никогда, ни потом — я не жалел, что ушел из ВГИКа.

P.S. Лет через десять в Коктебеле у Габричевских я увидел Кулешова с Хохловой. Когда я ушел, Кулешов спросил:

— Это Сергеев? Мы его так любили...

#### Лучшее время

Режиссерский возник из случайной книги. Переводческий — из объявления на заборе. Инязовский плакат на Второй Мещанской сулил стипендию вдвое больше вгиковской. Я подумал, что переводить стихи — занятие чистое, подходящее, я точно сумею.

На собеседовании декан Валентей увидел: отец в Тимирязевке, спросил, что происходит в академии, и вывел, что ИН-ЯЗу я подхожу.

ИН-ЯЗ мне тоже подошел. На фанерной перегородке было вырезано: VITA NOSTRA NONNA EST, над писсуаром нацарапано: QUI SCIT, PERDIT.

После социолога Валентея деканом стал испанец республиканец, летчик-бипланист Браво. Изображали, как он вспоминает:

— У меня коншились боеприпасы. Я подлетел к фашишту и штукнул его кулаком по шерепу.

Я подал ему долгий бюллетень, диагноз: ГИПЕРТОНИЯ, и попросил свободного посещения. Bravo любил орать, но укрощался, когда орали в ответ.

ИНЯЗ стал раздольем.

На грамматике вдохновенный Клаз убедил, что в языке — даже русском — необходим артикль, перфект, континьюос.

Майор Квасюк купался в военно-лингвистической непогрешимости:

— Инженерные войска?

— Корпс ов энджиниерз.

— Это трупы инженеров. Кор ов энджиниерз!

Квасюк возвышался до допроса военнопленного:

— Блиско не подпускать. Оружия на виду не класть. Американские военнос-лужащие атлетически развити!

Глава советской психологии профессор Артемьев обогащал запкнижку:

— Западные ученые клянутся, что видят под микроскопом гены. И они действительно их видят. Такова сила самовнушения.

Весной пятьдесят шестого нам зачитали закрытый доклад Хрущева.

Минимальные отклики на минимальный съезд. На политэкономии доцент Тарковский:

— Я эту кухню хорошо знаю! Я был в Ленинграде заместителем Вознесенского. Если бы я полгода не провалялся в инфаркте, меня расстреляли бы вместе с ним.

На семинаре кандидат Кочетков:

— Любимый лозунг Маркса: подвергай все сомнению! Ребята, сомневайтесь во всем, ничему не верьте!

Из престижного ВГИКа я спустился в обыкновенный ИН-ЯЗ. Из трудового Бауманского школьный друг Вадя скакнул в государственно-элитарное Востоковедение. Попасть туда — все равно что второй разродиться, объяснили ему — он поверил. Со мной он был прежний хороший Вадя, но я замечал в нем знакомое, вгиковское. Он дорожил принадлежностью к касте, лелеял ее обычаи — даже побоища после лекций. Мечтал об истории религии — и в охотку, с гадмильцами ловил педерастов в Сокольниках.

На Чапаевском у нас с мамой-папой по-прежнему была одна комната — попросторнее, чем на Капельском. В своем углу за ширмой я принимал гостей.

Вадя принес весть, что рядом, на Ново-Песчаной, живет интересный р е з - ч и к - э в е н о к. Это был — испорченный телефон — нищий обманутый Эрзя.

Вадя привел замечательного парня: студент Суриковского Эрик Булатов. Врубель — гениальный художник, как Микеланджело. Сам Бенуа признал, что недооценил его в первом издании. Из современных — Фаворский и Фальк.

Булатов сводил к Фальку. У Эрзи я впервые был в мастерской скульптора. У Фалька — в мастерской живописца. Приветливый, деликатный, он менял на мольберте холсты. Ранние — в русле течений. Поздние — мальчик, словно после ареста отца, апокалиптическая морковь или картошка — та самая жизнь, какой жили мы с детства.

В углу мастерской дамы щебетали о прекрасном пастернаковце Шаламове — сидел двадцать три года, теперь — подпольный поэт. Когда вышли, я сказал Ваде и Эрику, что по природе поэт не может быть подпольным — даже если его не печатают.

С Вадей я попал в дом на углу Алексея Толстого. Моложавая хозяйка, критик комсомольского пошиба — вот бы вспомнить фамилию! — перебирала книжечки:

— Вам чего погнилее? Мандельштам, Гумилев. Пастернака любите? Это пройдет. В ваши годы я сама увлекалась. Он же весь манерный, искусственный, деланный. Сейчас он написал роман — там героиня, гимназистка, принимает ванну после мужчины и беременеет.

По дружбе Вадя ввел меня в избранный крут востоковедов. Довольно терпимые, с курьезными фамилиями и курьезными идеями: гениальность мальтийских романтиков, мировое значение профессора Крымского...

У меня за ширмой и в ванной за сигаретой мы с Вадей сочинили роман — глав двадцать страниц на шесть. Гражданская война на Украине. Герои — мы с Вадей — посрамляем двух курьезных востоковедов. Нас били долго и нежно, стараясь не сделать больно.

Вадя докладывал:

— Видела девицу. Нестандартная. Прелесть. Тебе понравится. Взял телефон. Для тебя. — И стал заматывать номер. Я с барского плеча отвалил ему нетрудовую инязовскую сотню. Он по-востоковедчески принял и открыл телефон.

ВГИК не в счет, всю школу я разбивался о частокол дур. Каждая неквадратная фраза — не дай Бог, неказенные стихи — воспринимались как личное оскорбление.

Катька ловила все на лету. Ценила и мой ВГИК и уход из ВГИКа. Я писал ей стихи и спешил прочесть.

Она кончала десятилетку — кроме этого, я ничего не знал о ней наверняка. Мечтала о студии МХАТа, но собиралась ли поступать? Разговоры о дяде Дуне Дунаевском и тете графине Любови Орловой не имели отношения к действительности.

Слово за слово, мы меряли километры улиц. Встретиться нам было негде.

На день рождения она пригласила меня к себе в Перерву. За столом — МИМО, ВИИЯКА, Внешторг — кок, носик пуговкой, широкий галстук с тонким узлом, брючки лудочкой, толстые резные подошвы. Я изнывал от своей неуместности.

Чем-то я все же взял, и в награду Катька очень скоро призвала меня, когда родителей основательно не было дома. Я был так влюблен, что не набросился на нее.

Через какое-то время, получая отставку, я выслушал, что ей со мной было скучно.

Самый ранний приятель в ИНЯЗе — Игорь Можейко. Легкий человек, кое-какие стихи и остроумная проза.

За первый семестр я наслышался об институтской проклятой поэтессе Галке Андреевой. Говорили о ней гадости, знакомиться категорически не советовали. Строка *Объяснение в любви это несколько слов о дожде* решила вопрос. Я попросил Можейку, знавшего всех, свести меня с Галкой Андреевой.

Она не скрывала радости и тут же на переменке прочла одно из себя и одно из нового для меня Коли Шатрова. Пригласила к себе на Большую Бронную — в любой вечер.

Ни у кого не было своей комнаты, у Галки была, в коридорной системе, угловая, на последнем этаже:

*На шестом мансарда с окнами на запад.*

Когда я к ней зачастил, два-три десятка завсегдатаев из месяца в месяц уже сходились на огонек.

Первый тост со значением

— За тех, кто в море! — (*Чтоб они сдохли!* еще не возникло.)

Пили:

— За Россию в границах Ивана Третьего — тогда ей хоть управлять было можно.

— За культурную оккупацию — чтобы отучили лаяться и толкаться.

Мансарда не зря смотрела на Запад. Именно там виделось н о р м а л ь н о е о б щ е с т в о, противоположность нашему. Наше мы даже не обсуждали: предполагалось, что все ясно само собой.

Чем злей пропаганда кляла Запад, тем безоблачней и идеальней он представлялся. Подтверждение — книги, как довоенные, так и послесталинские — Ремарк, Хаксли, Дос Пассос, Хемингуэй, Стейнбек, Колдуэлл, недопереведенные Пруст и Джойс; в легендах маячили Кафка и Фолкнер.

Непонятно было, к а к прекрасный Запад уживается с ужасными н а м и. В

постыдных грезах не одному мне хотелось спросить кого-то из тамошних главных — Даллеса бы! — как они собираются освободить, вернуть к н о р м е Россию.

Заводилой на мансарде был Леня Чертков, из Библиотечного. Всегда оживленный, в избытке сил, фаллически устремленный.

— Такой плотный, такой веселый, я его боюсь, — изрекла одна из мансардских девиц.

Во времена, когда никто ничего не знал, Чертков перепахивал Ленинку, приносил бисерно исписанные обороты библиотечных требований и упоенно делился открытиями.

Благодаря ему мансарда оперировала такими редкостями, как Нарбут, Ходасевич, Вагинов, Оцуп, Нельдихен, Леонид Лавров, Заболоцкий, протообериут Аким Нахимов, ботаник Х (Чертков быстро раскрывал псевдоним: Чайанов).

Из классики и из любимого двадцатого века, сам изумляясь, подавал крупным планом:

— Что на Парнасе ты цыган. — Осолобительно!

— Все Аристотель врет — табак есть божество. — Табак есть божество!

— Колокольчик не пьет *костоломных* росинок. — А?

— Когда бы грек увидел наши игры! — !!!

Дома у Лени в тумбочке была база, своя фундаментальная библиотека, плод ежедневных хождений по букам. Всегда три десятка книг:

*Тихие песни и Кипарисовый ларец,*

*Огненный столп и Посмертные стихи,*

бежевый Манделъштам 1928 года,

*Аллилуия, Плоть и Александра Павловна,*

*Дикая порфира и Четырнадцать стихотворений,*

*Органное многоголосие, Золотое веретено,*

*Самовар, Тротуар, Версты,*

*Путем зерна и Тяжелая лира,*

первый том Хлебникова, первый том Маяковского,

*Зудесник,*

фисташковый Пастернак 1935 года (он под моим влиянием вытеснил коричне-  
вый однотомика Тихонова),

*Песнослов. В гостях у журавлей,*

*Форель разбивает лед. Опыты соединения слов посредством ритма,*

*Уплотнение жизни. Золотое сечение,*

*От романтиков до сюрреалистов,*

*Антология новой английской поэзии,*

*Поэты Америки, XX век.*

*Столбцы не попадались.*

На мансарде читали свое — новое и, по просьбе, старое: осуждали, в глаза разносили или превозносили.

Слушали гостей, главным образом, ленинградцев. За глаза обсуждали, осуждали их всех: рифмованные анекдотики.

Не обсуждали как несуществующих — с и с и п я т н и к о в (ССП) от Светлова и Твардовского до Евтушенко.

Раздражались на вездесущих к и р з я т н и к о в (военное поколение).

Мы сплетали узоры, выдавали резкие суждения, редкие сведения, новые слухи.

— Нравственно или не нравственно поступил врач в Смоленске — определил, что Исаковский — не слепорожденный, а минус тридцать? Нравственно: стихи Исаковский все равно бы писал. А славы слепому бы только прибавилось.

— *Повесть о Рыжем Мотеле* написал явно не Уткин. Откуда он взял еврейский кулёр? У него есть стихи *Мальчишку шлепнули в Иркутске*. Не иначе про настоящего автора...

— Ленин — жулик — с самого начала ни во что не верил.

— В него не Каплан стреляла, она ни черта не видела.

— Под Красной площадью институт, там его каждую ночь препарируют.

- Сталин был агентом охраны.
- Сталин был шестопал. В фотоальбоме к шестидесятилетию — тюремная анкета. Особые приметы: на такой-то ноге шесть пальцев.
- На Западе лежат дневники Горького — опубликовать через пятьдесят лет после смерти.
- Воспоминания Молотова там тоже лежат.
- В войну Молотов ездил через линию фронта на переговоры к Гитлеру.
- Олег Кошевой не погиб, а сейчас в Западной Германии, выступал по *Освобождению*.
- *Пти флер* — французы в сорок четвертом нашли ноты на стене камеры смертников.
- Берия хотел отдать ГДР Западу и под это устроить террор хуже сталинского.
- В Москве раскрыли секту самоубийц, молодежь. Каждый уговаривал двоих покончить с собой и сам кончал третьим.
- Китайское политбюро. Враг народа Жао Шу-ши — вылитый Каганович. Рекомендую — Дэн Сяо-пин, совсем без лба.

Леня доставал большую клеенчатую запкнижку. Мы с ним любили в клеточку за два пятнадцать:

— Из газет: депутаты Государственной думы Пуришкевич и Марков-Второй незамеченными пробрались на крышу нового германского посольства и для поддержания общественной благопристойности одели стоящие там обнаженные статуи в старые солдатские шинели, купленные на Мальцевском рынке. — В подтверждение снимок: ничего не разобрать. Назавтра: Поздравляем с первым апреля!

— Тоже из газет: Керенский — не Керенский, а Арон Кирбис, сын Геси Гельфман.

— На приеме в советском посольстве в сорок пятом Ремизов сидел рядом с Молотовым и рассказывал ему про чертиков. И капнул ему сметаной на брюки.

Из своей запкнижки я вычитывал мелочи:

Деревня Подстрочники,  
село Удосол,  
совхоз Шуйский.  
город Чирьев,  
царица Хавская,  
дирижер Сологуб,  
артезианская уборная,  
завод Красный Позвоночник,  
трест Несветайантрацит,  
публичный дом Порт-Артур.

Изредка пели — все:  
на мотив *Журавлей*:

В этом городе сонном, на краю этой ночи  
Третьи сутки не спит молодой диверсант...

Мы с Чертковым:  
на мотив *Двух солиди*: И опять полна контора коммунистов...  
на мотив *Индонезии*: Москва играет в демократию.

По дороге к метро Чертков, бывало, гулял. Раз на Галкиной лестнице, подняв ладони, ладно вбежал в окно и выставил раму. Через долгую минуту донесся грохот и звон стекла об асфальт. Не раз в ночных переулках движением сверху вниз, как кошка лапой, обламывал открытые форточки.

Время от времени Чертков ошарашивал мансарду резкими до людоедства балладами.

Но настоящий триумф его был летом 1955 года, когда он продемонстрировал поэму *Итоги*:

Нас всегда не хватает на эпилоги, —  
 В самой скучной точке земного шара  
 Уж который год мы подводим итоги  
 За бетонную стойкой последнего бара.

.....  
 Ты сумел бы, в тебе бы достало сноровки,  
 Повернувшись, уйти через поле и в лес.  
 Ты сумел бы ножом перерезать веревки  
 И сумел бы патроны проверить на вес.  
 Но ты сам виноват и не следует злиться.  
 Пусть просохнет от липкого флиппа нутро.  
 Ты шагаешь пустыми шагами убийцы  
 В полутемные арки пустого метро.

Последний бар — коктейль-холл на Горького, оазис Запада в серой пустыне Востока. И Чертков на короткий срок стал знаменитым поэтом коктейль-холла — достаточно громко и широко, и достаточно герметично: как мы имели возможность потом убедиться, текст поэмы не дошел до властей.

После разгона Востоковедения respectable друга Вадю отправили на гибель в МИМО, а незаможного Хромова — на спасение и даже славу в ИНЯЗ. Сын железнодорожного генерала Валентин Константинович (умолял, чтобы: Ксенофонтович) Хромов бочком и не без успеха протырился в поэзию. По дороге от люмпенпролетарского (Маяковский, Назым Хикмет) к корнесловному (Кириша Данилов, Хлебников) он явился на мансарду с прелестными примитивчиками:

Дети в кино пришли заранее:  
*Золотые яблоки* на экране.  
 И у входа семечки по рублю стакан  
 Продавал сопливый мальчуган.

Пройдя Маяковское ученичество и только-только дописавшись до самого себя, к нам присоединился Станислав Красовицкий.

Действительность он переживал еще острее, чем Чертков. Снежинки у него были парашютный десант; волны — радиоволны, по которым слушали сквозь глушилку; пыль мукомола — радиоактивные осадки.

Как поэт он встречал вызов лицом к лицу, как человек старался уйти, уклониться. Казалось, он даже не человек, а дух в мучительной человеческой оболочке.

Лето пятьдесят пятого — время чертковских *Итогов*. Зима пятьдесят пятого — пятьдесят шестого — осознание, что Стась — самый талантливый не только из нас, но и из всех, выдвинувшихся в пятидесятые. Его полюбили и деспотичный Чертков, и капризная Галка Андреева, и завистливый Хромов.

Из лучших воспоминаний: в институте на перемене, не касаясь паркета, подойдет ясный, подтянутый улыбающийся Красовицкий и смущенно протянет листок с неровными крупными буквами:

Самый страшный секрет  
 так бывает разжеван,  
 что почти понимаешь —  
 все про нас, про одних.  
 Рельсы были в пустые бутылки боржоми,  
 и проталкивал в тамбур  
 темноту проводник.

Я испытывал к Стасю сердечную привязанность, как ни к кому из мансардских. Он отвечал, как умел, ибо мимо даже ближайших друзей проходил по касательной. Казалось, он с радостью прошел бы мимо себя самого. Он видел себя невесело, улавливал внешнее, внутреннее и роковое сходство с Гоголем.

За Красовицким на мансарду пришел его школьный товарищ Олег Гриценко, здоровенный детина, студент Рыбного:

...когда народный заседатель  
трясет на лошади верхом...

— Вот у нас уже свой эпигон, — заключил Чертков.

Изначальный завсегдагай Коля Шатров — не собрат, скорее, конкурирующая инстанция. Наши стихи он неизменно ругал — искренне. Мы его — в отбред, по обязанности: не могли не признать одаренность:

Березка, русская березка,  
Ты, если выразить цветистей,  
Не девушка, а папироска,  
Окутанная дымом листьев.

Шатров как будто был сыном арбатского гомеопата Михина, очевидно, сосланного. Рассказывали, из Нижнего Тагила Коля прислал стихи Пастернаку. Тот вроде бы вытащил его в Москву, в Литинститут. Так или иначе, Шатров в стихах и речах ненавидел Пастернака лютейше:

— Жид, жид, жид! Он вещи любит. Он каждую дверную филенку, как называется, знает.

Сам Шатров обожал туманы, охи и ахи, Фофанова и Блока. Мы называли Колю Кикой, а проявления его — кикужеством. Чертков отнесся резко:

— Кика не Фофанов и не Блок, он Тиняков.

Хорошенький, женственный, выдавший виды Кика обольщал арбатских дам, а однажды, к вящему загустению нашей слюны, приворожил популярного пианиста и его молодую жену.

Я пунктирно имел взрослый роман с замужней. Стась пользовался взаимностью. Хром вздыхал. Лене хронически не везло. Раз в месяц блестящий, словно огурчик, он победоносно докладывал:

— А я сегодня польнул!

Вокруг дразнящей Галки Андреевой толклись, как комары. Ничего от нее не добивались. Один измученный разбежался получать у ее подруги. Она отказала, и он извергся ей на паркет:

— Грех падет на тебя!

Мы были предельно прозрачны. Надо думать, не только друг для друга. Очень уж на виду была наша мансарда. Невозможно представить, чтобы ею не интересовались. В своей среде мы за кого-то не поручились бы, кого-то подозревали вслух и — имели возможность потом убедиться — совсем не напрасно. Как мы ни развлекались, как ни веселились, нас не покидало разъедающее чувство опасности.

Чертков учил из чувства опасности делать стихи. По Черткову, чувство опасности открывает глаза на современность и дает меру вещей. Современность — *sine qua non* каждого порядочного стихотворения. Мера вещей с одной стороны приводит к *эпичности* (похвала), с другой — к *изгилу* (отдание должного).

Соответствующее этим критериям стихописание Чертков иногда называл *динамизмом* — то ли от динамичности как свойства или синонима современности, то ли от желания скрутить динамо в обществе, по отношению к которому он не чувствовал никаких обязательств.

На практике нашим девизом был Верлен/Пастернак:

Не церемонься с языком,  
Но выбирай слова с оплошкой —  
Всех лучше песни, где немножко  
И точность точно под хмельком.

*Наша антология**Леонид Чертков*

## Бродяга

Среди ночи выползу за овин  
 И солому стряхну с бороды, —  
 И тупо осклабится лунный блин  
 С небесной сковороды.  
     Под ногами, привыкшими к жесткости нар,  
     Шар земной повернется вспять, —  
     Мне небес не откроет лунный швейцар  
     И пиджак не поможет снять.  
 Мне условную каторгу даст Страшный суд,  
 Я забуду свои чердаки.  
 Мою душу бреднями растрясут  
 Звездные рыбаки.  
     По дорогам уснувшей смешной страны,  
     Где собор, как ночной колпак,  
     Я уйду поискать иной тишины,  
     И с горы просвистит мне рак.  
 Маяки метеоров на лунном стекле  
 И полночное уханье сов  
 Проведут меня темным путем по земле  
 И откроют лазейки миров.  
     Там не будет ни стен, ни дверей, ни окон,  
     А поля, канавы, кусты, —  
     И меня никогда не отыщет закон  
     За пределами лунной черты.

\* \* \*

Вот и все. Последняя ночь уходит,  
 Я еще на свободе, хоть пуст кошелек.  
 Я могу говорить о кино, о погоде, —  
 А бумаги свои я вчера еще сжег.  
     Я уверен в себе. У меня хватит наглости  
     Прокурору смеяться в глаза,  
     Я не стану просить заседательской жалости  
     И найду, что в последнем слове сказать.  
 Наплевать. Я давно в летаргической зоне,  
 Мне на что-то надеяться было бы зря:  
 У меня цыганка прочла на ладони  
 Концентрационные лагеря.  
     А другие? Один в потемках читает,  
     Этот ходит и курит, и так же она,  
     Да и что там гадать, откуда я знаю,  
     Может, каждый вот так же стоит у окна.  
 И никто, наверное, не ждет перемены,  
 И опять синяком затекает восток,  
 И я вижу, как незаметный военный  
 Подшивает мне в папку последний листок.

1955

Андрей Сергеев

Летние строфы

Под луной столбенели до неба голые сосны,  
 Птицы не уставали монетки в воде толочь.  
 Отшатываясь от заборов, пьяные пели косно,  
 Спешили со станции люди и пропадали в ночь.  
     До ближней звезды тянулась белого лая тропинка,  
     Свет на соседних дачах падал, желтел и чах.  
     А я играл втихомолку кукольным словом Нинка,  
     И руки спокойно спали на ее умытых плечах.

Учила верить в удачу замкнутая дорога,  
 Учила верить в мечту непроходимая темь —  
 В добрых горбатых деревьях скрыта фигура Бога,  
 Который пасет ночами своих влюбленных детей.  
     Гонит на запад тучи непостоянное лето,  
     Последние тучные нивы, плывущие через тьму.  
     Милые, дорогие, не вечно же лезть в поэты,  
     Когда ты с хорошей девчонкой, поэзия ни к чему.

Я снял очки и тут же споткнулся о чью-то руку.  
 В небе Большой Медведицей лег пешеходный мост,  
 И мимо деревьев, слившихся в одну сплошную разруху,  
 Невыразимо расейская фигура брела на пост.  
     Зывающий к вечной дружбе звал друга Борей и Витей,  
     Кто-то от нас в полметре калитку не мог никак  
     Осилить, и в этом мире, предельно лишенном событий,  
     Терпкая тривиальность перерастала в факт.

Дальние звуки радио из лагерей доносило,  
 Парочки шли навстречу и падали под обрыв,  
 — Не видели тут гусенка? — неожиданно спросила  
 Дымчатая старуха, выскочив, как нарыв.  
     В каждый атом поэзии лезла житейская проза.  
     С засученными рукавами, по пыльным путям земли  
     Луна не спеша месила зеленые сдобы навоза,  
     И в них ступали влюбленные, воры и патрули.

Где-то там, за горами день еще теплит хвоею,  
 И холод чуть подымается из грустной сырой травы.  
 Речная зеркальная нечисть овладевает ольхою,  
 И тянется над водою воинство без головы.  
     Теперь мы были у речки. Плыла по воде копейка,  
     Луна своим круглым глазом мешала из-за угла.  
     А мы сидели на нашей, на чьей-то старой скамейке  
     И грелись остатками за день растрченного тепла.

Мы узнавали ночь, где тени шагают по две...

.....  
 .....  
 .....

12—17/VII—55

В. Хромов

\* \* \*

Сперва всего пою отчизну:  
 О слава, слава, слава, Петя...  
 Как много слав в моей стране!  
 А наши радостные дети —  
 За них мы гибли на войне.  
 Эх-эх! Махорка, табачок, —  
 Станцуюем — и в окопчики!

Война, ребята, пустячок —  
 И танцевали хлопчики.  
 Пускай пижоны ходят в брючках —  
 А мы по-русски, как-нибудь...  
 О родина, возьми на ючки,  
 Что под лицом к тебе прильнуть  
 И обнимать поля и рощи,  
 Твои дубовые леса,  
 Где вышел из народной толщи  
 Изобретатель колеса.

1956

*Станислав Красовицкий*

\* \* \*

На пороге, где пляшет змея и земля —  
 кровавое дерево следа.  
 Я вижу, уходит через поля  
 немая фигура соседа.  
     А волны стоят в допотопном ряду,  
     и сеется пыль мукомола.  
     Старуха копается в желтом саду,  
     отвернутая от пола.  
 Что надо ей там?  
 Но приемник молчит,  
 и тихо,  
 по самому краю  
 уходит за море соседский бандит,  
 закутавшись тенью сарая.

\* \* \*

Еще одна абстрактная картина.  
 Мне нравится картины половина,  
 где мечется, не зная смерти, цель,  
 по ветру Гельсингфорс, как журавель,  
 где короли живут, пока не каплет,  
 где, лишь родившись, некрасивый Гамлет  
 играет в кинга, не найдет, чем крыть,  
 и ходит в парк Офелию топить.  
 А вы? А я лицо здесь вижу босса,  
 оно по-русски холодно и косо,  
 на отражение и тень его дробя,  
 я узнаю в нем будущих себя.  
 Пусть в изменение души никто не верит,  
 но котелок мои черты изменит,  
 к нему в придачу тросточку возьму, —  
 так старый дед мой хаживал в Крыму.  
 Он приезжал домой на трех лошадаках,  
 он был по-русски праведный и шаткий;  
 на первой трость, на третьей котелок,  
 а на второй и сам седой седок.  
 Вот путь, который для меня заказан.  
 Но почему не дед, а внук наказан?  
 Я жить хочу, ведь изо всех восьмью  
 я выбрал дом и частную семью.  
 А вы? А я? Что вы не увидели —  
 что здесь есть третья сторона медали.  
 И зная эту третью, Николая,  
 землею покрывается земля.

И нечего грустить и вспоминать  
 умершей дочери себя, отца и мать.  
 Ведь каждая любовь глядит назад,  
 и бука — бука дети говорят.

1956

*Олег Гриценко*

\* \* \*

Кто тронется в путь, а кто остается.  
 Не каждый себе при рождении дается,  
 Следы же стираются день ото дня,  
 Потом пропадают, в пыли затерявшись...  
 Одни умирают, себя не дождавшись,  
 А мы погибаем, себя не найдя.

*Николай Шатров*

Баллада улицы

Вечерет. Загудело радио  
 Во дворе, — вернее, радиола.  
 Ветром танца — спереди и сзади он  
 Раздувает девичьи подолы.  
 А при них, одетые по-летнему  
 Пареньки с развинченной походкой.  
 Пахнет потом, семечками, сплетнями,  
 Табаком, селедкой и водкой...  
 То плывут шульженковской голубкою,  
 То летят молдаванеску резким...  
 Лишь луна недвижна — льдинка хрупкая,  
 Танцевать ей незачем и не с кем.  
 С девственным презрением глядит она  
 В ломких целомудрия оковах,  
 Как сопят блаженно-невоспитанно  
 Нянюшки в объятых участковых...  
 Из окошка женский крик доносится.  
 Сыплются тарелки, чашки, блюда...  
 Там кому-то дали в переносицу,  
 Там поют, — там плачут — там смеются...  
 Вы с сестрой попреками напичканы,  
 А куда прикажете деваться?  
 Молодость уходит с электричками —  
 18, 19, 20...  
 Говорят, «дороги вам открытые».  
 «Все дано», «учитесь не ленитесь».  
 Но одна тоскует Аэлитой,  
 А другая спит и видит Гитис.  
 Но до Марса дальше, чем до полюса,  
 В институте ж столько заявлений...  
 А когда-то ты бродила по лесу  
 До зари в каком-то ослепленьи.  
 Все казалось счастьем — и глаза его,  
 Упоенные ее любовью,  
 И рассвета огненное зарево,  
 И оранжевые пятна крови...  
 А теперь укладываешь локоны  
 И с сестрой хихикаешь про встречи...  
 Хорошо, что не читали Блока вы,  
 Девушки, сторевшие, как свечи.

О, поверьте! Это все отплатится.  
 Каждая слезинка отольется;  
 И тайком застиранное платье,  
 И ребеночек на дне колодца...  
 Будет день и вы пред Богом станете —  
 Те, кто мучился, и те, кто мучил.  
 И он скажет «Всех держу я в памяти,  
 Берегу для доли неминучей...  
 Душно мне от ваших скудных повестей,  
 Давшему земное изобилье.  
 Отвечайте, души, мне по совести,  
 Для чего вы жили и любили?!»

11/VI—54

Г. Андреева

\* \* \*

Вот и прожили мы свои вечера,  
 К песням старым возврата нет.  
 На свиданье в девятом часу утра  
 Так невесело ехать мне.  
     И так скучно на улицах в ранний час,  
     Здесь никто ни с кем не знаком.  
     И никто не подымет усталых глаз,  
     Каждый думает о своем.  
 Здесь у всех озабоченный грустный вид  
 И у всех невеселый взгляд.  
 И куда-то каждый привычно спешит  
 И никто ничему не рад.  
     Всюду скука, и этому нет границ,  
     Пусто все, за что ни возьмись,  
     Вереницу больных равнодушных лиц  
     Эскалатор уносит вниз.  
 А внизу там только шум поездов  
 И безвкусно нарядный зал.  
 И не видно улыбок, не слышно слов —  
 Обреченно-тихий вокзал.  
     Почему так безрадостно по утрам,  
     Почему здесь нет красоты?  
     Этот город подсказывает нам  
     Обреченность нашей мечты.

21/I—55

Галка Андреева была проклятой поэтессой на фоне сросшихся с многотиражкой и самодеятельностью. Главный из них Павел Грушко работал под веселого комсомольского простака и писал под Гусева с непринужденными чертами нового:

...был спущен один  
 совсем молодой завмаг...  
 ...он нудную кильку отправил назад  
 и трудную семгу завез...  
 ...он требовал нежные туши свиной  
 взамен залежалых консерв...

В литобъединении подхалтуривал всклокоченный, с эполетами перхоти, в почерневшей украинской рубашке, неистовый Гришка Левин, Дантон из Конотопа (определение Светлова). Душу Гришка вкладывал в ЦДКЖ, где почитался самой просвещенностью и благородством. Мы всей мансардой раз ходили в ЦДКЖ: все там — от Челнокова и Бялосинской до Окуджавы с комсомольской богиней и комиссарами в пыльных шлемах были для нас неприкрытой казенщиной.

Документ.

Обсуждаются стихи студента переводческого ф-та А. Сергеева и студентки ф-та франц. языка Г. Андреевой. После чтения стихов авторами первым выступил С. Красовицкий.

В стихах Сергеева — сказал он, — чувствуется дух времени... Некоторые упрекают Сергеева в несовременности. Чем дальше то, о чем пишет поэт, тем больше современности в его произведениях... Сергеев создает образ в кульминационном моменте... Сергеев наследует мировые традиции!

Ерасов: — У Сергеева много недоработок. Надо отдать должное — культура стиха Сергеева высока, но в его творчестве присутствует излишняя эстетичность... Сергеев должен развивать свои тенденции...

Выступает гость — член литобъединения ЦДКЖ Юрий Лучанский:

— Нужно ли писать и читать для камерного круга слушателей? В стихах Сергеева не чувствуется взволнованности, хотя присутствует большая культура письма... Мало поэтической мысли. Стихи Андреевой пока случайны, она не любила того героя, который присутствует в ее стихах. Значит — стихи не состоялись. Это стихи о получувствах.

Лазарева: — Стихи Гали я знаю пять лет. Я считаю, что это не случайно, что она пишет. Стихи глубоко лиричны. Верно то, что они дают печальное настроение... Все одно и то же, одинаковые люди, одинаковые глаза... Это — интимный уголок. Надо связывать стихи с жизнью... Большим достижением Гали Андреевой я считаю хорошую форму ее стихов.

Грушко: — Сергеев заумно отражает действительность, умышленно заумно. Он стремится к отвлеченным образам, в лексике стиха заметно постоянное стремление автора выбрать «непростое» слово. В стихах Сергеева мало современности... Чувствуется недостаточная работа над стихами, часто встречается слабая и плохая рифмы... Мне нравятся стихи Андреевой. В них много чувства. Но Андреева должна стремиться к тому, чтобы разнообразить тематику, и пользоваться не только темными красками.

Хромов: — Стихи Андреевой мне понравились за их интонацию, связанную с содержанием. Она хорошо передает оттенки словом.

Михельсон: — У Андреевой не темные краски, а тоска по светлomu! У Сергеева большая жизненная драма!

Сергеев: — Я не хочу упрощаться. С моей рифмой я согласен.

В конце занятия выступил руков. литобъединения Г. М. Левин:

— Самую суть сказал, пожалуй, Лучанский. Главное — это культура мысли, а культура слова — производное. Сергеев делает наоборот. Он должен расшифровывать свои мысли. В стихах Сергеева многое от поэты. Трудно бывает иногда поэту отделить от себя самого, но сделать это необходимо. Гале Андреевой, на мой взгляд, нужно избавляться от мнимой простоты...

Записал П. Грушко

Нам требовалась вентиляция. Мансарда — это прекрасно, но мансарды нам не хватало. Даже на таком полицейском литобъединении мы проветривались энергичнее. Нести наши стихи в редакции было бы беспредметно и неосмотрительно.

Оставалось показать себя тем, кого мы любили и ценили, — или хотя бы тем, кто хоть как-то связывал с прекрасными временами поэтических направлений.

Пастернака я постарался увидеть еще до мансарды. Свести меня с ним было некому. Осенью пятьдесят третьего я ему позвонил.

— Вы понимаете, я же для вас ничего не могу сделать...

Делать для меня ничего не требовалось.

— Извините меня, Бога ради, я безумно, безумно занят. Позвоните, пожалуйста, ста, через два месяца.

Голос в трубке подтвердил, что в Пастернаке я не ошибся. Я был по горло сыт фразами о его манерности, искусственности, деланности. Гудение сразу убеждало в неподдельности.

Я не принял его слова за деликатный отказ и через два месяца позвонил. И снова моляба позвонить через два месяца. Весной он сдался:

— Приходите, пожалуйста, только у меня ужасно мало времени. На полчаса — хорошо?

Дверь открыл сам, оглядел с головы до ног, уважительно поощрил;

— А вы молодец — добились все-таки.

В крохотном кабинетике мы уселись колени в колени. Я прочел несколько стихотворений. В ответ — гениальная защитная формула:

— Ну вот, теперь я с вами знаком лучше, чем если бы я вас много лет знал.

И затем часа на полтора самоперебивающийся восторженный монолог:

— Мир огромен, а жизнь человеческая коротка. Из этого рождается метафора.

— Рильке — это удивительно. Рильке — пассивный урбанист. У него старые девы, кошки. И проза. Поэт должен писать прозу. Нельзя есть в рифму, спать в рифму.

— Блок умер от психастении, от невозможности жить. Говорят, Верлен не писал. А проза Блока — это дважды Блок — и какой Блок!

— Хлебниковым я никогда не интересовался. По-моему, Есенин и то интереснее.

— Маяковский был обворожительный — знаете, как бывают женщины обворожительные. У него в ранних стихах вещи сами себя называют. Потом это пропало. В двадцатые годы, знаете, Андрей Белый там, ЛЕФ решили, что литература — это только приемы. И многие поверили. Вот и получился Леонид Леонов: читаешь — прекрасно, а чего-то главного нет. Как, знаете, бывает модернизм худшей воды — Хикмет, Элюар — сплошная пуста.

— Когда настоящий художник накладывает руку, остается отпечаток краски, а когда Ромен Роллан или Андре Жид — там еще и грязь.

— Илья Григорьевич — мой друг, но *Оттенель* я не читал. Я знаю, многие о ней говорят.

— Какой-нибудь забор, окрашенный в приятный, ласкающий глаз колер, — это гораздо важнее, чем даже то, что меня напечатали.

— Поэт не обязан плыть против течения. Это выходит само. Но это не должно превращаться в трагедию...

Я был у Пастернака в Лаврушинском, Чертков года через два — в Переделкине — и оказался на большей высоте:

— Такой хороший! Такой хороший! Говорит: почитайте стихи, а я говорю: как-нибудь в другой раз. Что впечатление портить?

Что-то мешало нам позвонить Заболоцкому. По очереди мы послали ему стихи почтой. Через несколько дней каждый читал ответ мелким отчетливым почерком:

18 января 1956 г. т. Хромов

Я получил и прочитал Ваши стихи. Они производят впечатление очень молодых и несовершенных опытов человека, которого не устраивают средние более или менее общепринятые стихотворные нормы, который ищет своих способов выражения, но поиски эти пока еще ни к чему существенному не приводят, а иногда граничат со старыми чудачествами молодых футуристов, так что и новизна их вызывает сомнение...

16 февраля 1956

т. Сергеев, если я не ошибаюсь, Вы — поэт одаренный и интересный; об этом говорят тут и там прорывающиеся куски истинной поэзии. Но Вы еще едва ли мастер, так как сильно грешите и в части языка, и в образе и композиции...

По временам чувствуется стремление к нарочитости. Советую Вам сравнить старые книги Пастернака с его военными стихами и послевоенными: «На ранних поездках», «Земной простор». Последние стихи — это, конечно, лучшее из всего, что он написал; пропала нарочитость, а ведь Пастернак остался — подумайте об этом, это пример поучительный...

25 февр. 1956

т. Красовицкий, я прочитал Ваши стихи, и они мне, по правде говоря, не очень понравились. Они невнятные, малосодержательны и композиция их представляется мне сомнительной, если вообще есть у них композиция. Кажется, у них нет ни начала, ни середины, ни конца; их можно почти в любом месте начать и в любом кончить. Благодаря такой аморфности, элементы образа приобретают

самоценность и иногда они не лишены своеобразной выразительности. Но образ, который не служит ни мысли, ни более широкому образу, но является лишь образом «вообще» — что же это такое?..

16 апреля 1956. т. Чертков,  
из трех присланных Вами стихотворений до меня дошло только второе — «О рубке дров», но и в нем много неясностей и неточностей смысла. Два других стихотворения настолько невняты, что до сознания не доходят. Оригинальность не в том заключается, чтобы писать невнятно, а в том, чтобы явления и предметы изображать по-своему, со своей точки зрения, но в доступной до человеческого восприятия форме...

Мы, конечно же, ожидали похвал, но не огорчились: если Заболоцкому поздний Пастернак милее раннего...

Близкое к похвале получил я. И я тотчас же позвонил.

Заболоцкий выслушал благодарность и сказал:

— Приезжайте.

Лицо с застывшим изумлением, вытянутая верхняя губа. Прозрачность аквариума в стерильно блестящей комнате. Видно, что хозяин куда-то не ходит, и никто у него не бывает. И от этого ощущение основополагающего неблагополучия. Как и от сознания, что несравненный, особый поэт пытается опроститься, писать, как люди, по правилам. И заклинательно отрешивается от молодого ослепительного себя и подгоняет обернутские стихи под обязательную обыкновенность.

Я бывал у него редко, но регулярно. Он не задавал вопросов и не сообщал новостей. Мы садились за круглый стол в архаической мизансцене учителя — ученика. Я доставал свое. Николай Алексеевич хмыкал, указывал карандашом, изредка произносил степенную фразу во славу разума. Его раздражала нецеремонность с языком и слова с оплошкой. На благо ли, во вред ли, он убедил меня рифмовать точно, о п р я т н о, и призвал соблюдать грамматику.

Под конец он читал вслух свое новое и — раза два, неожиданно — старое, молодое. От него я впервые услышал *Цирк* — и хохотал, а он смущенно и радостно улыбался.

Асеев — вылитый репинский Иван Грозный, только прилизанный. Пытался мэтрствовать, хорохорился передо мной и Чертковым:

— Вы, молодые люди, наелись острых блюд. Учитесь ценить Баратынского!

— Диккенсовские образы — это же Гоголь!

— Кирсанов не может, у него ножки коротенькие.

— Перед войной. Я только получил Сталинскую премию. Приходит Ксюша Некрасова и говорит: — Николай Николаевич, вы же знаете, что Сталин — палач. Почему вы об этом не скажете? Если скажете вы — все услышат. — Я ей говорю: — Бог с тобой, что ты несешь, на тебе трешку, уходи скорее.

— Ко мне и шпион немецкий приходил, мог убить.

— Володя не писал поэму *Плохо*. Сами судите:

Жезлом правит, чтоб направо шел,  
Пойду направо, очень хорошо.

Володя же всегда говорил:

Кто там шагает правой?  
Левой, левой, левой!

*Хорошо* это и есть *Плохо*. Надо уметь прочитать.

— Хорошие мы были ребята: Велимир, Володя, я, Вася Каменский, Алеша Крученых...

Бывший хороший парень Крученых явился при нас и объявил, что сегодня ему семьдесят.

— Буррлюк — отэц рроссыйского футуррызма, йа — ммать.

Он опрокинул солонку в свой стакан и обосновал:

— У мменя йэсть кнѳга экатеррынинских врэмѳн. В ней сказззанно: сахар йэсть соль.

Асеев потребовал к чаю селедку. Потом попросил:

— Алеша, почитай молодым людям, они же не слышали.

— Пад твайу отвэтствѳнность!

Покобенившись, Круч вдруг взлетел к потолку:

Люббаххарры, блюдаххарры,  
Губбайтэ вын сочлыввоэ соччэньйэ!.. —

Асеев едва поспевал за ним:

— Алеша, осторожно — там люстра... там зеркало!

Впечатление было острейшее. Впервые я понял, что Крученых — поэт непридуманный.

Он жил во дворе *Живописи-Ваяния-Зодчества* в коммуналке, в маленькой захлавленной комнате. Тупой свет дня сквозь сроду не мытые окна. Посреди комнаты — посыпанная ДДТ плошкинская куча. Для подходящего клиента из кучи, с полка, из-под кровати извлекалась нужная книга или автограф. Неподходящему отказывал:

— Йа нэ знайу, что гдэ. Надо ыскать, а у мэня час врэмэни стойит пять доллáроу. Мнэ нэвыгодно ымэтэ с вами дэло.

Нас слушать не стал:

— Йа знайу, как тэперь пышут маладдыйэ пайэты.

Наметанным взглядом выделил Красовицкого — предложил сочинить в альбом стихи в честь его, Крученыха.

Гриценко захотел его послушать. Круч парировал:

— Нэт ныччэго прощче! Слэддытэ за аффышшамы. Буду выступать в Полытэхниччэском — прыходытэ и слушайтэ!

У Асеева в дверном проеме вдруг вырос провинциальный кабинет-портрет начала века: дородный усатый дядя в костюме, во весь рост. Это был Слуцкий, самый настырный из всех кирзятников. Встречался в каждом буке, обсматривал подпольных художников, обслушивал непечатных поэтов. Заинтересовался нами. Мы не скрывали враждебности — за комиссарство, за материализм, за работу на понижение. Все же, он единственный из военных — послевоенных официальных поэтов, с кем у нас были регулярные отношения.

На моей памяти он сменил несколько амплуа. Тогдашнее — добрый человек из Харькова.

— Вы сегодня ели? Деньги у вас есть — хоть рубль?

Разговор со Слуцким — вопросы/ответы:

— Это правда, что вы называете нас кирзятниками?

— Правда.

— Как вы относитесь к Двадцатому съезду?

— Никак.

— Вы не считаете, что Евтушенко отнял у вас часть славы?

— В го́лову не приходило.

— Вы хоть раз, хоть когда носили стихи в издательство?

— Зачем?

Иногда Слуцкий цитировал прекрасности из Винокурова, Гудзенко, Наровчатова; хвалил Колю Глазкова, Левитанского, Володю Львова, Корнилова; кажется, Самойлова.

— Счастливый человек Слуцкий, — сказал Чертков, — живет среди стольких талантливых поэтов.

Изрекал Слуцкий удивительное:

— Я причисляю себя к революционным поэтам. Для меня безграмотное большинство дороже, чем просвещенное меньшинство.

— Мартынов — поэт класса Ахматовой и Цветаевой. У Мартынова я понимаю все, у Пастернака — не все.

— Красовицкого вы выдумали. Он открыл дверь, которая никуда не ведет. У вас

у всех жульничество, у Красовицкого — искренне. Добротное безумие — его единственное достоинство.

Иногда Слуцкий попадал в цель:

- Паустовский — хороший плохой писатель.
- *Некрасивую девочку* можно придумать.
- Реабилитированные способны изменить климат в обществе.

Реабилитированных мы видели мало. Как-то не было повода. Интересовал нас разве Шаламов — тот самый пастернаковец, о котором говорили у Фалька. К Шаламову на Гоголевский меня отвела старая поэтесса Вера Николаевна Клюева, преподаватель ИНЯЗа.

Мы попили чаю, поговорили о поэзии — другого не трогали, — почитали стихи. Шаламов ужасно понравился, стихи его — нет.

У него была поразительная встречаемость. В городе, в буках издалека — широченная сияющая улыбка, всплеск рук и медвежье пожатие, остаток той силищи, что вытащила на Колыме.

Постоянный эпитет вновь обретенного Леонида Мартынова — своеобразный. Чертков перефразировал: лучший, своеобразнейший поэт нашей эпохи.

Мы ценили два-три его стихотворения из довоенного и послевоенного сборников.

Мартынов жил на Десятой Сокольнической в трущобе, ход через кухню со стиркой. В сырой распаренной комнате стопки книг на полу плащмя, на столе в сталинской стеклянной салатнице — гора нарезанного зеленого лука и на ней апельсин: оборона от вирусов. Хозяин улыбался лицом — варежкой, не глазами.

Он радуется поэтическому оживлению: старые поэты стали писать по-новому. Как хороши новый Пастернак, новый Асеев, новый Луговской, новый Заболоцкий!

Заболоцкий мог бы сказать подобное от неблагополучия, в Мартынове угадывалось недоброжелательство.

Из нас он выделил Хромова, пара сочувственных слов Черткову, обошел Красовицкого, мне сказал:

- Может быть, вы станете мемуаристом...

Сквозь толпу и милицию Слуцкий провел нас в музей Маяковского на заезжего Бурлюка. Пауцище-атлет, старческие заклепки на лысине, отец российского футуризма выкрикивал:

— Римляне говорили: если у тебя нет друга — купи его! И я стал давать Володе пятьдесят копеек в день...

— Я поставил Володю продавать и автографировать книги. Без автографа том — пять долларов, с автографом — двадцать! Я делал на Володе доллары...

Еще были Кирсанов, Коля Глазков, репатриант Ладинский...

По-студенчески мы пугешествовали.

Летом пятьдесят четвертого с Можейкой ездили в Ленинград — Нарву — Таллин. Смотреть и видеть еще не умеем. Что говорить, если на м не по н р а в и л а с ь Э с т о н и я!

Летом пятьдесят пятого с Чертковым махнули в Крым. В вагоне — по Черткову, *дом принудительной вентиляции* — готовились к грядущим впечатлениям:

Мелкою мошью в глазу мельтеша,  
Я те положу: Не колушь палаша!  
Синие гусары, палаш не имбирь.  
Крымские татары идут в Сибирь.  
Крымские татары — бровь до ушей, —  
Синие гусары их бьют взашей.

В Феодосии Леня уверенно привел меня в новенький, с патио, дом колхозника. Мы пили на рынке молдавский сухой мускат, валялись на пляже. Я вошел в море впервые — оно выталкивало.

Над пляжем, за ногорезной железной дорогой стоял дом-музей Айвазовского. Я раскрыл книгу отзывов и вынул запяжничку.

«Великий русский марионист. Зеркало русского флота. *Подводники*».

«Просмотрел картины Айвазовского. Считаю что-то сверх естественное. Смотришь на картину море забывается где находится, хочется бросить в воду камешек. *Панфилов*».

«Уходя на трудную и опасную работу, я вдохновляюсь картинами Айвазовского. Думаю, это мне поможет. *Майор Семенов*».

— Пират, — определил Чертков.

Экскурсионным автобусом без приключений прокатились: Южный берег — Ай-Петри — Бахчисарай. В Старом Крыму нашли домик Грина.

Я знал, что Чертков нацелен на Коктебель, но удивился, что он договаривается на две недели.

Хозяйки-болгарки самовольно вернулись домой из ссылки. Жили как придется, курортников не было. Наши рубли — доход, да купить на них нечего. Кормили нас помидорами, молоком, хлебом — сказочный хлеб сами пекли в кирпичной печи перед домом.

Основная часть жителей — белорусы переселенцы. В каменной коктебельской глине сажали картошку, нарадоваться не могли на вечные лапти из виноградной лозы.

Как в старину, кино в сарайчике показывали одним проектором. Каково смотреть с перекурами *Плату за страх* с нагнетанием и взрывающимися грузовиками!

Грузовики летели с обрывов и в Коктебеле. Их гоняли заключенные, бендеры. На бешеной скорости они пронеслись из зоны через поселок. Выбоины на дороге были точно воронки от взрывов.

Первым делом требовалось найти дом Волошина. Болгарки по-соседски знали Марию Степановну, советовали прямо идти — единственный дом у моря.

У ворот мы заколебались: *Будинок творчости*.

Мария Степановна лечит зубы в Феодосии. По дому и мастерской — голова царицы Танах, акварели, стеллажи, раковины — нас интеллигентно и литературно провела Елизавета Ауэрбах (устные рассказы). С вышки сориентировала на местности.

Перед отъездом я, как на грех, слег — коктебельская желудочная лихорадка. К Марии Степановне Леня ходил один. Вернулся в восторге:

— Мировая старуха! Усадила за чай, обо всем рассказывала открытым текстом. Потом говорит: вам, наверно, интересно библиотеку посмотреть — вы пойдите. Я хожу — один, — могу что хошь отчудить — уда ли! — но нельзя: мировая старуха!

Под влиянием Коктебеля, как все, я начал писать стихи. Вольные вариации на эллинско-евангельские темы. В мае я впервые прочел Евангелие.

Здесь на горах над морем я пытался проповедовать Евангелие Черткову. Семена падали при дороге.

Я изобрел перспективное китайское имя Ху Эр. Герой с таким именем должен быть пикарескным. Что-то вроде б е н д е р ы, подневольный с грузовиком. Водитель Ху Эр.

Но главной темой самых увлекательных за всю нашу дружбу разговоров стали *Необычайные похождения генерала Морозова во время одной мировой войны, или Новый Онан Дойль*. Генерал — удельнинский Шурка Морозов. В немислимых перипетиях обширного — на три тома — романа участвовали:

Сам Морозов и его семья,  
его враг и завистник нищий Петр Подадут,  
вечный жид Исидор Сидорович Чистяков,  
поэты-динамисты А и Б,  
декан Валентей,  
руководящий товарищ Х,  
полковник Быгин,  
мобилизованный Аугустус Конопляускас,  
военно-обоженный рядовой Куприян,  
санитарка Тамарка Лазарева,

Карп Ворошилов,  
 незабвенный Фомич и его дочь Олимпиада Фоминична,  
 несправедливо осужденный Африкан Ерасов,  
 его сын — предатель Павлик Ерасов,  
 послы Верхней и Нижней Белоруссии гг. Ворвашена и Вовкулака,  
 первый среди равных Яков Волкопялов,  
 раввин Циолковский,  
 китайские товарищи,  
 степные эстонцы кочевники,  
 трудолюбивые квасюки,  
 командир Вуд,  
 сисипятник Лубянский,  
 гениальный художник д-р Фальк,  
 Иудушка Калинин и множество прочих реальных и вымышленных персонажей.

Действие развивалось в Свободной Эстляндской губернии и на оккупированной Аляске, в столице нашей родины городе Куйбышеве и в нищей разбомбленной Москве, в нелепом Израиле и в рабовладельческом государстве квасюков.

Мы опустошали запяжки, истощали накопленные наблюдения и остроты. Писали главами порознь, читали друг другу — бешено веселились. Прочли Красовицкому — он сказал, что ничего лучше не слышал.

Пятьдесят пятый — не только время чертковских *Итогов*.

Я отчудил у Можейки и нервно-политизованно переводил Фредерика Прокоша. Имел на мансарде мгновенный успех. Чертков раскрыл передо мной *Поэты Америки, XX век* и пальцем ткнул в Роберта Фроста. Я внял и сделал первый свой перевод из Фроста.

Засочинялись рассказы. Образец:

#### Отовсюду

Учащиеся третьего ремесленного училища города Соликамска готовят к Шестому всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве интересный подарок — настольные часы из пластилина.

Рассказы тоже дружно понравились.

Летом в Удельной я довершил коктебельские *Апокрифы* и написал *Летние строфы*. К 31 декабря у меня были готовы *Зимние строфы*.

Вечером у метро Арбатская я прочел их Черткову. Чертков не реагировал. Мы шли на Сивцев Вражек к Можейке встречать Новый год. Там Леня тяжело избил не понравившегося гостя.

Ночевали мы у Черткова на Собачьей Площадке. Когда улеглись, Леня сказал, что его сегодня таскали в Большой дом. Предупреждали. Угроза материализовалась. Я долго ворочался и слышал, как Леня сквозь сон проговорил:

— Мы еще вернемся за подснежниками...

Предупрежденный Чертков жил, как непредупрежденный. Не замер, говорил и писал что хотел. По-прежнему просветительствовал. Он переписал в Ленинке, я перепечатал и переплел ненаходимые *Столбцы* и журнальное *Торжество земледелия*. К нему я прибавил неопубликованные варианты и неизданные стихи из альбомчика Веры Николаевны Ключевой. Мы выпустили бы и по Хармсу и Олейникову, но не хватало на книжку. Зато такого же, как Заболоцкий, я сделал Ходасевича. — Слуцкий дал *Европейскую ночь*. В голову не приходило, что это и есть изготовление, хранение и распространение плюс группа.

По-прежнему мы ходили в Скрябинку слушать живьем Софроницкого и в записи — новую музыку. Были в консерватории на камерном оркестре Штросса и на единственном выступлении оркестра Большого театра (Мелик-Пашаев, *Четвертая* Брамса).

Пошли на премьеру квинтета Волконского. В Малом зале присутствовал весь

бомонд — от Козловского до Фалька. После квинтета, ошарашенные, мы бродили по улицам и спрашивали друг друга:

— А мы чем можем ответить? Есть у нас хоть что-то такого же класса?

Летом пятьдесят шестого мы втроем с Красовицким поехали на Кижы.

В Петрозаводске в ресторане *Лохьола* пьяный поэт Николай Щербаков проклинал судьбу:

— Коля Заболоцкий был рыжий и злой. Он взял у меня трубку — английская трубка, — а его посадили. Трубка пропала. В сорок первом я попал в плен, и Твардовский украл у меня идею: Василий Теркин. Это же я придумал. Если бы я не попал в плен...

На Кижях при закате каждая травинка стояла отдельно. Трое с ружьями проводили нас неодобрительным взглядом. Прекрасные двухэтажные избы почти все заколочены.

Хозяйки рассказывали:

— Трое с ружьями, куторы на вас глаза вывалили — председатель, бригадир и милиционер. Что не так — по улкам стреляют. У войну финны усех у город вывезли. Все там и остались. Народ задикался. Домов много пустых. Покупают их и увозят на мандеры. Дом — вусемьсот рублей. Погост рабочие пять ли лет поновляют. Главы крыть — лемехи нужно, а их резать умеет удин старичок досюльный. На лодучке приезжает. Посла умериканского привозили. Рабочих заперли, сказали не выходить. А сюда пустили песню и пляску с города. Трактор завели — палатку свалили, чтоб посол чего не увидел. Нунько за всем в магазин на мандеры. У кого теличка, кто рыбку на крючок подмолит. А суп йисть — с войны забыли. Раньше мы были богатые...

За бутылку, с нами же и распитую, сторож пустил нас в двадцатидвуглавую Преображенскую церковь. Пили мы натошак, и фигуры в иконостасе зашевелились.

— Может, так и надо, — предположил Чертков.

Трое — это два и один. Один был я — и поделом.

Весной на литобъединении обсуждали Красовицкого. Я готовил аргументированную хвалебную речь. В коридоре за час-два сказал Стасю:

— Не подведем!

Подвел — я, да еще как. Не знаю, что на меня нашло. Вдруг подумалось: а стихи у него корявые. Чужие слова — торчат. Рифмы хромают. Целые строки — строкозаполнители. Много Мандельштама и обериутов. Образы разношерстные, плохо увязаны между собой и т. д. К обсуждению я был уверен — стихи никуда не годятся. И сказал это не в доверительном разговоре, а вслух перед врагами. Осчастливленный Гришка Левин воспарил до доноса:

— Я всегда говорил, что мы должны ненавидеть этот город, который заговорил петуха. Такие стихи мог писать Володя Сафонов из *Дня второго!*

К ночи или наутро туман рассеялся. Как теперь смотреть в глаза Стасю, как будет он смотреть на меня? Но он, человек формы, сделал вид, что ничего не случилось. Стихи он писал свои самые лучшие.

Я ушел в себя, сидел дома. Вяло складывалось беззвучное, блеклое — читать никому не хотелось.

Попереволил для печати. Не шикарную Америку/Англию века — в издательствах были сплошь народы Эсэсэр и народная демократия. Слуцкий выделил мне что почище — демократические подстрочники. Чертков узнал — взбеленился. Он был прав: весной я предал Стасю, сейчас — нашу общую заповедь, бескорыстие.

Венгерские события мы не могли пережить порознь:

— В Будапеште горит музей. Там Брейгель!

После Венгрии мы с Леней полдня бродили по задворкам Ново-Песчаной. Он был на пределе, говорил то ли мне, то ли себе, то ли на ветер:

— Поплясать на портрете! Может, за это и жизнь отдать стоит?

— Там, где поезд поближе к финской границе, — прыгнуть и напролом...

В Суэцкий кризис у себя, в Библиотечном, он на собрании крикнул:

— Студенты должны сдавать сессию, а не спасать царя египетского!

На даче Шкловского он разгулился. Шкловский ринулся его перегуливать и

замитинговал на крик. Серафима Густавовна ушла от греха. Может быть, дача прослушивалась.

Ни с чего мне начал названивать один из курьезных востоковедов. Зазывал в компанию, в ресторан, в театр, на девочек.

Эрик Булатов, участник голодного бунта в Суриковском, сказал мне, что его таскают. Расспрашивали про меня. Под ударом — Чертков.

Я вызвонил Леню, мы встретились. Изложил, не ссылаясь на источник. В сумерки, в снегопад мы долго ходили по центру. Я не мог отделаться от ощущения, что за нами все время следует заснеженная фигура, то женская, то мужская.

Поздно вечером одиннадцатого января мне позвонила одна из мансардских девиц:

— Леня не у тебя? Такой ужас! Такой ужас! Меня вызывали на Лубянку, спрашивали про Леню. Я не знаю, что говорила. Надо предупредить. Если он позвонит...

Черткова арестовали 12 января 1957 года.

Ханс Бёрли

## НЕПОСТИЖИМЫЙ СВЕТ

С норвежского

Перевод и вступительное слово Андрея Графова



Ханс Бёрли — один из наиболее известных поэтов Норвегии. Он родился в 1918 году и с детских лет до самой старости работал лесорубом. «Все эти годы я работал в лесу как каторжный и в то же время написал шестнадцать поэтических сборников», — вспоминает Бёрли. В одном из его интервью есть такие слова: «Лес — это та действительность, которую я знаю. От леса я получал все, что мне было необходимо для поддержания жизни. Он

питал и меня, и мое творчество». В своих стихотворениях о природе Ханс Бёрли нередко выступает и как религиозный мыслитель.

Многие стихи Бёрли переведены на русский язык. Он — один из шести авторов, чье творчество представлено в сборнике «Из современной норвежской поэзии» (М., 1987). Все стихотворения, вошедшие в эту подборку, переводятся на русский впервые.

### Бывает

Бывает так:  
на лесной тропинке  
я вдруг чувствую,  
что кто-то на меня смотрит.

Не на меня одного,  
а на всё, с чем я связан:  
на полет ветра меж соснами,  
на муравья, ползущего с иголкой,  
на нестерпимый блеск воды в заливе,  
на всё...

Бездонный дружеский взгляд  
струится внутрь вещей,  
не удивляясь.  
Этот взгляд проникает в лес и в меня —  
безмятежный и вечный,  
знающий и неусыпный.  
Так глядит с вышки лесник,  
берегущий лес от пожара.

И во мне рождается ответ,  
не выразимый словами.

### *Ветреной ночью*

Ты слышишь белые жалобы Вселенной?  
Они — словно крик гибнущей в бурю птицы  
за снежной пеленою.

Снег,  
как бесслезная мировая скорбь,  
осаждает твой дом,  
прося у тебя избавленья.

В этой большой одинокой стуже  
всё ищет ТЕБЯ. Гляди:  
голодный ребенок,  
чьи глаза — как расплавленный свинец,  
и обреченная чайка,  
чьи перья осквернены нефтью,  
и планеты во тьме,  
забытые вдали от Солнца, —  
всё с надеждой тянется  
к маленькому огоньку —  
к тебе.

### *Руны*

Верхушки елей тонкими ветвями  
вырезают зеленые руны  
на холодной голубизне  
западного небосклона.

Нам не прочесть письма елей.  
И хорошо, ведь сердца понимают  
лишь неизъяснимое.

### *Думаешь, это — всё?*

Плоть, материя, вещи —  
думаешь, это — Всё?  
Нет, все это — лишь пепел,  
белесая зола,  
скрывающая живой огонь Духа  
короткой ночью  
между двумя вечностями,  
двумя безднами непостижимого света.

### *Микенская ваза*

Защищена музейной стеною  
от уличного гуденья,  
она стоит за стеклом — и возникает  
в моем сознании  
как зыбкое воспоминанье.  
Микенская ваза —  
далекая и тихая,  
словно неяркая фиалка,  
найденная осенним вечером за горами.

Но в вазе таится страшное напряжение:  
уже три тысячи лет плавным изгибом  
она обнимает свое содержимое —  
вечность,  
плененную вечность,  
что жаждет воссоединиться  
с туманностью Ориона,  
с тенью тростинки,  
с руками,  
из глины слепившими вазу  
и ставшими глиной.

### *Перья*

В лесу мне часто попадаются перья  
сойки, рябчика, вальдшнепа —  
светлые и легкие,  
как утренние тучки в марте.

Но вот окровавленные перья —  
работа ястреба.  
А вот — перья на вересковом кусте,  
чуть вздрагивающие на ветру.  
Самые красивые я уношу домой —  
для той, которая ждет меня  
и, сдвинув занавеску,  
с волнением вглядывается  
в неотвратимые сумерки.

Она осторожно разберет мои находки,  
и на стене над календарем  
вспыхнет веер из перьев —  
радуга, крыло мечты и надежды  
над нашими сумеречными днями.

### *Бездомный*

Пустынные рассветные небеса  
световым снегопадом смыты.  
Лишь Млечный Путь неясно мерцает,  
как припорошенные следы великана.

Следы эти так одиноки, бездомны...  
Кто мог их оставить? Лишь Тот, чей взор печальный,  
взор усталый и древний прикован к планете,  
от начала избранной из звездного праха.

Вот Он стоит во тьме, посреди Вселенной,  
словно попрошайка на перекрестке ночью.  
И как тусклые фонари горят безучастные звезды.

### *В ноябре*

В ноябре лесные шорохи черны.  
Я сам слышал их черноту.  
Оставь же дома на полке  
свою маленькую белую надежду,  
отправляясь в лес в ноябре.

### Слово песни

Позвякивают колокольчики.  
Караван снов бредет  
своим древним путем, пересекая  
неприветливый континент жизни.  
Верблюды сна медленно идут к закату.  
На них — тюки с павлиньими перьями и шелком,  
безделушки из утренних стран, божки из храмов.  
Колокольчики позвякивают среди дюн —  
там, внизу, а здесь, в небесах, пилот  
гремящим сердцем таранит звуковой барьер  
и чувствует: сердце обратилось в лед,  
замерло в пустоте, где еще живет  
Слово Песни.

*Зоя Масленикова*

## ЛИТОВСКИЙ семисвечник



### *Свеча первая. «Снимите часы, Фанасевна»*

Той зимой я серьезно заболела. Не сразу установили верный диагноз, но наконец стали правильно лечить, и я потихоньку выкарабкивалась. Однако сердечная недостаточность никак не проходила.

Однажды в черемушкинской хрущобе меня навестила Маша. Она недавно вернулась из Литвы и взахлеб рассказывала о патере Вергилиусе, у которого гостила несколько дней.

Посмотрела-посмотрела Маша, как я с трудом передвигаюсь по дому, и вдруг заявила:

— Все! Мы едем с вами к патеру. Вы у него мигом поправитесь!

— Маша, вы с ума сошли! Для меня проблема до булочной дойти.

Но неукротимому Машиному натиску противостоять было невозможно. Через два дня мы вышли из поезда на перрон захолустного литовского вокзальчика. Чтобы добраться до хутора, где жил\*Машин знакомый, надо было еще полтора часа ехать в автобусе, а потом четыре километра идти пешком по раскисшей проселочной дороге. Нечего было и думать проделать такой путь в моем плачевном состоянии. Маша уговорила таксиста подкинуть нас за десятку до места.

Справа и слева потянулись бело-черные, как сороки, мартовские поля, огороженные стенками из ледниковых валунов. Изредка попадались высокие деревянные кресты с крохотными металлическими распятиями. Мелькали типовые поселки, перелески, брошенные хутора.

Наконец свернули с разбитого шоссе на проселок. Маша попросила остановить машину, и мы подошли к нескладной древней капличке. На толстый кривой столб было водружено нечто вроде неуклюжего фонаря без стекол с грубо вырезанными и аляповато раскрашенными коротконогими фигурами: Иезус, Дева Мария, святой Франциск и Георгий-Победоносец в алом плаще на белом коне, похожем на большую собаку. Мы перекрестились по-православному на это великопепие и поехали дальше.

Такси внезапно остановилось перед чугунной оградой костела. Это было серое прямоугольное здание с двускатной железной крышей без всяких украшений, если не считать небольшого креста. Высокий мужчина в ватнике и грязных сапогах обкалывал лед с фундамента и откидывал его лопатой вместе с крупно зернистым весенним снегом. Увидев такси, бросил лопату и не спеша направился к нам.

— Это патер или его рабочий? — шепотом спросила я Машу.

— Патер, патер, — почему-то с возмущением прошипела Маша, с радостной улыбкой вылезла навстречу и представила меня, не дожидаясь, пока я расплачусь с таксистом.

— Здравствуйте, Света. Вы опять приехали?

— Я не Света, я Маша, — сказала моя спутница, густо покраснев.

Патер взял из багажника мою сумку и повел нас за угол рассевшегося бревенча-

\* Это невыдуманные истории. Изменены лишь имена некоторых действующих лиц.

того сруба. Он объяснил, что сегодня у него «санитарный день» — раз в месяц женщина из поселка производит в доме генеральную уборку, сейчас как раз моет гостевую половину, и там нетоплено.

По-русски он говорил бегло, но с сильным акцентом и не совсем правильно, порой вставлял польские слова. Как позже выяснилось, он неплохо владел одиннадцатью языками. Не буду пытаться передать его своеобразный говор, переложу его речь на обычный русский язык.

— Вы, Света, пойдите со мной, поможете с уборкой, затопим печь. А вы, Фанасевна, отдохните пока в моей келье.

— Да я тоже хочу помочь!

— Нет, вам не надо.

Патер повесил мое пальто в прихожей, принес меховые тапочки и через просторную кухню, с полу до потолка увешанную медной утварью, провел в свою комнату. Придвинул деревянное кресло к горячей изразцовой печке и оставил одну.

Я огляделась. Стены были бревенчатые, слегка обтесанные и проложенные паклей. Узкая деревянная кровать с плоской подушкой была накрыта домотканым покрывалом. Над ней висели распятие в терновом венце, коричневая грубошерстная ряса с капюшоном и белая веревка, которой подпоясываются францисканские монахи. В комнате был еще непокрытый стол, две-три табуретки и этажерка со старыми требниками в черных кожаных переплетах. Некрашенные чистые полы были застланы светлыми деревенскими половиками. Три окна напротив печки выходили в глубокий овраг, на дне которого струилась речка. Единственным современным предметом в келье был дорогой заграничный приемник.

Патер в своем толстом домашней вязки свитере споро и бесшумно двигался по дому. Носил дрова, ведра с водой, между делом приготовил обед, накрыл стол и придвинул его к моему креслу.

Обедали втроем. Несмотря на Великий Пост, в том году почти совпавший у католиков и православных, отец Вергилиус поставил на стол обливной горшок с жирным мясом и картошкой и щедро наложил нам с Машей горячей еды в коричневые глубокие миски. Сам он ел мало.

Патер расспрашивал Машу о нашем духовнике отце Александре, которого называл «московской весной», о востоковеде Юре, первым из москвичей попавшем полтора года назад в это захолустье. Обсуждалось Юрино намерение эмигрировать в Канаду. Казалось, он и взгляда в мою сторону не кинул. И вдруг неожиданно сказал:

— Снимите часы, Фанасевна.

— Как, отец Вергилиус, как это снять часы?

— А на что они вам? Вы хотите ходить на мессу?

— Ну конечно!

— Я вас буду за полчаса предупреждать, вы успеете подготовиться. К завтраку и обеду буду вас звать. Я не ужинаю. Ужинайте сегодня и завтра вдвоем со Светой, а послезавтра она уедет, тогда будете ужинать одна, когда захотите. Живите здесь долго и забудьте про время. Часы больше не заводите.

Я послушно сняла часы, которые не снимала ни днем ни ночью, и сунула их в карман кофты.

Откуда он мог знать, что я больна? Внешне это не было заметно. Как догадался, что моя уже не первая сердечная болезнь связана с неправильным отношением ко времени? С десяти лет мною владело нечто вроде психоза: я почти физически ощущала неукротимый бег мгновений. В момент засыпания меня пронзало острое чувство потери еще одного дня и возникала бессонница с мучительным кружением бесплодных сожалений. С детства я состязалась со временем наперегонки и в каждый час, как в слишком маленький чемодан, набивала все больше уроков, упражнений, занятий. И сердце не выдерживало. Забегу вперед и скажу, что через семнадцать дней я уехала с хутора навсегда исцеленной от этого наваждения.

Но, быть может, патер каждому советовал с утра обдумывать, чего можно сегодня не делать? Ничуть не бывало. Вслед за мной его посетил способный, но безалаберный молодой художник Толя. В первый же день патер сказал ему:

— Толя, будильник!

— Какой будильник, отец?

— У вас в груди должен громко тикать будильник, вы всегда должны знать, который час, чем вы заняты, когда кончите это дело, когда начнете следующее.

Вернувшись, Толя в считанные дни завершил дипломную работу, которую считал безнадежно проваленной, а потом стал процветающим книжным графиком и никогда не подводил со сроками свои издательства.

А Маша тогда обиделась на патера: и в первый приезд он выпроводил ее на третий день, и сейчас тоже назначил отъезд на послезавтра. Да еще упорно называл Светой, как бы ее не признавая, не принимая к себе. И было это не случайно, ведь Маша под любым предлогом сбегает из дому, где семеро ее полугодных музыкальных детишек вечно пиликают — кто на скрипке, кто на кларнете, кто на арфе — и сороятся из-за единственного старенького пианино.

Гостевая половина состояла из двух комнат. В первой, побольше, стояли две самодельные кровати, стол, стулья, кованные сундуки с постельным бельем, подушками и лоскутными одеялами. От круглой железной печки с коленчатой трубой тянуло жаром и дымком, а от груды поленьев пахло, как в лесу, сосновой смолой.

Отсюда дверь вела в маленькую комнатку с жарко пылавшим камином и стеллажом до потолка, набитым книгами. Узкий деревянный диванчик на ночь превращался в кровать. Столик у окна, выходящего в овраг, уютно приглашал к неспешной работе. Комнатка, увешанная благочестивыми гравюрами, сразу мне гляннулась. Я и рта не успела открыть, как патер тут же распорядился:

— Вы, Фанасевна, здесь живите, а Света пусть ночует в той комнате. Отдыхайте, попозже я зайду за вами, покажу вам костел. — Достал из сундука постельные принадлежности и ушел.

Часа через два он постучал в дверь. В первый момент я его не узнала. Его ладную сухошавую фигуру с широкими плечами облегла наглухо застегнутая черная сутана до пят, одна рука перебирала четки, другая держала огромный ключ от костела. Наш уютный заботливый хозяин превратился в строгого служителя Бога Всевышнего.

Войдя в храм, он преклонил одно колено и окропил себя святой водой из чаши.

На трех престолах, застланных белоснежными вышитыми покрывалами семисвечники с увесистыми свечами. На центральном Дароносица испускала стрелами золотые металлические лучи и на подставке стояла напрестольная латинская Библия. За алтарем висело серое, растрескавшееся от времени распятие, главная святыня костела. Всякий раз, проходя перед Дароносицей, патер преклонял колено.

Из узких высоких окон на скамьи с плюпитрами, отполированные многими поколениями прихожан, падали сквозь витражи с сине-красно-желтой мозаикой предвечерние лучи солнца.

Стены украшали натуралистические жестокие картины с изображением «стаций», четырнадцати эпизодов Страстей Христовых. Между стациями стояли скульптуры Иезуса, Девы Марии и католических святых. Они были раскрашены в три цвета: сиреневый, бледно-зеленый и желтый. Только сердца Иезуса и Марии, нарисованные прямо поверх одеяний, а также подкладки хитонов и плащей пылали красным суриком. Из-под потолка на нас взирало страшное Око Господне в треугольной раме.

Мимо резной исповедальни патер повел нас по узенькой витой лестнице на хоры. Сел за электрический органчик и запел.

Высоким чистым тенором он пел один за другим грегорианские хоралы, а потом стал импровизировать молитвы и музыку. Немолодой крепкий мужчина, не стесняясь нашего присутствия, а может, и забыв о нем, объяснялся в любви к Господу. Латинские слова были не только понятны, но изливали ту же любовь ко Христу, какую испытывали и мы с Машей, ту самую, которой жил и которую будил в своих прихожанах наш православный батюшка Александр в подмосковной деревенской церквушке.

Внизу лежал еще недавно чужой, непривычный неф костела, и вот уже нас охватило пронзительное понимание: мы поклоняемся одному Богу. Для Него нет католиков, нет православных, а есть единая Церковь Господа нашего Иисуса Христа.

Мы тихо спустились вниз, встали все трое на колени перед алтарем с Остиями в Дароносице и из глубины сердца молча вознесли молитвы о соединении всех христиан в единое Тело Христово.

## *Вторая свеча. Мартовская вьюга*

К вечеру резко похолодало. Налетел ледяной северный ветер, нагнал снеговые тучи и закрутил пургу. Стекла окон дрожали, из старого дома выдуло все дневное тепло. Патер принес толстые обрубки березовых стволов и заново растопил камин. Сварил

крепчайшего кофе и сел в кресло-качалку у огня. Электричества не включали, только зажгли на столе у окна свечу, и ее язычок метался от проникавшего в щели ветра.

В полутьме пламя из камина неровными красными отблесками освещало твердые, мужественные черты нашего хозяина, обритая голова с залысинами и плешью там, где католическим монахам полагается тонзура. Глубоко запавшие серые глаза под светлыми бровями неотрывно следили за огнем. На вид ему было лет пятьдесят с небольшим. Мы молча потягивали обжигающий душистый напиток.

А вьюга свистела, выла и била в окна снегом. В овраге трещали обламывающиеся ветви деревьев.

— Да, не позавидуешь путнику, которого застигла эта метель в дороге, — сказал патер. Мы помолчали. А потом я стала негромко читать мое любимое:

Мело, мело по всей земле  
Во все пределы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

Как летом роем мошара  
Летит на пламя,  
Слетались хлопья со двора  
К оконной раме.

Метель лепила на стекле  
Кружки и стрелы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела...

И все терялось в снежной мгле,  
Седой и белой.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

— Вы знаете Пастернака, Фанасевна? Как это хорошо! Я тоже помню много его стихов.

— Зоя Афанасьевна не только стихи его знает, она с ним самим была знакома, — подала голос притихшая Маша.

— В самом деле? Вы его знали? Знали живого гения? Расскажите! Рассказывайте подробно. Начните с самого начала. Как вы с ним познакомились?

Строгое задумчивое лицо патера оживилось, в глазах загорелось мальчишеское любопытство.

— Мы тут живем в глуши, отрезанные от больших путей культуры. Только книги и радио. Я вот сейчас Рильке на литовский перевожу, чтобы как-то приобщить мой бедный народ к мировой поэзии. Все это где-то там, за семью горами. И вдруг на этот Богом забытый хутор, где живут одни непобожные пьяницы, приезжает человек, общавшийся с самим Пастернаком! Сейчас ради такого праздника я вина принесу.

Он молодо вскочил с качалки и тут же вернулся с бутылкой мартини и тремя узкими высокими бокалами. Я принялась рассказывать. Он задавал вопросы, просил ничего не пропускать и наконец воскликнул:

— Знаете что? Давайте сегодня не ложиться! Будем всю ночь слушать Фанасевну. — Он прислушался. — Кажется, стучат. Кто бы это мог быть? — Вышел на крыльцо и возвратился залепленный снегом. — Показалось. Никого нет. Да и некому быть ночью в такую погоду. Продолжайте, Фанасевна.

Но тут раздался громкий стук в окно. Патер взял со стола свечу и осветил в законную тьму. Вышел и вернулся в сопровождении высокой темной фигуры. Новый гость опустил на пол чемоданчик, при этом послышалось тяжелое металлическое лязганье.

— Это Антанас, — сказал патер.

У путника зуб на зуб не попадал. Мы уложили его на диванчик и завалили ватными одеялами. Патер вскипятил в медной кастрюльке остатки вина, добавив меда, корицы и каких-то трав, и заставил новоприбывшего выпить горячий грог.

Разошлись часа в четыре, и то лишь потому, что я пожаловалась на усталость. Чтобы не будить Антанаса, я постелила себе в Машинной комнате.

Утро настало ослепительно солнечное. Каждая ветка была облеплена пушистым белым мехом, и овраг загустел, как в майское цветение.

Антанас оказался студентом из Каунаса с правильными, совсем античными чертами лица. Он выехал днем, когда ничто не предвещало пурги с тяжелым чемоданчиком, в котором вез патеру медные заготовки для «солнышек». Сойдя с последнего автобуса, заблудился в темноте, набрал полные сапоги снегу, продрог до мозга костей и совсем отчаялся, как вдруг услышал звон колокольчиков на погосте и, присмотревшись, разглядел за оврагом нашу свечу в окне.

Он уже отошел, весело заменяя отлучившегося по делам хозяина и кормил нас с Машей яичницей и сыром с тмином.

Узнав, что я еще не видела кладбища, всплеснул руками и взялся нас туда сводить. Но дороги не было, всю округу завалил глубокий снег. Однако его и Маши энтузиазм заразил и меня, и я согласилась на авантюру.

Мороз после вьюги стоял как на Крещение. Утопая в снегу, мы с помощью Антанаса спустились к замерзшей речке, перешли шаткий мостик и с трудом выбрались наверх. Сердце стучало, как бешеное, и сжималось от болевой атаки.

Вдали виднелся недостижимый погост с разноцветными капличками и деревянными статуями. Сердечный приступ совсем меня обессилил. К тому же начался озноб, Антанас яростно работал лопатой, расчищая путь к отступлению.

Наконец тронулись в обратный путь. По прорубленным ступенькам Антанас с трудом довел меня до дому. В келье патера придвинул к печке кресло, опустившись на колени, стащил с меня сапоги и натянул шерстяные носки, укутал одеялом, заварил крепкого чая. Маша тем временем молилась перед старым распятием о моем здоровье.

Все обошлось. Решили о случившемся патеру не говорить. Но когда он вернулся к обеду с красным от мороза веселым лицом, он тут же сказал:

— Вы не волнуйтесь, Фанасевна, сегодня был у вас последний приступ. Больше не будет. Но, конечно, вести себя надо благоразумней. Вы уже не девочка и на провокации шальной молодежи не поддавайтесь. — Он погрозил потупившимся Маше и Антанасу пальцем. Многодетная Мария разругалась и действительно выглядела напроказившим подростком.

В день отъезда Маша пала духом. Ее вдруг охватило отчаяние и сомнения в вере. Утром мессы не было, отец Вергилиус опять уходил по делам прихода. Пришел пешком издалека, усталый, наверно. Но позвал нас в костел, чтобы причастить. Попросил прочесть вслух по-славянски из православного молитвослова молитвы перед Причащением. Когда мы благоговейно приобщились Святых Тайн, стал говорить о бурных волнах жизни, корабле, совершающем опасное плавание, и Божественном Кормчем. Говорил то и так, как было всего нужнее Маше в эту минуту упадка.

Антанас проводил повеселевшую Марию на автобус. В сумке она везла чудесный подарок патера: три медных «солнышка» — по одному в каждую комнату ее густонаселенной старомосковской квартиры.

## *Свеча третья. Будни патера Вергилиуса*

В глубине старого дома была устроена мастерская, где он умело чинил и изготавливал всякую железную и деревянную утварь, сооружал для погоста каплички и фонари. Как он рассказал, литовцы дольше всех в Европе оставались язычниками и до XV века поклонялись солнцу. Каждый дом когда-то украшало изображение солнечного божества. Католическая церковь соединила языческий символ с христианским, теперь «солнышки» увенчивались крестами и приспособивались в качестве подсвечников. Патер заказывал детали на стороне, сам же составлял из них разнообразные композиции, заклепывал молотком на верстаке и дарил как сувениры своим посетителям.

Он любил и знал народное искусство, собирал предметы деревенского быта и церковные украшения. У него было лучшее в Литве собрание деревянных скульптур XVI и XVII веков, богатая коллекция вышитых фелоней и епитрахилей. Собирал он и расписные изразцы, и керамическую посуду, но особенно любил кузнечные поделки: старинные замки, ключи, засовы, решетки. Даже на наружных стенах дома висели подковы, колокольчики, металлические кресты, фрагменты могильных оград. Вся эта

рухлядь оживала и преображалась в его руках, с ее помощью он ежегодно менял до неузнаваемости интерьеры гостевых комнат и кухни, только в келье все оставалось без перемен.

Несколько лет спустя купил опустевший дом рядом с костелом и устроил там что-то вроде этнографического музея.

Но, как ни ценил он поделки народных умельцев, они отнюдь не стали для него самоцелью. Патер Вергилиус был прежде всего «ловцом человеков». Летом к нему приезжали историки, искусствоведы, любители старины и просто любопытные целыми автобусами. Поговорив с патером на всякие вроде посторонние темы, кое-кто из посетителей возвращался вскоре причаститься, покрестить ребеночка, а то и повенчаться.

Если на мессу приходили литовцы, что иногда случалось в воскресенья и особенно в большие праздники, патер подымался из ризницы на крохотный балкончик, выходивший в неф, и оттуда что-то горячо и убежденно говорил по-литовски. Впоследствии он первым в стране стал вместо латыни служить мессы на литовском.

Когда-то он был самым знаменитым проповедником в Литве. На его службы собиралось столько народу, что тысячная толпа не вмещалась в огромный Каунасский собор. Пришлось радиофицировать площадь и транслировать мессы по репродукторам. Он говорил о Боге и о том, чем жил народ, костью от кости которого был сам, а тут не избежать было и политики. Патера Вергилиуса арестовали и дали срок.

На Соловах он познакомился с зеком Львом Карсавиным и умудрился вывезти оттуда его «Терцины». Подарил и мне машинописную копию этого премудрого полумистического-полубогословского труда, изложенного известным философом в стихотворной строфике.

Отсидев десять лет, патер вернулся на родину. Но курия не забыла ему былой популярности и сослала на захолустный хутор, куда выселяли всякий негожий люд: пьяниц, полоумных, отбывших срок уголовников. И все же окрестное «непобожное» население, не переступавшее порога костела, питало к одинокому священнику невольное уважение. По утрам он находил у своих дверей корзинки с яйцами, крынки молока, миски с творогом, домашнюю колбасу и самодельный сыр, свежееиспеченный хлеб.

Он крошил любую наличную снедь в большую кастрюлю, заправлял картошкой и зеленью и, поев этого удивительного месива, исполнявшего роль сразу первого и второго, относил остальное сторожу Дмитрию и соседям, скандальной чете пьяниц с оравой грязных голодных ребятишек. Никогда не оставлял приготовленную пищу на другой день, наверно следуя примеру итальянского святого Джузеппе Каттоленго. Запасов еды не держал, все принесенное тут же раздавал, но таинственным образом на следующий день снедь снова появлялась у его порога. А на случай перебоев существовали изюм, инжир и орехи, единственная еда, кроме соли и сахара, запасы которой хранились в доме.

Раз в две недели возил белье в прачечную за пятнадцать километров: летом на велосипеде, зимой на попутке.

Порядок в доме был идеальный. Каждая вещь имела строго определенное место. Стоило не туда положить консервный нож, половник или ножницы, как патер брал провинившийся предмет в руки и с неподражаемым юмором объяснял ему, что он заблудился, лежать, висеть или стоять ему положено там-то и там-то. После такого веселого назидания гости приучались запоминать, откуда берут сковородку, нитки или спички.

На следующий год мы опять приехали к патеру с Машей и на этот раз с ее четырнадцатилетним сыном Витей.

— Витя, как это ты позволяешь маме убирать за тобой постель? Когда ты пойдешь в армию, мама что же, будет приезжать стелить твою койку?

— Витя, почему мама моет твои башмаки? Вымой и свою и свою и ее обувь и ботинки Фанасевны заодно. И чтоб я больше такого позора не видел.

Удивлялся русской расхлябанности и неаккуратности.

— О какой духовной жизни может идти речь, если нет порядка вокруг вас. Да можно ли держать в чистоте совесть, если пол не метен? Почему у вас матери делают все за детей? У нас мать в семье царица, дети обслуживают не только себя, но и бабушек с дедушками, за честь почитают. Нельзя научить ребенка чтить отца и мать, если они моют за ним посуду и прислуживают ему. Вы идете в церковь, не убрав с утра дом. Да это просто форма безделья, совсем не угодная Богу, — говорил этот усердный молитвенник и прозорливец.

Через дорогу в полувырубленном парке стояли остатки желтого помещицкого дома. Там на развилках раскидистых дубов патер укрепил два тележных колеса, на которых аисты свили из корявых сучьев гнезда. При приближении людей тяжелые, громоздкие птицы взлетали, медленно маша огромными белыми крыльями с черной оторочкой.

Мостки через ручьи и каналы вместо перил ограждали половинки старых колес, площадка перед крыльцом была узорно вымощена кирпичом и белым камнем из развалин барского дома, лавочка под окнами, глядящими на овраг, украшена резьбой. Даже опрятный туалет за домом был устроен хозяином продуманно и удобно.

Но предметом особых забот патера Вергилиуса было кладбище за оврагом. Ограждено оно было коваными решетками, выкрашенными блестящей черной краской. Узоры каждого метра ограды отличались от других и составляли выставку фантазии жемайтйских кузнецов. Кстати, хутор Вергилиуса находился в Жемайтии, заселенной особой народностью, некогда сильно отличавшейся от остальных литовцев. А сам патер, хоть и родился, как и его родители, в Литве, по происхождению был поляком.

Вместо ворот в кирпичные столбики были вделаны низкие чугунные цепи, которые при нужде легко снимались с крючьев. На кладбище не было ни одной заброшенной могилы. Каждую украшала мраморная, гранитная, на худой конец бетонная плита с надписью и распятием, разноцветные садовые мхи, а летом аютины глазки и маргаритки. Гости патера помогали ему поливать цветы, спускаясь за водой по благоустроенной лестнице к ручью за погостом. А вдоль дорожек были вкопаны высокие кресты с оловянными фигурками Христа, фонари с оплывшими огарками и каплички со звенящими на ветру колокольчиками (в темноте они помогали путникам, как в ту вьюжную ночь Антанасу, найти дорогу к жилью). Сойдя по гранитным ступеням, можно было заглянуть в застекленное окошко мрачного фамильного склепа местных баронов и разглядеть в полумраке одинаковые каменные саркофаги. И все это кладбищенское благолепие и ухоженность были делом рук трудолюбивого патера. Память о предках была, по его мнению, неотъемлемой частью духовного здоровья нации. Кстати, наведя порядок на хуторском погосте, он с тем же усердием принялся обустройства кладбище совсем не близкого соседнего поселка. Ездил туда на велосипеде и трудился не покладая рук, пока и там не навел красоту и порядок.

Постоянных помощников у него не было. В пристроечке жил в качестве сторожа некто Дмитрий, бывший солдат. Конец войны застал его в Литве. В России у него не осталось ни кола ни двора, вся родня погибла, и в конце концов он прибил к патеру. Дмитрий совсем спился и работать не мог, но хозяину своему был предан душой и телом. Изредка уходил куда-то навестить свою литовскую семью, а так почти не выходил из каморки. Без крайней нужды в дом не заходил.

Патер вставал в пять утра и сразу шел молиться в костел. Там у входа в ризницу впереди всех скамей у него было отгорожено деревянное сиденье с пюпитром и скамеечкой для коленапреклонений. Все движения его в храме были покойны, плавны и полны благоговения. Мессу он служил каждый день, но в разное время — в зависимости от обстоятельств, и чаще всего в полном одиночестве. В девять вечера удалялся в келью, молился и ложился спать, а в час ночи в любую погоду вставал и надолго уходил молиться в костел.

Чем бы ни занимался, он не оставлял молитвы. Однажды я его спросила, как он соблюдает заповедь апостола Павла: «Непрестанно молитесь». Ведь работа, особенно умственная, часто требует полного внимания.

— Конечно, когда я читаю книгу, я думаю о том, что читаю. Но вот я кончил страницу, и пока ее переворачиваю, обращаю одну мысль, хотя бы один вздох к Богу. Вот сейчас я думаю о том, о чем мы разговариваем. Но на кухне, слышу, закипел чайник, я за ним пойду и подумаю о Боге. Берегите каждое мгновение тишины, цените минуты уединения, их немало на протяжении дня, даже в вашей суматошной московской жизни.

Иногда он устраивал для своих гостей «конференции», своего рода медитации. Происходило это так. О конференции патер Вергилиус предупреждал нас заранее. Мы приходили в пустую церковь и садились на скамью. Патеруже был там и сосредоточенно молился на своем месте у входа. Он подымался, говорил: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen», — и садился рядом с нами.

Полузакрыв глаза, своим чистым певучим голосом произносил слова из Библии, которые выбрал для сегодняшнего размышления. Он говорил как бы для себя, вроде

нечаянно думал вслух. Но слова его точно попадали в цель, оказывались про нас и для нас. Насыщал речь самыми обыденными, прозаическими примерами.

Ну, например. Спекулянт следит за рынком. Узнает, что в Одессе продают дешевые свитера. Едет туда, привозит их в Каунас, продает, получает сто процентов прибыли. Каких трудов стоит ему земное обогащение! Добывая себе душевный мир, мы должны вкладывать не меньше энергии и изворотливости, чем этот спекулянт.

Каким-то таинственным образом тема такой медитации оказывалась в этот момент жизненно важной для кого-то из нас, а то и для всех немногочисленных присутствующих.

Весь день патера Вергилиуса был заполнен разнообразными делами. Уклад жизни, при всей его строгости, был достаточно свободен и гибок, зависел от обстоятельств и от нужд окружающих. Неизменными оставались ежедневная месса, молитва, ранний отход ко сну, раннее вставание и труд, труд, труд. Ни одной пустой, бесцельной минуты. И созерцание, безмолвное предстояние перед Богом, было невидимым центром всей многообразной деятельности одинокого францисканца, патера Вергилиуса, на его «непобожном» хуторе.

## *Свеча четвертая. Два священника*

В тот первый приезд к отцу Вергилиусу я пережила во время мессы одно внутреннее событие и о нем ему рассказала. Глаза его были полны сострадания, почти слез. Он долго молчал и думал. Потом сказал, что этот элемент соучастия в жертве Христа возникает в последнее время независимо — в разных местах у разных людей. Это новое очень важное явление. А мне, возможно, предстоят тяжкие испытания, быть может, скоро ждет меня большое несчастье, и надо быть к нему готовой. Не испугаться, помнить о том, что беду надо будет претворить в добровольную жертву.

Не знаю, то ли имел в виду патер, но по возвращении меня ждала новость: отец Александр обдумывает для себя проблему эмиграции в Израиль.

Это была катастрофа. Для большинства его прихожан, невзирая на их возраст, молодой духовник значил больше, чем родные отец и мать. Он был сталкером, проводником в мире духа, опорой в вере и жизни, источником наших духовных сил и знаний. Он знал путь ко Христу, с которым, мы это чувствовали, находился в постоянном молитвенном контакте, и мудро, бережно, твердо вел к Нему свою паству. Она состояла в основном из новообращенных молодых интеллигентов, которые только что вырвались из тисков атеистической государственной идеологии, еще не окрепли и делали первые, такие трудные шаги в Церкви. И этот светильник погаснет для нас навсегда и мы останемся одни во тьме?

Тогда только что приподнялся глухой железный занавес, впервые появилась возможность покинуть нашу страшную страну, и многие знакомые, в том числе из чад отца Александра, готовились к отъезду. А кое-кого мы уже успели проводить. Проводы от похорон отличались только по форме, но, прощаясь с живыми друзьями, мы знали, что это навсегда, мы их больше уже не увидим.

Обливаясь слезами, я написала батюшке письмо на шестнадцати страницах, где обосновала мою убежденность в том, что его место в России.

Немногим близким, которые знали о его кризисе, он обещал объявить свое решение на Петра и Павла, то есть 12 июля.

А тем временем продолжалось паломничество его духовных детей к патеру Вергилиусу. Возвращались чада окрепшими в своем православии, преображенными, полными впечатлений и новых представлений о католицизме. И батюшка решил сам познакомиться с патером Вергилиусом. В мае он выкроил время для поездки в Литву... Отвезти его с женой на хутор взялся Юра, тот самый востоковед, который первым открыл туда дорогу. С ними собирался друг отца Александра священник из Пскова отец Сергей Желудков. Он дружил с диссидентами, печатался на Западе, смелые его новаторские труды ходили в самиздате, и патриархийное начальство отправило его «за штат», то есть запретило в расцвете сил служить в церкви.

Но Юре помешали семейные обстоятельства, и он передал отцу Сергию описание не очень простого пути на хутор. Отец Сергей уже совсем было собрался, накупил для патера полный рюкзак орехов, но тут свалился в гриппу. Связи с отцом Александром,

который жил под Загорском без телефона, не было, и совсем разболевшийся пскович привез мне Юрину схемку, орехи и свой железнодорожный билет.

Утром в день их отъезда я принимала душ и вдруг заметила, что плачу. Может быть, через несколько месяцев отца Александра не будет с нами, не будет навсегда. И тут я решилась. Наскоро собралась и отправилась на Белорусский вокзал, где в условном месте должны были встретиться участники поездки. Сказала батюшке, что могу сдать билет отца Сергия, но готова поехать вместо него, тем более что знаю, как добираться. Батюшка благословил.

Поездка эта совершалась втайне. Не хватало, чтобы на преследуемого госбезопасностью и не любимого патриархийным начальством отца Александра вешали собак еще и за связи с католиками, а, по их логике, значит, с самим Ватиканом! А у патера Вергилиуса, как нам было известно, гостила в это время одна длинноязыкая дама из прихода, отправившаяся туда самочинно, без благословения.

Выйдя рано утром на знакомом вокзальчике, не без труда нашли машину. На полпути отец Александр с женой высадились в маленьком городке и остались осматривать дивный готический собор, а я поехала дальше. Патер все понял и быстро выпроводил нежелательную гостью. Путь был расчищен. На той же машине я вернулась за супругами.

Тем временем хозяин успел приготовить праздничный обед и накрыл стол в своей келье. Я с интересом разглядывала обоих священников, будто впервые видела. Внешне они были совсем разные.

Патеру шел шестой десяток, он был высоким светлоглазым славянином без всякой растительности на бритой голове. Нашему батюшке нельзя было дать и его тридцати шести, он был ниже ростом, его коренастую, склонную к полноте фигуру увенчивала крупная голова ветхозаветного пророка, тонкие черты лица и темные глаза жили в обрамлении густой гривы выщипанного волос и черной бороды.

И среда, их взрастившая, и судьбы их ни в чем, казалось, не были схожи. Один, хоть и жил под Москвой, привык к бурлению столичной жизни, дружил с учеными, писателями, музыкантами, имел семью и детей. Другой, монах и аскет, провел десять лет в лагерях и давно уже находился в полном одиночестве в таком захолустье, что знакомство с человеком, знавшим известного писателя, воспринимал как событие.

И все же они были ближе, чем родные братья. Их соединяла жизнь, без остатка отданная Христу, накопленный духовный опыт, то знание Истины, которое делает человека свободным в любых условиях. Оба были открыты к людям, другим профессиям, приобщены к сокровищам мировой культуры и творчески воспринимали свое священническое призвание. И тот и другой были белыми воронами в своей стае и гонимы церковными властями.

Один был католик, другой православный, но оба принадлежали к одному типу духовности.

И все-таки, как ни странно, в первые минуты знакомства они стеснялись и не сразу находили темы для разговора. Может быть, оттого, что у них было слишком много, что сказать друг другу, а возможно, между ними шло общение, не нуждавшееся в словах. Но, так или иначе, в одну из затянувшихся пауз, когда после обеда мы продолжали сидеть за столом, щелкая орехи, я воспользовалась тем, что нахожусь в обществе ученых богословов, и задала трудный вопрос:

— Христос говорит: «Отцом не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах». Почему же священников называют отцами? Вот и к вам я обращаюсь: отец Вергилиус, отец Александр — и вы не возражаете.

Я остановила взгляд на родном батюшке. Ответа он — редчайший случай — не знал и, чуть улыгнувшись, попросил ответить нашего доброго хозяина. Отец Вергилиус призадумался на минуту и обосновал это обещанием Христа: «Не оставляю вас сиротами». То есть на священниках лежит благодатная обязанность выражать Отцовство Бога по отношению к Его чадам.

Понимая, что отцам надо пообщаться наедине, я увела жену отца Александра посмотреть костел и местные достопримечательности. Когда мы вернулись с кладбища, они все еще разговаривали за столом.

Вечером патер удалился в свою келью, а мы с батюшкой обсудили его ответ и нашли его удовлетворительным лишь отчасти. Все же сказано совсем определенно: «Никого не называйте!» Скорее просто не находится другого слова, поскольку протестантское «брат» не передает иерархического уважения к старшему.

А на другой день патер устроил нам восхитительное автомобильное путешествие по святым местам Литвы. Сам он не поехал. Кроме молчаливого шофера с нами была просвещенная литовка в роли гида.

Майская Литва напоминала картины и музыку Чурлениса. Казалось бы, одна широта со Средней Россией и совсем недалеко, но красота этой земли какая-то другая — хрупкая, девичья. Вспаханные серые поля с кучей выбранных из почвы валунов на меже, а по краю зеленеет ряд тоненьких, только что распутившихся топольков. Развалины хуторов скрыты одичавшими цветущими садами. Прозрачные, какие-то незащищенные речки. Ветряные мельницы со стрекозиными крылышками, божнички на перекрестках. Пронесется выстроенный вдоль шоссе поселок с однотипными сиротливыми домами без усадебных участков — а следом лесок с указателем на шоссе: «Олени!» И правда, раз мелькнули две косули, улепетывавшие в чащу от нашей машины.

Бедная, скудная земля, которую любит и пестует ее народ. Особую одухотворенность придавали пейзажу тонкие, как иглы, парные шпилы устремленных к небу готических костелов, у каждого своя святыня. Одни действуют, другие закрыты, иные — в развалинах.

Машина остановилась на берегу серого озера. В старинном аббатстве, где теперь действовала только одна церковь, шел ремонт. Настоятель, уже успевший обгореть докрасна на весеннем солнце, в залапанном известкой рабочем комбинезоне водил нас по галереям с аркадами, показывал картины и скульптуры старых мастеров и рассказывал историю монастыря.

Обедали в его современно обставленном доме, сплошь внутри лакированном и полированном. Подавали литовские блюда и марочные вина. Но меня ничего не радовало, тяготила мысль о возможном отъезде батюшки. Да и сам он был невесел, больше молчал. Мне казалось, что он думает не о том, что видит, а снова и снова решает проблему отъезда.

Вечером перед мессой мы втроем сидели на лавочке перед заросшим оврагом, на дне которого журчала речка. Все цвело и благоухало, наперебой заливались и щелкали соловьи. Жена батюшки ушла в дом, и мы остались одни. Я не выдержала и затронула болезную тему.

Отец говорил жестко и отчужденно. Он здесь не нужен, устал преодолевать вражду, ему, еврею, ничего не сдвинуть в омертвелой Русской Православной Церкви.

— Может быть, я там кому-нибудь пригожусь. И разве это плохо? Покажу жене Рим, Флоренцию, Париж!

На мессе, кроме патера и нас троих, никого не было. Я впервые видела отца Александра на богослужении в качестве простого молящегося. Он был сосредоточен, благоговеев, ушел в сдержанную сосредоточенную молитву.

Он не причащался. А я всегда страдаю, когда никто не принимает Святые Дары и Божественный Агнец как бы заклан напрасно, батюшка это знал. Я взглядом спросила разрешения, он кивнул. Встала на колени перед алтарем, чувствуя спиной, как отец Александр молится в этот миг обо мне, и патер Вергилиус бережно положил мне в рот облатку.

На рассвете, когда все спали, я взяла на кухне ключ и пошла в костел.

Горе разрывало душу. Я распростерлась на полу перед алтарем, раскинув крестом руки, и молила Бога избавить батюшку от искушения, сохранить его нам. Время шло, но остановить рыдания никак не удавалось. В храм тихо вошел патер, прошел к своему месту у двери и стал молиться.

Мне было стыдно. Я с трудом поднялась и села на скамью подальше. Мы оба долго молились. Отец Вергилиус бесшумно встал, плавно, медленно подошел и сел рядом. Помолчав, спросил мягким, полным сострадания голосом:

— Зоя, что вас так мучает? Расскажите мне.

— Отец Вергилиус, для меня было бы великим облегчением открыть вам сердце. Но я не имею права. Это не моя тайна. Надо всеми нами нависла беда. Молитесь, чтобы Господь ее отвратил.

Священник положил мне руку на голову, подержал ее, вернулся на место, и мы снова молча молились вдвоем. Наконец поднялся и, не разрешив еще остаться в храме, взял за руку и повел завтракать. Там нас давно ждали. Отец Александр с тревогой заглянул мне в глаза. Но после молитвы полегчало, и я ответила ему обычным спокойным взглядом: мол, все в порядке.

К вечеру того же дня мы уехали в Москву.

Батюшка был измотан физически, душевное его состояние было тяжело, и после Троицы он уехал в отпуск.

Вернулся к Петру и Павлу, но я не поехала в тот день в наш храм. Не хотелось быть на людях, если узнаю, что он уезжает.

Решение его узнала от подруги по приходу: он остается!

## Свеча пятая. Напутствие с последствиями

Раз в год я вырывалась на неделю-полторы из столичной сутолоки на тихий жемайтский хутор. Выйдя из автобуса, неспешно шла мимо скотных дворов и машинно-тракторной станции, отдыхала на круглой скамье у знакомой каплички. Здесь отступали московские заботы и душу охватывал покой. Дорогу обступали безлюдные поля, местами их сменяли перелески, наконец поперек проселка вставал серый костел с двускатной крышей.

И всякий раз на подходе к увешанному крестами дому в сердце сама собой начинала звучать Иисусова молитва: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». И до самого отъезда даже во сне не прекращалась эта дивная молитва.

Патер Вергилиус встречал благословением и спокойной приветливой улыбкой. Шаги здесь невольно замедлялись, движения становились плавными, в душе воцарялась праздничная прибранность.

К патеру теперь все чаще наезжали прихожане отца Александра, который рассчитывал наши поездки так, чтобы каждому пожить там одному. Но вскоре у меня это перестало получаться. Патер обзванивал своих знакомых и приглашал их из разных мест. Тут он был со мной безжалостен и без конца заставлял что-нибудь рассказывать. Как-то приехал целый автобус с выпускниками шауляйской школы во главе с их бывшей классной руководительницей. Ребята окончили школу год назад и решили отпраздновать годовщину у клябоне Вергилиуса. Кстати, это москвичи называли его патером, а литовцы говорили «клябоне». Учительница была верующей и тайно приобщала детей к Церкви. Пока они не были верующими, она не посмела бы привезти в костел на причастие целый класс.

Патер надел кружевную накидку, двое юношей, обрядясь в короткие стихари, прислуживали на мессе и звонили в серебряные колокольчики, когда в особые моменты всем полагалось вставать.

В пюпитрах при скамьях кое-где лежали молитвенники прихожан, и я довольно свободно следила по ним за латинской мессой, в главном не отличавшейся от православной обедни. В конце службы мы все опустили на колени перед низкой оградкой, отделяющей алтарь. К ней была прикреплена узкая полоса расшитой гладью белой ткани, знаменующей скатерть. Мы накинули ее себе на руки.

Патер по очереди подходил к каждому причастнику и клал в открытый рот Остию: круглую полупрозрачную облатку из муки с водой, тут же таившую на языке. Причащение в костеле вызывало те же благоговейные и непередаваемые чувства, что и в православном храме.

В конце богослужения патер вышел в ризницу и появился на крохотном балкончике над нами. Проповедь он говорил по-литовски. Я изредка улавливала лишь отдельные слова, но оторваться от потока завораживающей речи было невозможно. И не умом, а сердцем все-все понимала, впитывала его любовь ко Христу и ко всем нам, глубокое сострадание к попавшей в беду эпохе, его непоколебимую уверенность в торжестве дела Божия. И как тогда, когда он пел нам с Машей грегорианские хоралы, Христос был посреди нас.

Шауляйцы приготовили обед, патер благословил пищу, и все сели на кухне за сдвинутые столы. Учительница с любопытством поглядывала на меня, что-то говорила по-литовски ребятам, наконец все молча на меня уставились.

Такое внимание смущало меня и удивляло. Московские друзья большого интереса к моей особе не проявляли, знакомства моими не интересовались, а тут посторонние люди хотят поговорить со мной только потому, что я знала Пастернака и Ахматову. Пришлось рассказать.

Наконец шумная компания с «солнышками» в руках погрузилась в автобус. Настала долгожданная тишина. Вечером ко мне заглянул патер и предупредил: завтра рано утром он уезжает на «реколлецию», занятия по гомилетике и догматическому богосло-

вию с жемайтскими ксендзами, уже позабывшими семинарские премудрости.

— Останетесь за хозяйку, Фанасевна. Кто приедет, угостите чайком, расспросите, с чем приехали.

На следующий день у дома остановилась запыленная машина из Каунаса, оттуда вышла немолодая пара. Как они были огорчены, узнав, что патера нет дома! Вспомнив его наставления, я уговорила гостей перекусить.

Оказалось, они недавно выдали замуж дочь, поссорились на свадьбе и решили, что жить им вместе теперь незачем. Они поочередно обвиняли друг друга в эгоизме. Знакомая российская проблема долгого отчуждения и одиночества вдвоем.

Из Паневежиса приехала забеременевшая девчонка в полном отчаянии. Парень уже успел жениться на другой, а открыться родителям не решается, боится, что отец ее убьет. Аборты же католичкам строжайше запрещены.

Патер вернулся на машине с большим арбузом, какими-то свертками и бесценным подарком. Оказывается, по его заказу для меня было вырезано превосходное деревянное распятие. А мне так хотелось иметь распятие, и именно литовское!

Отец Вергилиус с пристрастием расспросил меня, кто с чем приезжал и что я им говорила.

Пришла пора уезжать. Как уже повелось, перед отъездом всегда занятой и немногословный патер надевал сутану и приходил в каминную комнатку для духовной беседы.

На этот раз, сидя на табуретке с прямой официальной спиной, он заговорил сам.

— Фанасевна, ваше главное служение Богу в общении с людьми.

— Что вы, что вы, отец Вергилиус! Если я на людях открываю рот, ночь потом не сплю: зачем это я никому не нужные глупости молота. Общаться для меня — мука мученическая!

— Нет, Фанасевна, общение — ваше призвание. И не обязательно говорить о Боге. Просто пейте чай и разговаривайте с ними о чем хотите.

Патер решительно отменил возражения, взяв мою сумку, пошел проводить. Когда он поставил сумку на траву, я подошла под благословение. Подняла опущенную голову и увидела, что он, закрыв глаза и сложив ладони, молится надо мной. Я быстро склонила шею.

Едва вернулась домой, тут же стал трезвонить телефон. Меня разыскивали люди, с которыми я годами не встречалась: с кем-то училась в институте, с кем-то ходила в турпоходы или лежала в больнице. И всем почему-то надо было со мной повидаться.

Выхожу из магазина «Москвичка» на Новом Арбате, налетает на меня гренадерского роста дама и заключает в объятия:

— Зоя Афанасьевна, я так хотела вас видеть! Звонила, но вы куда-то переехали. Можно к вам прийти?

Смутно припоминаю крохотную девчушку в школьной форме, с которой занималась английским.

Звонит телефон:

— Я такая-то. Можно к вам сейчас прийти? — В голосе слезы, что-тостряслось.

Ни та ни другая не знают, что теперь я верующая. Проходит время, обе становятся моими крестницами. До встречи с патером кто б сказал, что буду бесстрашно выступать перед полным залом, давать интервью в прямом эфире, а потом еще и спать без снотворного, ни за что не поверила б!

А все милый наш сердцевед клябоне Вергилиус.

## *С в е ч а ш е с т а я. Патер и шалая девчонка*

Патер по-настоящему так и не принял Машу, продолжавшую к нему ездить. Оставаясь в пределах той же учтивой благожелательности, он давал понять, в частности, упорно называя ее Светой, что не дело ей мотаться по монастырям и старцам, а надо сидеть дома и заниматься детьми.

Но Маша никого не слушала, бросила и отца Александра, и патера Вергилиуса. Потом уже и Россия стала ей тесна, и в конце концов она вместе со своей «козырной семеркой» уехала в Штаты. Правда, второй ее сын Петя, ощутив себя иудеем по причине единственной в роду бабушки-еврейки, один уехал в Израиль, поступил в хедер и стал, по слухам, уважаемым раввином.

Витя занимался в Нью-Йорке иконописью, музыкальные девочки пели в церковном хоре, а биологиня Маша нанялась кухаркой к американскому миллионеру. Когда тому надоели русские щи и пироги, он рассчитал Марию. Окончив краткосрочные курсы,

мать с девочками двинулась в Бразилию. Но по причине слабого знания иностранных языков за год миссионерской деятельности больших успехов не достигли и, перейдя в карловацкую церковь, вшестером поступили в православный монастырь на северо-западе Франции. Витя же стал монахом-иконописцем в Джорданвилльском монастыре. Через шесть лет игуменья честно сказала Маше, что, пока жива, пострига ни одной из них не допустит.

Тут все пять девиц одна за другой повыходили замуж, а Маша отправилась снова в Штаты и наконец приняла постриг в том же Джорданвилле.

Но все это было потом. Тогда же из-за этих перелетных наклонностей Марии патер Вергилиус не одобрял ее частых наездов.

И вот примчалась она как-то ко мне с пылающими щеками и стала изливаться восторги по поводу своего нового увлечения, отца Тавриона из Спасо-Преображенской пустыньки под Елгавой, на этот раз в Латвии.

Отец Александр сказал, что мне полезно отдохнуть и сменить обстановку. И вот я уже выхожу из автобуса неподалеку от монастыря. От узкого безлюдного шоссе отходит песчаная дорога, проложенная сквозь мачтовый бор. Под гигантскими, абсолютно прямыми соснами заросли черники, голубики, костяники. Прямо у дороги растут крепенькие маслята. Пахнет хвоей, смолой и прогретой солнцем лесной тишиной. Пустынька расположена прямо в этом бору, состоит из нескольких изб, трапезной и двух храмов, летнего и зимнего. Тут же рядом два ухоженных кладбища: одно веселенькое, православное, второе строгое, с бетонными крестами по ранжиру, там похоронены немецкие солдаты.

Молодая монахиня отвела меня в чистенькую комнатку и ушла. Зазвонили к всенощной, мимо окошка потянулись к летнему храму монахини в черном.

Отец Таврион оказался сухоньким энергичным старичком, служил быстро и как-то весело, женский хор пел легко, порхаючи, в том же ускоренном темпе. Священник непринужденно прерывал службу и обращался к пастве с разъяснением паремий и шестопсалмия.

Почему-то у меня пошла какая-то странная молитва. Никогда еще я не обращалась к Богу таким дерзновенным доверием, никогда не подымалась в помыслах так высоко. И облекались мои из сердца идущие мысли в архаичные, чуть тяжеловесные слова.

Отец Таврион прервал богослужение и обратился к молящимся:

— Дорогие мои, вчера я вам читал пятую главу из сочинения Иоанна Златоуста, а сейчас послушайте главу шестую.

Батюшка водрузил на нос круглые очки в железной оправе, положил на аналой заложенный красной лентой том, зажег лампочку под железным колпачком и начал читать слово в слово ту самую дерзновенную молитву, которую я только что произносила про себя. Происходящее было нереальным, невозможным, у меня закружилась голова, и я потеряла сознание. Очнувшись мокрая от святой воды на скамейке у входа в храм. Не открывая глаз, услышала чьи-то слова: «Не вынесла святости места».

В пустыньку я поехала неспроста. Моя застенчивая, диковая дочь Дарья, достигнув шестнадцати лет, вдруг как с цепи сорвалась. Прогуливала школу, пропадала в сомнительной компании, случилось, возвращалась под утро навеселе. А главное, перестала ходить к отцу Александру, поскольку резвилась вместе с его дочерью; исповедоваться же ему значило закладывать подружку.

В пустыньке был заведен такой порядок. После литургии завтракали, затем паломники брались за послушания: носили воду, мели дорожки, таскали кирпичи для строившейся бани, а отъезжавшие становились в очередь у кельи отца Тавриона. Он каждого благословлял — кого четками, кого иконкой или крестиком. И тут можно было поговорить с этим провидцем.

Рассказывали удивительные истории. Подходит, например, к батюшке незнакомый ему человек, рта не успевает открыть, а Таврион говорит ему:

— Ты, Федя, хочешь спросить, поступать ли тебе в семинарию? Нет, Федя, священство не твой путь, поступай в медицинский, тебе врачом быть.

А его в самом деле зовут Федей, и приехал он с этой проблемой: в семинарию идти или в медицинский. Ну, и так далее.

Написала я про дочку письмо отцу Тавриону и передала с кем-то накануне отъезда.

Отстаиваю длинную очередь, подхожу последней, напоминаю про письмо. И слышу сердитую отповедь:

— Все вы родители таковы! Вместо Бога хотите своим детям быть! Все, что могли, заложили до двенадцати лет. А теперь предоставьте свободу.

— Да страшно как, батюшка! Вокруг наркоманы, алкаши, уголовники. Москва ведь. А девочка неопытная. И в церковь перестала ходить.

— Ничего не бойтесь. Молитесь, и все обойдется. Помогайте, когда позволит помочь, и полную свободу дайте. Полную, слышите!

Вдруг он отвернулся к комоду и стал шарить в ящике. Потом вложил мне в руки толстую пачку денег.

— Что вы, отец Таврион, я не возьму. Мне не надо. — Я решительно положила деньги на стол. Он так же решительно прижал их к моей ладони и сжал мне пальцы.

— Берите без разговоров. Деньги вам скоро понадобятся.

Дома в почтовом ящике меня ждало извещение о предстоящем переселении в связи с реконструкцией центра. Нам дали хорошую просторную квартиру. Сбережений у меня никаких не было, подаренной отцом Таврионом суммы как раз хватило на переезд и необходимую мебель.

В жизнь дочери я старалась теперь не вмешиваться, и разладившиеся было отношения потихоньку стали налаживаться.

Прошло два года, и я осторожно предложила ей вместе поехать летом на Балтийское море в Палангу, посетив по дороге батюшку Тавриона и патера Вергилиуса.

В пустыньке было битком паломников. Нас поселили на большом чердаке, сплошь заставленном раскладушками. Было грязно, тесно. Паломницы или переругивались между собой, или рассказывали небылицы про неправдоподобные чудеса и явления. Даше там не понравилось, и мы решили срочно уезжать.

Но тут оказалось, что у нас нет ни копейки. Дома я вложила деньги в книгу, но сумка оказалась тяжелой, я вынула из нее кое-какие вещи, в том числе книгу с деньгами.

Утром мы пошли на литургию. Служба у отца Тавриона отличалась смелыми новациями. Причащались все присутствующие в храме, паломники, как и монахи, ежедневно. Когда исповедник, поцеловав крест и Евангелие, отходил от аналоя, монахиня записывала его имя, и о каждом священник много раз молился вслух. Апостол и Евангелие читались не на церковно-славянском, а по-русски, причем с разъяснениями, и за одним богослужением было две, а то и три проповеди.

И как это бывает у харизматических проповедников, люди в проповеди получали ответы на те вопросы, с которыми приехали. Объяснялось это не только мистической чуткостью святого старца (кстати, тоже, как и отец Вергилиус, прошедшего много лет в заключении), но и отличной его памятью. На исповеди он нас выслушивал, однако подробно поговорить не успевал, зато каждому отвечал в проповеди. И еще службы тут отличались пасхальной праздничностью. Отец Таврион, встречаясь с нами глазами, улыбался, как добрым знакомым, мы чувствовали себя участниками происходящего. Он радовался и ликовал и всех нас вовлекал в свое счастливое переживание Богоприсутствия.

После постного завтрака в похожей на барак трапезной, за которым монахиня читала очередное житие святого, я пошла к отцу Тавриону просить благословения на отъезд.

— Не захотела ваша Дарья причащаться? — встретил он меня веселой улыбкой. — Не огорчайтесь, голубушка, скоро причастится, прямо на этой неделе. А как у вас с деньгами на дорогу? Ведь нет ни рубля, верно?

И, к великому моему стыду, прозорливец опять вручил мне пачку денег. Стыдно было ужасно. Бедные паломники шли сюда пешком из российской глубинки, несли свои и собранные в деревне сбережения, чтобы заказать сорокоусты и прочие поминовения, а пастырь отдавал их кровные денежки московской барыне. Но спорить тут не приходилось.

Долгая монастырская обедня начиналась в шесть утра, а наш автобус уходил в восемь. Мы встали попозже, собрали сумки и тут обнаружили, что нас заперли на чердаке. Паломницы сделали это нарочно: мол, не идете на службу, так сидите взаперти. Мы стучали в дверь, кричали в окно, но на наши вопли никто не обращал внимания, хотя по двору изредка проходили люди. Наконец нас выпустили, и мы бросились вон из пустыньки. На наше счастье, автобус опоздал, и к вечеру мы были уже у патера Вергилиуса.

В отличие от пустыньки здесь Даше все страшно понравилось.

Костел только что покрасили, надо было срочно отмывать заляпанные краской

высоченные окна. Даша бесстрашно лазила по приставной лестнице и не утомимо чистила и мыла стекла.

— Отдохни, малютенька! — кричал ей, проходя внизу, патер.

— Я не устала! — весело откликнулась Даша, поворачивая к нему раскрасневшееся потное лицо со свисающими патлами.

А я сидела на скамеечке с ворохом нового постельного белья и нашивала метки для прачечной. Покончив с метками, взялась за реставрацию картины с безвкусным изображением Марии-Магдалины. К моему удивлению, поздняя запись легко смывалась, а под ней проступало другое изображение той же святой, сделанное, видимо, в конце XVIII века хорошим мастером. Некоторые детали были повреждены или совсем утрачены, но в несущественных местах.

Патер радовался находке и попросил дописать недостающие детали. Довольный результатами, дал раскрасить толстенького деревянного херувима, а потом святого Флориана.

На второй мессе Дарья решила причаститься. Чуть не час стояла на коленях у исповедальни, и патер, сидя в этой темной резной будке, о чем-то с ней беседовал. Много лет спустя Даша рассказала, что, выслушав исповедь о ее лихих похождениях, патер сказал:

— Какой ты молодец, малютенька! — Даша опешила. — Сумела разобраться в себе, все понять, покаяться.

Я не узнавала дочь. Дни напролет она энергично трудилась, сама находя себе работу. А вечером брала на кухне ключ от костела и надолго там запиралась. Патер заставлял ее гулять. Дарья рассказывала про большую стаю аистов, опустившуюся на краю парка, про подслеповатого барсука, который близко ее подпустил, а когда увидел, бросился прочь, вскидывая на бегу толстым задом. Раз она присела отдохнуть у стога солом, а вокруг нее бесстрашно прыгали по полю зайцы. Патер с удовольствием слушал эти полудетские рассказы маленькой грешницы и улыбался.

Стояла жара, хотелось к морю. Накануне нашего отъезда, о котором я уже сказала патеру, меня разбудили тихие всхлипывания в соседней комнате.

— Дашунчик, милый, что случилось? О чем ты плачешь?

— Не хочу уезжать! Давай здесь навсегда поселимся, мама. Давай! На что нам Москва?

Утром пришлось рассказать патеру о Дашиных слезах.

— Бедная малютенька! Да зачем вам уезжать, живите сколько хотите. Она тут как в лечебнице, оправляется от сердечных ран, возвращается к Богу.

Мы остались. Помимо прочих обязанностей патер теперь усердно занимался катехизацией детишек. К нему приходило десятка полтора детей от девяти до четырнадцати лет. Наконец настал день конфирмации.

В то воскресенье ограда костела вся была обставлена прислоненными к ней велосипедами, на обочине дороги стояли легковушки и два микроавтобуса. Храм заполнился большими крестьянскими семьями, с дядьями и тетками, младенцами, орущими на руках у матерей, с торжественными дедушками и бабушками в литовских нарядах. Девочки были в белых воздушных платьицах, в кружавчиках и бантах, льняные волосы до пояса были тщательно расчесаны. Мальчики чинно вышагивали в своих черных костюмах с галстуками-бабочками под белоснежными воротничками. Каждый под мышкой нес новенький катехизис. Патер их экзаменовал по-литовски, а потом впервые в жизни исповедовал. Причащались в этот день только конфирманты.

Вышли дети из костела парами — мальчик с девочкой, — нагруженные розами, конфетными коробками и толстыми Библиями.

А тем временем в ограде храма на свежескошенной патером траве женщины расстелили белые скатерти. Началось пиршество. Конфирманты, на которых взрослые уже не обращали внимания, переоделись в старенькие джинсы и майки и носились на велосипедах, оглашая округу бесчинными воплями.

К патеру приезжало все больше народу: тайные монахини из соседнего городка, которых он так же тайно окормлял, молодые священники, врачаха, лечившая ему расширение вен на ногах, Антанас привез показать свою невесту Люсю. На ночь из кладовки доставали раскладушки и расставляли их по всему дому. За стол садилось человек двенадцать—четырнадцать, с едой стало непросто.

Мы уехали в Палангу. Загорали, купались в холодной, цвета бутылочного стекла балтийской воде, совершали далекие прогулки по твердому песку пляжа или по заросшим вереском дюнам. Каждый день причащались за мессой в строгом бело-красном

соборе. А когда выходили с молчаливой толпой литовцев, Даша застенчиво спрашивала: — Мама, ты не забыла помолиться о патере Вергилиусе? У него ноги болят.

Вечерами слушали в благоухающем розарии Моцарта, Вивальди и Баха, которых исполнял камерный оркестр на задней террасе Янтарного дворца. Музыка лилась цветными ручейками и потоками на фоне монотонного шума морских волн и раскачиваемых ветром сосен.

И нам обоим казалось, что вместе со свежим летним ветром нас овеивает Божие благословение молящихся за нас трех священников: батюшки Александра, святого старца Тавриона и ставшего совсем родным патера Вергилиуса. И теперь все-все будет с нами хорошо.

## Свеча седьмая. «Поезжайте в Юрмалу»

Лето в том году выдалось в Москве жаркое, пыльное, душное. Захотелось в Палангу — поплескаться в студеной морской воде, покачаться на длинных упругих волнах, походить по ребристому песчаному дну. Но сначала надо было повидаться с патером.

Однако привычной молитвенной сосредоточенности на хуторе не возникло. Дом был полон приезжих и, кроме того, перестраивался. Многодетной семье, занимавшей другую его половину, дали квартиру в поселке, и патер наравне с наемными рабочими занимался ремонтом. Только успел поздороваться, как на машинах подкатило человек тридцать народу. Венчалась немолодая пара, уже давно живущая в гражданском браке.

После долгих приготовлений в костеле началась торжественная церемония. Заиграла музыка, и впереди пошли мальчик и девочка лет семи в полных свадебных облачениях: девчушка в белом тюлевом платье до пят, только без фаты, с флердоранжем на волосах и в крохотных белых туфельках с каблучками, а мальчик в черном парадном костюмчике с галстуком-бабочкой и лакированных штиблетах. За ними их увеличенной копией шли взрослые новобрачные в сопровождении шаферов. Все остальные разряженные гости выстроились за шаферами парами: мужчины справа, женщины слева. Процессия медленно двигалась к алтарю по проходу между скамьями.

Играла приглашенная органистка, и детский хор без конца пел «Аллилуйя». Со смыслом происходившего внизу пение никак не было связано.

Патер извинялся, что не может уделить мне внимания, вполуха слушал московские новости, и я поторопилась сообщить, что уезжаю в Палангу.

— Палангу? — переспросил он. — Зачем вам в Палангу? Поезжайте лучше в Юрмалу.

— Отец Вергилиус, я очень люблю Палангу, а Рижское взморье мне совсем не нравится.

— Нет, нет, Фанасевна, вы все-таки в Юрмалу поезжайте.

До Паланги было рукой подать, до Риги добраться можно было только с пересадками, да еще в такую тяжкую жару. Но что поделаешь, со священниками миряне не спорят.

Патер проводил меня за околицу, взял за плечи и заглянул глубоко-глубоко в глаза.

— С вами теперь все хорошо. Я рад. А ко мне приезжайте лучше зимой, когда народу мало. А то и поговорить некогда. Передайте поклон и любовь мою отцу Александру. Я всегда молюсь о нем и его приходе. Он великий пастырь, потому-то ему так трудно. Вы его не оставляйте, будьте до конца рядом. Ну, с Богом.

Патер поцеловал меня в лоб, благословил и быстро пошел назад.

Утренний автобус на Каунас уже ушел, следующего надо было ждать до вечера. Я вышла на шоссе голосовать. Попутки провозили короткий отрезок дороги и высаживали, дальше им было не по пути. Где-то в чистом поле я томилась на солнцепеке часа два. Наконец меня подобрал автобус с киношниками, ехавшими в Ригу. Ребята угостили теплым пивом с бутербродами и довезли до самого вокзала.

На Рижском взморье я была однажды, лет тридцать назад. Как называлось это место? Оно находилось далеко от Риги, там было не таклюдно. Ах, да, Меллужи!

Выйдя из электрички, я спросила двух местных женщин, не знают ли они, кто пускает курортников? Обе не знали. Третья внимательно меня осмотрела и сказала:

— Пойдемте к нам. От нас сегодня выехала семья из Ленинграда, думаю, мама вас пустит.

Суровая латышка с одним незрячим глазом так же зорко, как и дочь, оглядела меня с головы до пят и отвела в чистенький сарайчик в глубине сада. Там стояло две кровати, над одной висело изображение Христа в Гефсимании.

— Вы верующая? — спросила я Вилье Иезеповну.

— Да. Лютеранка. А вы?

— Я тоже. Православная.

— Это хорошо. Думаю, мы поладим. Раз вам дорого платить за две койки, завтра найду вам соседку. Тут живет русская из Воркуты, тоже верующая, я вас сейчас познакомлю.

Я была измучена, хотелось уединения, за которым тщетно ездила к патеру, поэтому сухо кивнула молодой женщине в пестрой цыганской юбке, которая стирала в тазике у своей двери.

— Надя, — приветливо улыбнулась соседка.

— Зоя Афанасьевна, — хмуро буркнула я.

Весь следующий день я блаженствовала на море. Лежала в сосновой тени на песке между дюнами, плавала, запивала молоком превосходный творог в кафе у пляжа.

Вернувшись в сумерках домой, я застала в своем домике обещанную соседку. Словоохотливая толстая москвичка по кличке Люсия оказалась дочерью гебэшного генерала. Орал привезенный ею радиоприемник, передавая последние известия. Не помню уж, по какому поводу высказывали недовольство нами поляки.

— Да что с этими полясками церемониться?! — кричала Люсия. — Ввести танки, передавить сотню-другую, мигом успокоятся. Распустились!

Люсия долго и обстоятельно ужинала, ни на минуту не умолкая, потом накрутила бигуди и мгновенно заснула. Боже мой! В жизни не слышала такого храпа. Из открытого рта молодой женщины, спавшей в розовых кружевах, неслись басовые рулады, всхлипыванья, залиvistое бульканье.

Промучившись до двух часов, я решила провести остаток ночи у моря. Но, выйдя в сад, очутилась в кромешной тьме. Близорукие вообще плохо видят в темноте, а тут ну ни зги не было видно. Сделала два шага и ударилась об дерево.

В Надином окошке из-за шторы чуть пробивался свет. Я тихонько постучалась. Если спит, не услышит. Дверь тут же распахнулась. На пороге, улыбаясь, стояла Надя с кисточками в руках.

Молча, жестом пригласила войти. Она еще не ложилась, рисовала что-то гуашью. В комнате, как и у меня, стояло две кровати, одна была пуста.

Я извинилась за вторжение и рассказала свою ситуацию. Надя помогла мне перетащить к ней постель. Мы не слишком церемонились, двигали стулья, громко разговаривали, но Люсия все так же оглушительно храпела.

Однако в ту ночь мы с Надей не ложились, она рассказывала свою жизнь.

Родилась в Воркуте, дед и бабка были репрессированными кубанскими казаками. Заочно окончила искусствоведческое отделение Уральского университета в Свердловске и что-то преподавала в родном городе. Пережила любовную драму с немолодым женатым мужчиной, вместе с которым занималась спиритизмом, а когда связь их распалась, вдруг влюбилась в Андерсена. Нет, не в сказки его, а в самого Ганса Христиана. На стенах висели картинки гуашью с сюжетами андерсеновских сказок и его портреты на фоне улиц Копенгагена и датских пейзажей. Выглядело достоверно, будто писано с натуры. Но в каждом рисунке была какая-то чертовщинка. То кудри ангелочков, то ветви деревьев образовывали бесовские рожи.

Надя считала великого сказочника своим небесным мужем. Позднее отец Александр назовет этот спиритический роман астральным блудом.

Наде вдруг опротивела Воркута. У нее там была хорошая трехкомнатная квартира, которую оставили ей родители, уехавшие на «историческую родину», то есть на Кубань. Надя подарила квартиру сестре, выписалась, уволилась с работы и месяца полтора назад приехала с одним чемоданом в Меллужи.

Выбор пал на Рижское взморье, потому что, по Надиным представлениям, Рига и Юрмала походили на Данию.

Вяснилось, что хоть Надя и считала себя верующей, но Евангелия в руках не держала, крещена не была и порога церкви ни разу не переступала.

Наша хозяйка рано утром уехала в город. Надя через забор поговорила с соседями, и я тут же перебралась к ним. С того дня мы подружились с Надей. Поначалу Вилье Иезепповна рассердилась, что я переселилась к соседям, не дождавшись ее, она предпочла бы избавиться от Люсии с ее гебэшной родословной. Но потом мы поладили и часто пили кофе у нее вместе с Надей. Вилье была из богатой семьи. Когда в 1936 году русские протянули прибалтийским странам «руку братской помощи», так это тогда официально называлось, брат ее ушел в партизаны. Вилье из-за брата пытали и на допросе выбили глаз. Отца и брата расстреляли, фабрику и дом отобрали. Русских она

не любила, общаться предпочитала с верующими. Она рассказывала о лютеранстве, я о православии, и мы чувствовали себя близкими людьми.

Надя ночи напролет рисовала, вставала поздно, на море не ходила. Зато под вечер мы долгими часами гуляли по сосновому лесу, тянувшемуся полосой между дачными поселками и широкой, но какой-то безжизненной рекой Лиелупой.

У Нади кончались деньги, никаких планов на будущее не было. Она сходила в Рижское министерство образования, но работы для нее не нашлось. Вилье очень старался помочь Наде с работой, нашла ей место воспитательницы в школе механизаторов где-то на границе с Эстонией, Надя съездила туда и наотрез отказалась.

В уме этой тихой улыбчивой женщины царил кавардак. Я понимала, что спасти ее может один Бог. Евангелия у меня с собой не было, и, бродя по жаркому сосновому бору, я рассказывала ей о Христе. Она жадно слушала.

В субботу предупредила ее, что в воскресенье поеду в православный храм в Дубултах.

— А можно мне с вами? — робко спросила Надя.

В прохладном уютном храме было немногочисленно. Надя осталась стоять у дверей. Я подала записки, купила свечи и выяснила, что Библии у них в продаже нет. Прошла поближе к царским вратам и всю службу горячо молилась о даровании веры рабе Божией Надежде.

Подойдя в конце службы ко кресту, в двух словах рассказала рыжему румянному отцу Иоанну про Надю и попросила помочь со Священным Писанием. Он всем сердцем откликнулся, переговорил с прислуживающими женщинами, и в конце концов для нас нашлось тоненькое дореволюционное издание Евангелия от Иоанна в розовом бумажном переплете, которое нам дали в подарок.

Едва мы вышли из храма, Надя воскликнула:

— Церковь мой дом! Мне всегда надо тут быть. Я завтра же должна креститься!

— Не спешите, Надя. Крещение для взрослого — шаг очень ответственный, с серьезными последствиями. Читайте пока Евангелие, вживайтесь.

В тот же день я купила себе билет в Москву. Надя не отходила от меня ни на шаг, записала телефон и адрес. А ночью мы опять не спали.

Надя рассказывала во всех подробностях, как в семнадцать лет убила собственное новорожденное дитя. Совершила преступление так обдуманно, что никто ничего не узнал.

Я в ужасе смотрела, как меняется ее лицо, зеленеет, покрывается какими-то вздутиями и пятнами. Вместо ухоженной миловидной Нади передо мной сидела безобразная жаба с выпученными безумными глазами детоубийцы.

— Надя, бедная, надо непременно рассказать об этом отцу Иоанну. Без глубокого покаяния вам нельзя и думать о крещении!

— Но я ни о чем не жалею. Если б снова все так сложилось, я бы опять то же сделала.

Утром я уехала в Москву. Дней через десять зазвонил телефон, и прежде чем взять трубку, я почему-то уже знала, что это Надя. Она звонила с вокзала и просила разрешения приехать.

Когда я открыла дверь, она сразу прижалась ко мне мокрым от слез лицом.

— Простите меня, простите! Я вас не послушалась. Но я не могла иначе.

На шею в вырезе черной майки у нее висела металлическая цепочка.

— Крестились?

— Да, сразу после вашего отъезда.

— Рассказали отцу Иоанну?

— Не смогла. Сказала ему, что надо исповедаться в тяжком грехе, но только плакала, и он меня крестил.

Надя осталась у меня, на другой же день пошла в ближайшую церковь и покаялась в убийстве дочери и занятиях спиритизмом.

Мало-помалу житейские ее дела устроились. Она вышла замуж, получила прописку, работу, обрела друзей. И самое главное, воцерковилась, стала христианкой и духовной дочерью отца Александра. Как-то я ее спросила:

— Надя, а что бы вы делали, если б тогда не попали в церковь в Дубултах?

— А я давно все решила, с тем и приехала в Меллужи. Когда кончились бы деньги, вошла ночью в море и шла бы и шла, пока дно не ушло из-под ног. Я ведь плавать не умею. Потому и не ходила на море, оно для меня было самой смертью.

Я слушала Надю и думала о патере Вергилиусе...

## Хорошо бы. И другим полезно



Ну какая другая страна занимала наши мысли больше, чем Соединенные Штаты Америки? Десятилетиями она оставалась в центре нашего внимания, и связь была попросту нерасторжима.

Можно понять: две беспорные сверхдержавы, два абсолютных полюса абсолютно противоположных систем, сомкнуты в мертвой хватке борьбы за мировое господство, и как противники в восточных единоборствах, принуждены к зеркальному повторению каждого движения друг друга, к своего рода взаимному отождествлению.

Но ведь мы знаем, что дело отнюдь не в том. Или — далеко не только в том.

Поколения новобранцев учились стрельбе по мишеням, на которых были изображены американские *Джи-Ай*, и поколения молодежи томились любовью к американским музыкальным записям, фильмам, сигаретам и вообще «всему американскому» — или тому, что казалось им таковым. Пресловутые «происки американского империализма» воспринимались как реальное объяснение любых мировых неурядиц, и в то же время сами Соединенные Штаты словно обладали иммунитетом от всех бед, вопреки дежурным пропагандистским сообщениям о падении жизненного уровня и росте безработицы «там, у них».

Но и неколебимой верой советского человека в то, что пропаганду надо понимать с точностью до наоборот, не объяснить нашего тяготения к Америке.

Ну, а то, что любовь была без взаимности, что мы из-за океана выглядели совершеннейшими нелюдьми, подданными «империи зла», а под конец даже любопытства к себе не вызывали — как с этим? Мы ведь очень любим, чтобы нас любили.

Очень просто — мы не верили. Переносили на Америку свои привычные представления и полагали, что там тоже нельзя выражать истинные чувства к нам, а то беда не оберешься, что такой понятный нам маккартизм есть нормальный компонент американского образа жизни, а как иначе?

Вот что не просто, так это уразуметь, откуда возникла прочно укоренившаяся в обыденном сознании мифологема о каком-то необычайном сходстве между нами и американцами, чуть ли не о тайном родстве душ, которое объединяет два народа и даже как бы выделяет эту пару среди остального человечества. Разве были разговоры о сходстве между, скажем, русскими и французами или русскими и немцами? Боже сохрани! А вот американцы — совсем другое дело... Кстати, уж какая крепкая циркулировала дружба между Москвой и Пекином, уж как тут побратимствовала официальная пропаганда, а возникли политические распри — и дружбу как рукой сняло, в то время как заведомые враги — американцы не переставали жить в наших сердцах.

Еще перестройкой и не пахло, когда всякого рода «герлы», «трузера» и прочие «шузы» просочились под железный занавес и заняли прочное место в нашем городском жаргоне.

Занятно, конечно, поразмыслить над тем, что в «Заводном апельсине» Берроуза англий-

ская подростковая шпана говорит на сленге, пересыпанном русскими словами, как бы символизируя универсальность идеологии ненависти и насилия, общепризнанным эталоном которой в глазах Запада десятилетиями была наша страна — но это уже совсем другая тема.

А нам просто нравилось все американское и сами американцы!

Сходство, родство душ с американцами будто приобщало нас к тому блеску мировой державы, нашей первой и единственной соперницы, который так манил, внушая смутную надежду на совместное всемирное господство... А различий мы видеть не желали.

Простые ребята, душа нараспашку, сердечные — то есть совсем как мы. Головы им задурило ихнее начальство, вот они и тянут на нас, а так — свои парни и живут хорошо, не в пример нам. На другом уровне велись высокоумные разговоры, скажем, о постановке дела в американской науке, или медицине, или еще в чем, но все сводилось в конечном счете к этому ощущению — мы похожи, а дали бы нам шанс, так мы бы еще доказали, что получше их все умеем!

Впрочем, не будем всматриваться в эту нашу душу-распашонку и в простоту, которая с поразительной легкостью перешла в воровство, попробуем присмотреться к американцам. Самое время.

Самое — потому что маятник пошел в другую сторону, поспешная замена образа Врага номер один на образ Друга за тем же порядковым номером ни к чему естественно не привела; разрозненные попытки пересадки американского опыта вылились в проекты Нью-Васюков, разочарование в реформах отзывается антиамериканскими настроениями, которые становятся существенным фактором внутривнутриполитической жизни России, а жадное, неразборчивое стремление побегать по американскому пути сменяется желанием топтать по пути исключительно русскому, пусть даже неведомо куда.

Реальное соприкосновение на уровне реорле to реорле сразу обнаружило всю фантомность схода, а заодно показало, какая бездна взаимонепонимания зияет между нами, как сильно влияние истории и национального характера на ролевые установки России и Америки.

К тому же после долгого противостояния встретились пристыженные и растерянные граждане вчерашней сверхдержавы с довольными избавлением от страха гражданами сверхдержавы, ныне единственной. Победенные с победителями, меньше всего ожидавшими победы, но с удовлетворением принявшими ее как должное.

Впрочем, кто кого победил и какой ценой, тоже тема отдельная.

Тысячестраничный труд Макса Лернера можно назвать современной классикой, у нас переведено его тридцать пятое издание. В русском переводе он назван «Развитие цивилизации в Америке», хотя автор его назвал точнее — «Америка как цивилизация». Это и составляет главный предмет интереса Лернера, суть его исследования: можно ли рассматривать Америку как отдельную, особую цивилизацию? Лернер пишет, что обсуждал этот вопрос с Тойнби, который вежливо отказал Америке в претензиях на особость — она представляет собой не более чем ответвление западной цивилизации, или, как пишет Лернер, «хвост европейской собаки».

И продолжает:

«Я был настойчив в своей ереси. Я чувствовал, что Америка отвоевала свою независимость от Европы не только в политике и экономике, но и в науке, технологии, производительности, культуре, религии. Общество и культура в целом сформировали собственный вид цивилизации. Содержание и последовательность пройденных ею фаз развития были оригинальными, а не скопированными с других цивилизаций. Даже будучи совсем молодой цивилизацией, Америка уже начала отрезать свой помост у истории (это и было предметом моего критического исследования цивилизации), прочертила в ней собственную траекторию».

Признаюсь, вопрос о том, насколько самостоятельна американская цивилизация и какова степень ее родства с цивилизацией Запада, волнует меня меньше, нежели другой: учитывая вес, которым обладает Америка в нынешнем мире, а также неукротимое мессианство американцев, уверенно и упорно предлагающих миру собственные модели жизни, — насколько поддается трансплантации американский опыт? И так ли он универсален — ну хотя бы в свете того, что нам каждый божий день преподносят последние известия?

Лернер же пишет, что «американский народ — right or wrong<sup>1</sup> — смотрит на свою

<sup>1</sup> Прав или неправ (англ.).

родину как на образец, которому рано или поздно будет следовать весь остальной мир».

Попутно, в другом месте Лернер утверждает: «...русской культурной традиции присуща склонность к мессианству, менее свойственная американскому характеру...»

Исследование Лернера — редкое сочетание глубины анализа и легкости изложения, но, читая его, я постоянно спрашивала себя, как выглядела бы подобная книга о России, — разносторонний, взыскательный и непредвзятый поиск ответа на вопрос вопросов «кто мы?» — и почему она не появилась на свет? Потому ли, что Америка отважней России всматривается в себя, или потому, что потребность в самоидентификации там острее?

Георгий Гачев, человек, давно доказавший, что не способен мыслить тривиально, в своей увлекательнейшей серии размышлений об образах различных народов мира написал, что культуры и ментальности различаются по тому, как в них понимается происхождение мира и всего сущего в нем. Порождается ли мир Природой или производится Трудом? ГЕНЕЗИС или ТВОРЕНИЕ? Гония или Ургия? Так вот, он считает, что Америка есть пример мира Ургии без Гонии. Действительно, в отличие от той же России, Америка не произросла естественно и почвенно, снизу вверх, но была насаждена, учреждена — сверху вниз. Та, разумеется, Америка, о которой сейчас речь, расчистившая для себя почву уничтожением ей предшествовавшей.

Россия изначально была, сейчас есть и вовек пребудет Евразией, раскинувшейся на пограничье Европы и Азии, напитанной соками двух цивилизаций и выросшей в третью — как ребенок, который, наследуя гены обоих родителей, есть особь, вполне отличная от обоих.

Америка же скорей похожа на перенесенный на чужую почву саженец европейского древа со множеством последующих прививок. Дерево разрослось, но можно ли утверждать, что его корни сплелись в многокорневую цивилизацию, и можно ли эту страну иммигрантов назвать вслед за Уолтом Уитмэном «нацией наций» — это еще вопрос.

Мне кажется, что Америку в первую голову выделяет из всего мира именно уникальность ее происхождения, которая делает сравнение других народов с ней крайне затруднительным. Америка мне представляется чем-то вроде другой планеты, колонизованной землянами, которые под воздействием совершенно новых условий жизни — Новый Свет же был для них *tabula rasa* — значительно видоизменились. Они стали там приобретать и проявлять свойства, которые не то чтобы отсутствовали на планете старой, но здесь они получили принципиально новые возможности развития.

Со временем эта планета, оказывая все большее воздействие на старую, стала играть роль своего рода испытательного полигона, первой проигрывая на себе ситуации, которые позднее зачастую приобретали всеобщий характер.

Условия для эксперимента создались идеальные.

За морями-океанами — в те времена расстояния были куда реальней, чем нынче — лежал прекрасный материк: земля плодородна, и реки многоводны, ландшафт многообразен, и недра изобильны. И жили там меднокожие и узкоглазые палеоазиаты в удивительно гармоничном взаимодействии с природой, частью которой — не властителями — они себя считали.

Пришельцы из другой цивилизации высадились там, гонимые на новую планету двуединым желанием: вырваться из старой жизни в Старом Свете, где им было плохо, и немедленно воспроизвести оставленное в Свете Новом, но так, чтобы теперь стало хорошо.

На планете Новый Свет лоб в лоб сошлись две принципиально разные цивилизации: Ургия и Гония, пользуясь гачевской терминологией.

Результат известен, и хотя Лернер пишет о появившейся теперь тяге «к истокам, к индейскому взгляду на жизнь и к индейским ценностям как одному из возможных путей, что в свое время затерялся в суетливой погоне за американским успехом», по сути от индейцев только и осталось что кое-что в топонимике и еще названия племен, ныне воскрешаемые в именах дорогих отелей типа «Алгонкина», хищного вида брюхатых военных вертолетов — «Апаш» и прочих атрибутов сегодняшней жизни.

Остался и разошелся по миру и образ гордого, благородного индейца — эдакого Монтигомо Ястребиный Коготь — удивительной красоты некролог, созданный американской литературой по тобиенным юной американской цивилизацией.

Лернер цитирует Токвиля:

«Испанцы так и не сумели полностью уничтожить индейский народ. Даже в попыт-

ке лишить его прав они не добились полного успеха, невзирая на беспрецедентное зверство, покрывшее их несмываемым позором. Зато граждане Соединенных Штатов достигли той же цели с поразительной легкостью, спокойно, законно, не проливая крови, не нарушая ни одного из великих моральных принципов, оставаясь образцом любви к ближнему в глазах всего света. Оказывается, можно уничтожать людей, свято соблюдая заповеди гуманизма».

А.Зверев<sup>1</sup>, американским студиям которого все мы очень обязаны, подчеркивает очень важное, на мой взгляд, обстоятельство — первоотчетком американской цивилизации послужила великая мечта, задача эксперимента была не меньше, чем практическое осуществление христианства — без той фальши, которая к нему приросла за столетия.

Однако воплощал эту мечту в реальность Homo Faber — человек фабрикующий, человек дела, свято верующий в единственность своей правоты и, конечно же, суммарно относящий инакововерующих и инакодействующих к разряду дикарей и язычников.

История того, как, противоборствуя, уравновешивались две константы американского духа — благородный идеализм и неукротимая практичность, это и есть история возведения величественного здания американской демократии.

Вехи колонизации новой планеты и построения экспериментального общества известны из учебников — потоки иммигрантов устремились к новой жизни на немеренных американских просторах, «винтовка, топор и мешок зерна», потом «белый хлопок черными руками», потом кровопролитная Гражданская война с победой аболиционистов, так и не освободившая негров, все новые потоки иммигрантов, география прародин которых все расширялась, «американская мечта», «американский успех» и так далее.

Но первую неевропейскую этническую струю влили в кровоток Америки как раз африканские рабы. Столько было сказано и написано о роли негров в становлении Америки, о влиянии негритянской культуры, о борьбе против сегрегации, но на черных американцах по-прежнему лежит несмываемая печать их отделенности, которую теперь они уже и смывать не желают.

Портрет человека, руками и умом которого Америка вышла в мировые лидеры, Лернер рисует так: «...структура новой личности, сформировавшейся в Америке, включает в себя мобильность, энергию, синтез самых разнообразных этнических черт, оптимизм, техническую хватку, стремление к власти, добродушие и некоторую нравственную неразборчивость».

Страна иммигрантов, Америка очень скоро пришла к осознанию необходимости сотворения американской нации — сопряжения в некое единство великого множества разнородных этносов.

Так появился на свет девиз Америки — *ex pluribus unum*. Из множества — единство.

Именно об этом мне и хотелось бы поговорить — по многим причинам. И потому, что живу я в стране, которая от деклараций о многонациональном советском народе сразу перешла к этническим войнам на уничтожение, и потому, что я индолог и всю жизнь занимаюсь страной неимоверного числа племен, наречий и вер, и, наконец потому, что в масштабе глобальном этнические проблемы по остроте сейчас выходят чуть ли не на один уровень с экологической угрозой и не думать о них невозможно.

*Ex pluribus unum*. Сама грамматическая конструкция свидетельствует о направлении движения — к *unum*.

Противоположный вектор движения в индийском девизе: *unity in diversity*, единство в многообразии. Ударение делается на сохранении многообразия.

Понятно, что Америку и Индию сопоставлять невозможно ни по одному параметру — только противопоставлять, но мне кажется, что как раз между их полярными концепциями единения этносов можно поискать ключ к осмыслению, по крайней мере, одной из причин остроты этнической напряженности, которая сотрясает мир.

Похоже, что в этническом смысле Америка — прообраз ближайшего будущего всей планеты, на которой этносы, прежде смутно подозревавшие о реальности существования друг друга, приходят в физическое соприкосновение «раньше, чем успели один другого полюбить», по словам Тойнби.

Собственно, уже десятилетиями в мире противоборствуют две тенденции: миро-

<sup>1</sup> Статья А. Зверева «Букварь для взрослых» см. в «ДН», 1994, № 7.

вая экономика, мировые финансы, а в последнее время и возросшее осознание экологического кризиса настоятельно диктуют интеграцию человечества и установление общемирового порядка. С другой стороны, все с большей настойчивостью заявляет о себе стремление к национальному обособлению, которое сейчас на наших глазах перерастает в этническое дробление, чему, похоже, не предвидится конца.

Императивность интеграции — в той или иной форме — не нуждается ни в пояснениях, ни в обоснованиях; что же касается взрыва национализма или этноцентризма на самом излете XX века, в особенности после окончания «холодной войны» и соперничества блоков, которое постоянно подпитывало всякого рода национально-освободительные движения (даже когда под этим пышным названием шли просто племенные войны), то он во многих случаях кажется необъяснимым.

На самом деле, пример Америки с наибольшей наглядностью показывает, что эти разнонаправленные тенденции суть две стороны одного процесса: могучая ассимилирующая сила Америки вызывает столь же мощное стремление к сохранению этнической самобытности. И Лернер прекрасно демонстрирует этот процесс на примере еврейской общины, в которой наблюдается «почти циклический процесс чередования двух тенденций: тяги к растворению в культуре большинства и тяги к активному самоутверждению самой субкультуры».

Макс Лернер возлагает надежды на конечное торжество «могучей ассимилирующей силы американского общества». Его соотечественник, футуролог Олвин Тоффлер, напротив, предрекает Америке раскол по этническим линиям. Но, поскольку известно, что кто бы ни открыл воду, то была не рыба, мне хотелось бы обратиться к свидетельству нашего наблюдательного соотечественника Василия Аксенова, тем более что оно касается чрезвычайно существенного аспекта взаимоотношений меньшинств — не только этнических — с большинством. И конечно, не только Америки.

В недавнем интервью журналу «Столица» (1995, № 1) Аксенов говорит:

«Америка сейчас вызывает у меня тревогу. В нее заложена взрывная машина замедленного действия — проблема меньшинств, и прежде всего проблема этническая. В шестидесятые годы американские интеллектуалы уверенно говорили мне, что уж двадцать-то лет спустя мы здесь не будем обращать на национальность никакого внимания. Вышло, к сожалению, иначе. Рухнула американская мечта о плавильном котле наций. Наблюдается диктатура меньшинств — тоталитаризм от противного... Я люблю американскую университетскую элиту...но в этой среде существует настоящий культ меньшинств. Я понимаю, что за ним стоит двухвековая демократическая традиция, но это другая крайность, для демократии самоубийственная».

Стремление интеллигенции, привилегированной элиты, сливок общества выступать на стороне угнетенных было бы и благородно, и прекрасно — кто знает, может быть, даже конструктивно, если бы не диктовалось комплексом вины. Вина за собственную элитарность оборачивается тем, что интеллектуалы готовы, защищая права меньшинства, заодно освобождать его и от обязанностей в отношении большинства — меньшинству выдается полная индульгенция.

Проблема взаимодействия большинства с меньшинством — с меньшинствами в американском контексте — это и есть знаменитая «дилемма Мэдисона», она же и ловушка демократии: если демократия есть правление волей большинства, то как быть с волей меньшинства?

Между тем проблема переходит в разряд актуальнейших по мере того, как приходят в движение этносы, — именно этнические трения несут в себе самый большой эмоциональный заряд, поэтому положение этнических меньшинств грозит самыми неприятными последствиями.

«Что лучше всего в отдельных людях-мигрантах и в отложившихся народах? Я бы сказал, их переполненность надеждами. Загляните в глаза этих людей на старых фотографиях. Непомеркший свет надежды пробивается сквозь потускневшую сепию. А что хуже всего? Пустота их багажа. Я имею в виду незримые чемоданы, не физические, скорее всего фанерные, с немногими лишившимися смысла пожитками — мы отлепились не просто от земли. Мы всплыли над историей, над памятью, над Временем».

Это уже не Лернер. Это Сальман Рушди в романе «Стид».

А природа, как известно, не терпит пустоты. Мигрантам, меньшинствам необходимо куда-то прилепиться: либо попытаться ассимилироваться, либо постараться отгородиться, всеми правдами и неправдами охраняя свою особость от большинства.

Что касается Америки, то pluribus — ее естественное состояние, в отличие от

великого множества других государств. С одной стороны, государств моноэтнических уже по-настоящему и не осталось, с другой же — идет повсеместный рост национализма и фундаментализма — отнюдь не только религиозного и уж никак не только мусульманского, — все сильнее дает о себе знать этнократия, благополучные — и демократические — государства одно за другим сокращают возможности для въезда «инородцев», переходя на положение осажденных крепостей, что, мягко говоря, не полезно для демократии, на которой зиждется их благополучие, и созданию разумного мирового порядка тоже не способствует.

Но поскольку Бог создал человечество многообразным и никуда от этого не денешься, а прогрессивное человечество уже давно на словах научилось ценить «высокий конструктивный потенциал» этого многообразия, так, может быть, надо посмотреть, что представляет собой концепция *ипит*?

Вернемся к Лернеру и к «ассимилирующей силе». Или, как он пишет, «почти принудительному внутреннему импульсу к повышению жизненных уровней». Разве не подразумевается под этим требование, чтобы все оседающие в Америке этносы приняли цивилизацию Ургии, доктрину индивидуализма и систему западных ценностей? Вещи, вполне чуждые для многих из них. Иными словами, по сути, речь идет не о «синтезе этнических характеристик», а об унификации этносов, если только не считать синтезом карнавальную пестроту современной моды или разнообразие кухни.

Унифицирующий характер носят и мировые интеграционные процессы. Мало того, что к унификации неизбежно ведут современные технологии, но в силу очевидного технического и материального превосходства западной цивилизации сегодня — сегодня, потому что история еще не кончилась, ошибается Фукуяма, — ее ценностные ориентиры навязываются всему человечеству, в частности как международные нормы. А это вызывает сильнейшую защитную реакцию у носителей иных ценностных ориентиров, которая подчас принимает просто чудовищные формы.

Что и говорит, потребностям и миграции, общим потребностям мира, как и отдельных государств, куда больше соответствовала бы концепция единства в многообразии, но пока что явно доминирует тенденция противоположная — и мир ходит ходуном.

Америка после второй мировой войны в глазах мира сделалась бесспорно «самой», не имеет значения в позитивном или негативном смысле — но самой: самой привлекательной или самой отвратительной, самой богатой, но... самой могущественной, но... самой передовой или самой варварской — все равно самой, такой эталонной рисксой на мировой шкале ценностей, вверх или вниз от которой — опять же в зависимости от подхода — размещаются достоинства прочих стран и народов.

И — Америка во всем первая. Вразброс: первой превратила автомобиль из роскоши в средство передвижения и испытала на себе последствия автомобильной цивилизации; первой вступила в компьютерную цивилизацию; первой наладила конвейер масс-культуры, триумфально шествующей по белу свету, о чем можно только сожалеть. И атомную бомбу тоже опробовала первой, и СПИД первой у себя обнаружила.

Более того, помимо реального вклада Америки в мировую цивилизацию, по словам Макса Лернера, «есть сама Америка в качестве мифа такого масштаба, которому нет соперников в современной истории».

Красивые мифы обладают поразительной жизнеспособностью. Впрочем, и реальная Америка свою поразительную жизнеспособность уже доказала. Очень может быть, что она опять будет первой и сумеет создать подлинно многокорневую цивилизацию — хорошо бы. И другим полезно.

Может быть, и мы перестанем жить по принципу маятника, сохраним свое евразийство, будем и Востоком и Западом, оставаясь собой. Тоже хорошо бы. И другим тоже полезно.

Валентин Шелохаев

## Глупо делить эту маленькую Землю

Беседу ведет Лариса Мугалева



**Л.М.:** Уважаемый Валентин Валентинович, в прошлом году на проходившем в Москве Международном симпозиуме «Взаимодействие политических и национальных конфликтов в современной России» мне довелось слушать ваш доклад о «зоологическом» и «культурном» национализме. Вы говорили тогда, что национализм — историческая реальность и от него нельзя избавиться, как горбуну никогда не избавиться от своего горба, но нужно научиться придавать ему цивилизованные формы. И я удивилась, что, занимаясь такими проблемами, вы, если не ошибаюсь, не выступали на страницах «Дружбы народов»?

**В.Ш.:** Пока нет. Но читаю ваш журнал и считаю, что на протяжении уже многих лет «Дружба народов» выполняет очень важную миссию — в меру своих возможностей формирует бережный, умный и, я бы сказал, добрый подход к решению национальных проблем. Поэтому я рад возможности — и благодарен за нее — высказаться на этих страницах по вопросам, которые волнуют многих.

**Л.М.:** Спасибо на добром слове. И поскольку это действительно ваша первая встреча с читателями «ДН», я хотела бы начать именно с того, чтобы познакомить их с вами не слишком формально, если позволите. О том, что вы — доктор исторических наук, профессор, действительный член Международной академии информатизации, что в Российском независимом институте социальных и национальных проблем руководите программой «Политические партии и движения в России», вероятно, многие — те, кто следят за специальными изданиями, — знают. А вот где вы родились, где и чему учились, что любите читать, каковы ваши партийные пристрастия, кумиры?..

**В.Ш.:** Учился я в Саранске, на историко-филологическом факультете университета. Мордовия, как известно, была страной лагерей и ссыльных. Так вот лекции нам читал сам Михаил Михайлович Бахтин. Вообще с учителями мне повезло, среди них я бы назвал Поршнева и Михаила Яковлевича Гефтера, с которым мы часто встречались. Словом, повезло попасть в круг умных людей. Это определило в какой-то мере и мои литературные пристрастия. А началось с домашнего чтения. Моя мама — учительница русского языка и литературы, и русскую классику я начал даже не читать, а слушать с детства: мама блестяще читала. По сей день перечитываю до бесконечности Пушкина, Достоевского — они самые любимые. Из западных — Гете и Шекспир. Потом увлекся филологией; читал все: от древних до Рассела. И разумеется, пытался размышлять.

Что касается кумиров и героев, отвечаю честно: их у меня нет. А партии изучаю профессионально, но сам сознательно нахожусь «вне контекста» и не симпатизирую никаким политическим элитам. Национальными же проблемами интересуюсь не только в силу профессии, но и по-человечески.

**Л.М.:** Вот к ним-то давайте и перейдем. Известно, что они — из самых сложных и болезненных. Что для вас, человека, размышляющего о них, главное?

**В.Ш.:** Главное — определить угол зрения. Если подходить к ним с позиции общечеловеческих нравственных ценностей (а это ценности, в какой-то мере основанные на религиозных принципах), то можно сказать, что проблем таких вообще не должно существовать. Все мы — творения Божьи, и «нет ни эллина, ни иудея». Я именно такой точки зрения и придерживаюсь и желал бы, чтобы ее разделяли все. Но, к великому

моему сожалению, преобладают иные взгляды, единомышленников у меня не так уж много, во всяком случае, недостаточно.

**Л.М.:** И скорого расширения их круга, похоже, ждать не приходится, ведь межнациональные проблемы возникли не вчера и исчезнут (исчезнут ли?) не завтра.

**В.Ш.:** Да, корни этих проблем уходят в глубокую древность, но они не сразу возникли в нынешнем своем объеме. Один из крупнейших отечественных специалистов, философ и историк Поршневы обратил внимание на «созревание» национальных проблем. Если обернуться в глубь веков, мы увидим там обособление различных групп, племен, имеющих свои психофизические, физические особенности, разные предметы обихода, привычки, традиции, обряды. Впоследствии все это связывается с определенной территорией, с землей...

**Л.М.:**...И эта связь порой становится камнем преткновения в межнациональных взаимоотношениях? Ведь, борясь фактически именно за территорию, за право владеть ею, иные политики-националисты используют национальные чувства людей.

**В.Ш.:** Да, к сожалению, во многих местах, в частности и у нас сейчас, опасно педалируют эту тему, выдвигая тезис об «этнической чистоте». Но каждый, кто занимался хоть немного историей вопроса, знает, что ни о какой этнической чистоте не может быть и речи. Всеобщий процесс миграции племен и народов привел к переплавке в более или менее общем котле. Я вовсе не хочу сказать, что не следует обращать внимания на этническое и национальное своеобразие народов, изучать его, что следует игнорировать или отрицать различия между народами. Напротив, разнообразие культур и традиций — благо, оно обогащает всех. Но нельзя делать одного — сравнивать и говорить о превосходстве одних народов над другими. А что касается этнической чистоты, то возникновение этносов я бы скорее отнес к тем периодам истории, когда начали выделяться определенные *конгломераты* народов, которые присваивали себе общее имя.

Так было везде, подобные процессы шли и в Латинской Америке, и в Африке, и на Ближнем Востоке... На территории современной России в результате таких процессов складывались государственные объединения, определялись территории, формировался общий литературный язык. И в подобном сформировавшемся социуме национальные вопросы становились все более социальными, политическими, то есть зачастую они начинали использоваться для решения не «чисто национальных», а меж- и внутригосударственных проблем.

**Л.М.:** Увы, порой в форме кровопролитных войн...

**В.Ш.:** К счастью, Россия в своей истории избежала национальных войн, это одна из характерных черт тысячелетней российской истории, равно как и отсутствие в ней религиозных войн, которые в свое время охватили Европу и унесли огромное количество жизней. В России был религиозный раскол, но он не вылился в войну.

**Л.М.:** А почему так случилось, как вы думаете?

**В.Ш.:** В силу ряда причин, полагаю. Во-первых, к тому времени, когда это происходило, уже сформировался русский этнос, который по численности превосходил другие, имел сравнительно развитые культурные и государственные традиции, и, присоединяя иные народы, он интегрировал их в государственную систему России. Во-вторых, я бы отметил влияние православия в деле объединения государств и отражении внешних врагов.

В общем, России всегда была свойственна веротерпимость и национальная терпимость, на бытовом уровне народы здесь всегда уживались друг с другом. Я не хочу сказать, что не было всякого рода предрассудков, но не было и такого, как, скажем, на Американском континенте, где завоеванные народы подверглись почти полному физическому уничтожению. Приведу пример из собственного жизненного опыта. В маленьком провинциальном городке, где я родился и жил — в Кузнецке Пензенской области, — пленные немцы строили дорогу Москва — Куйбышев. Она проходила как раз мимо нашего дома. В этом небольшом городе погибло восемь с половиной тысяч человек, в том числе и мой отец. Но не было случая, чтобы кто-то обидел пленного немца: плюнул, бросил камень... Наоборот, жители подкармливали их исподтишка, чтобы власти не знали. Я видел это своими глазами.

**Л.М.:** Об этом, кстати, вспоминают и многие немцы, побывавшие у нас в плену. Но как же тогда быть с погромами?

**В.Ш.:** Я ведь говорю не о тех отдельных людях — десятках, пусть сотнях, — которые всегда найдутся в любой стране и почти в любой конкретной ситуации и которые охотно отключаются на провокации властей или определенных групп политиков. Они есть в Германии, есть в Америке, во Франции, есть они и у нас. Но дело-то не в них. Я возражаю тем, кто говорит, что национализм заложен у народа в подкорке, является в некотором роде его коллективным подсознательным.

Возвращаясь к вопросу о том, почему Россия избежала религиозных и национальных войн, упомяну и третий фактор: государственная власть умела включить местную элиту в общегосударственную, тем самым сглаживая проблемы между Россией и присоединенными или завоеванными народами.

**Л.М.:** Картина получилась благостная, но почему же тогда Российская империя все же развалилась?

**В.Ш.:** Это вопрос сложный. Факторов, приведших к этому, много, но я бы отметил едва ли не главный — не экономический и не социальный, а политический. Интеллигенция — и русская, и национальных окраин — всегда была обуреваема первая чувством вины, вторая — гневом из-за того, что центральная власть эксплуатирует окраины, подавляет национальные культуры, обирает малые народы.

**Л.М.:** Но ведь нельзя сказать, что этого не было.

**В.Ш.:** Было. И про «тюрьму народов» не то чтобы зря сказано. Но «тюремщиками» были центральные власти, а тень незаслуженно пала на всех русских. Эта — в чьих-то устах невольная, в чьих-то — вольная — подмена и была использована определенными политическими силами с целью раскачать единство. И началось это не в последние годы, а еще в прошлом веке. Украинская, прибалтийская (особенно латышская и литовская), армянская, еврейская, а позже, уже после революции 1905 года, интеллигенция мусульманских регионов, начав с требования национально-культурной, затем территориальной автономии, кончила максималистскими лозунгами государственного отделения. Причем, занимаясь историей вопроса, я убедился, что идеи эти возникали на уровне теоретического сознания, массовое же сознание до требования государственного отделения не поднималось. Что же касается русской интеллигенции, то она в этом вопросе не была единой. Интеллигенты-либералы — октябристы, кадеты — стояли на позициях унитаризма. Крупнейшие представители либерально-интеллектуальной элиты — Милюков, Вернадский, Струве, Котляревский, Новгородцев, Бердяев, Булгаков и другие — были унитаристами, за что их резко критиковали слева. Но они считали, что если в жизни, а не на бумаге будет реализована идея прав человека, свободы личности, независимо ни от чего, в том числе и от национальной принадлежности, тогда вопрос о национальных перегородках станет бессмысленным. В основе их концепции лежала идея прав человека, которая давала шанс избежать распада России. Но этот шанс был упущен в 1917 году. Мне кажется, он был упущен и еще раз, в 1991-м. Мне бы очень хотелось, чтобы теперь, когда начинаются в нашей стране (дай-то Бог!) процессы строительства правового государства и гражданского общества, к этой идее отнеслись более внимательно и серьезно, ибо без этого Россию, как многонациональное государство, возможно, подстерегают новые неприятности.

**Л.М.:** Вы, кажется, не слишком жалуете интеллигенцию? Но ведь не интеллигенция, или не только интеллигенция, делает политику.

**В.Ш.:** Я никого ни в чем не обвиняю. Но коли уж мы коснулись этой темы, нужно развести понятия: образованное общество, интеллектуалы — и интеллигенция. Это вовсе не одно и то же. В России интеллигентами фактически считали тех, кто генерировал идеи общественного и государственного переустройства и боролся за их реализацию. Толстой себя интеллигентом не считал. Струве тоже предпочитал причислять себя к интеллектуалам, а еще чаще говорил об образованном меньшинстве. Я тоже разделяю эти понятия, никого при этом ни в чем не упрекая. Просто интеллигенция — это часть рефлексирующей среды, которая генерирует и реализует в программах и организационных структурах систему собственных идей.

**Л.М.:** В том числе и в части решения национальных вопросов. А как лично вы думаете, есть ли вообще решение у национальных проблем? Ведь похоже, что все они — тупиковые.

**В.Ш.:** Единственный рациональный способ решать их — это осуществить на деле и в полной мере права человека. Повторю, эту идею предлагали уже на заре века. Но так называемая социалистическая, или леворадикальная, интеллигенция настояла на идее федерализма. Проблему прав личности она вообще игнорировала, подменяя ее классо-

выми интересами, которым личность обязана была полностью подчинить свои собственные.

Третье крыло интеллигенции, националистическое, стояло на страже унитарного государства, соглашаясь лишь на незначительные реформы, и решение национального вопроса видело в «закручивании гаек». Это было сильное, влиятельное движение, и его идеи получили некоторое отражение в столыпинских законопроектах.

**Л.М.:** Напоминает сегодняшнюю ситуацию, не правда ли?

**В.Ш.:** Да, общее есть, хотя и расхождений много. Тут важно понять логику. Скажем, «развал» 1917-го и 1991-го. И тогда и теперь идея возникла на уровне теоретического сознания и воплотилась в конкретных политических действиях. На уровне обыденного сознания ее изначально не существовало: вспомним референдум марта 1991 года. Вместе с тем, как в 17-м, так и теперь, есть силы, весьма могущественные и крепнущие день ото дня, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить собственную власть на своих территориях. Власть логически связана с собственностью. Это две стороны одной медали. Мы видим характерную картину: коммунисты-интернационалисты (до 1991-го) превращаются в национал-коммунистов (после 1991-го). Значит, дело не в «идее», а в том, чтобы сохранить власть и собственность, под какой маркой — не важно.

**Л.М.:** Вы не в первый раз называете 1991 год как рубежный.

**В.Ш.:** В 1991 году совершены по крайней мере две фундаментальные ошибки. Во-первых, отмена статьи 6-й стала чисто символическим актом: все партбоссы остались на своих местах. Как и прежде, они продолжают возглавлять многие бывшие республики, сохранился и весь аппарат — не только партийный, но и государственный, вплоть до избирательных комиссий и учреждений, связанных с вопросами собственности.

Вторая основополагающая ошибка состоит в том, что было упущено время, чтобы провозгласить права человека и конституционно закрепить их, после чего можно было бы говорить об ином национально-государственном устройстве. К большому сожалению, теперь решить эти проблемы будет чрезвычайно затруднительно: местные политические элиты прочно держат власть и мирно не отдадут ее ни за что. Идет и раздел собственности, то есть власть укрепляет свою социальную базу. Так что теоретические модели можно предлагать какие угодно, а вот реализовать их едва ли удастся.

**Л.М.:** Вы имеете в виду идею административно-территориального деления страны, исключающего национальный признак?

**В.Ш.:** В принципе я поддерживаю эту идею, но, в отличие от некоторых (напомню, что ее подхватил и использует в своих целях Жириновский), прекрасно понимаю, что если попытаться воплотить ее уже сейчас, можно наделать много бед — по всей России станут возникать трагические конфликты, подобные чеченскому. Это кровь, и делать этого ни в коем случае нельзя. Сначала идею такого государственного устройства должны принять массы — а это если и произойдет, то, уж разумеется, не при жизни нынешних поколений. Это очень и очень отдаленная, хотя, надеюсь, все же реальная перспектива. Пока же путь к улаживанию межнациональных споров и претензий мне видится только один: постепенный, медленный, требующий огромного терпения, мудрости и взаимных уступок переговорный процесс между субъектами Российской Федерации с целью изживания взаимных «обид» и достижения максимальной справедливости во взаимоотношениях. Я надеюсь, что в этом деле будет усиливаться роль религий, в частности православной церкви.

**Л.М.:** А вот я с осторожностью отношусь к усилению роли не столько религии, сколько церкви в нашей жизни, потому что это очень напоминает новую моду.

**В.Ш.:** Искренне надеюсь, что в основном это все же не мода, а осознанное стремление. Ведь общечеловеческие ценности, о которых мы упоминали в начале нашей беседы и реальное следование которым помогает решить очень многие проблемы, в том числе и межнациональные (на бытовом-то уровне уж точно!), заложены почти во всех религиях — и в мусульманстве, и в христианстве... И церкви могут и должны способствовать не разделению, а объединению и взаимному уважению людей.

Вообще говоря, интеграционные процессы в перспективе неизбежны. Я не стану ссылаться на процесс объединения Европы или на «плавильный котел» Соединенных Штатов. Уверен, что это процесс повсеместный и объективный: когда на первый план выйдут не классы, не политические партии, не национальные государства, а человек, отдельная личность, ее права, ее интересы, то неизбежно произойдет мировоззренческий перелом. Национальные предрассудки отпадут сами собой, они лишатся почвы.

Я бы, как говорится, молил сейчас Бога, чтобы все политики взялись лечить

национальные конфликты и предрассудки в России. Ибо разделять людей на «чистых» и «нечистых» — грех. Другие вовсе отрицают наличие национальных особенностей, русского этноса, например. Это тоже, по моему убеждению, ошибка, и с научной, и с политической точки зрения.

Еще одна проблема, которая меня, как русского человека, не может не волновать. Более 20 миллионов моих соотечественников оказались за рубежами России в результате распада СССР. В России бывали переселенцы, бывали мигранты, но в мирное время в ней никогда прежде не было беженцев. И вот на исходе XX века мы впервые сталкиваемся с этим трагическим явлением, а государство явно не может справиться с ним. Когда я слышу, что на одного беженца выделяется 42 копейки (!) в новейшем исчислении, у меня руки опускаются. Посмотрите, что происходит в стране: в Чечне, на Кавказе... Как бы мы ни желали этого избежать, количество беженцев будет возрастать. И если государство не примет специальной, серьезной программы их обеспечения, никакие благотворительные фонды и частные предприниматели не спасут этих людей. И задача общества, в частности интеллигенции как «общественного чувствилища», — осознать весь трагизм проблемы и не давать государственным органам забывать о ней.

Следует помнить, что главная ценность в человеческом социуме — не этнос, не класс, не государство. Главная ценность — человек. Во имя его должно существовать государство, а не наоборот. Во имя его блага следует умирять национальные и этнические страсти, если они начинают грозить кровопролитием. Все остальное — не важно. Человек проживает очень короткую жизнь. Ему хватает болезней, природных стихий и прочих неприятностей, чтобы не добавлять к ним еще и искусственно созданных. Национальные предрассудки, противостояния, амбиции возникли только в сформировавшемся социуме. Социум и обязан их лечить. Потому что, повторю, никакие разговоры о том, что национализм идет из подсознания, нельзя воспринимать всерьез. Они способны лишь завести в тупик.

**Л.М.:** Но мировоззренческий сдвиг, изменение сознания — дело ой какое долгое! Должны же быть какие-то способы управлять национальными страстями до того, как такой сдвиг произойдет?

**В.Ш.:** Способ только один — система законов. Не личная воля руководителей, а только продуманные законодательные ограничения, запрет на пропаганду межнациональной розни, насилия в решении национально-территориальных претензий. А главное — строгое соблюдение этих законов. Не выборочное, а непреложное и всеобщее. Национализм есть тоже форма инакомыслия, а государство должно научиться сосуществовать с разными формами инакомыслия. Ну уничтожим мы группу людей, агитирующих, скажем, за сепаратизм. Что, исчезнет само явление? Нет! Инакомыслие — неотъемлемая составная часть любого демократического общества. И оно может быть не только либеральным, коммунистическим, оно может быть и, скажем, фашистским. Топать ногами, угрожать, сажать на цугундер — не выход, это лишь разжигает страсти. Только законы, не допускающие распространения человеконенавистнических идей и действий, нарушающих право на жизнь и свободу, позволяют цивилизованно решать проблемы и избегать трагических последствий. Если мы серьезно говорим о намерении строить правовое государство и гражданское общество, мы должны это осознать.

В демократическом обществе существуют институты, позволяющие осуществлять волеизъявление народов: референдумы, избирательные системы. Обыденное сознание — категория вовсе не уничижительная. Это реальный фактор, и он должен иметь возможность влиять на ход событий. У нас формально тоже существуют эти механизмы, но в России, как всегда, не спешат воплощать то, что объявили. Почему? Да потому, что зачастую это противоречит интересам властных элит. Власть и собственность затягивают.

**Л.М.:** Мало кто, подобно Диоклетиану, способен отказаться от них и удалиться, чтобы выращивать капусту.

**В.Ш.:** Поэтому-то они и должны находиться под контролем общества. Впрочем, для этого надо, чтобы гражданское общество в стране существовало. Любой демократический механизм работает только тогда, когда существуют два фактора: правовая система государства и гражданское общество. Тогда соблюдается разделение властей и права человека. В противном случае и избирательная кампания превращается в инструмент для достижения политиками своих целей.

Для России очень были бы важны законы местного самоуправления. У нас по

привычке взоры всегда обращены вверх, а ведь в глубинке — колоссальное поле деятельности для более успешного, чем сверху, решения многих проблем.

Вот в Бельгии гражданам не только предоставлено избирательное право, но на избирателя налагается и ответственность. Того, кто не приходит к избирательным урнам, можно привлечь к судебной ответственности. Это в цивилизованной-то Бельгии! Может, и нам следовало бы подобным образом воспитывать гражданскую ответственность у людей?

Граждане России по-прежнему плохо информированы в правовых вопросах. Это всегда было нашим слабым местом. К обязанностям мы более или менее привычны, а вот прав своих никогда не знаем.

Впрочем, все это излечимо. Только не хирургическим путем, не с наскака, а постепенно, кропотливо, начиная с малого. Позволю себе личный пример. Меня в детстве очень интересовал мой маленький городок с деревянными тротуарами, потом я захотел узнать — а что вокруг него, потом — каково его место в стране, а потом стал историком. Вот так и во всем. Чтобы поверить в перемены, люди должны видеть, что что-то делается вокруг них: сегодня, допустим, заасфальтировали один метр дороги возле дома, завтра — другой, а там, глядишь, и новую дорогу до соседнего города построили, куда раньше не проехать было.

**Л.М.:** Значит, теория малых дел и здравого смысла?

**В.Ш.:** Именно здравого. Что может быть лучше? Тысячу лет люди живут вместе. Перемешались так, что не разделить. Возьмем ту же Мордовию. Три миллиона двести тысяч жителей. Сколько там этнической мордвы, эрзя, мокши? Да меньше, чем в соседних с Мордовией областях — Пензенской и Ульяновской. Большинство — русские. И нет там никаких национальных конфликтов, потому что, слава Богу, хватает у людей здравого смысла не нарушать того равновесия, которое сложилось. Да, зачастую «перемешивали» народы сознательно, с умыслом. Но раз уж так случилось, давайте не вытаскивать на свет Божий того, что уже кануло в прошлое. Спокойно изучать прошлое, знать все о нем, дать всему, что произошло, справедливые оценки — да. Вытаскивать из истории отдельные факты, чтобы использовать их в сиюминутных политических целях — ни в коем случае!

И последнее. Мощнейшим фактором, помогающим разным людям жить вместе на одной территории, является культура. В самом широком смысле понятия. Богатство и разнообразие национальных культур обогащает каждую из них, об этом мы уже говорили. Но важна и культура общения, умение уважать убеждения и привычки друг друга. Кстати, в этом тоже заложен здравый смысл. Скажем, человек эмигрировал в страну иного языка, иной культуры, хотя бы в Америку. Никто не станет требовать от него, чтобы он выучил английский язык. Да пожалуйста, разговаривай на каком хочешь! Но как ты будешь работать? Учиться?

Культура в известном смысле выполняет ассимиляторскую функцию ненасильственного объединения людей.

Иными словами, социум обладает достаточными возможностями, чтобы решать накопленные национальные разногласия: творческий труд, культура, религия, совместные занятия... Все это объединяет. А если здравый смысл возобладает над тем, что искусственно разъединяет людей, жить станет много проще. Ведь, в сущности, людям глупо делить эту маленькую Землю.

Далия Трускиновская

## Письма из Латвии



Женька, привет!

Сегодня у нас был страшный день — мы делили бартер.

Каждый раз, когда, переезжая Даугаву, я вижу наш убогий небоскреб, то ищю взглядом редакционные окна и думаю: «Ну что за сюрпризы припасли мне на этот раз?» И потом, ныряя между трамваями, колотя каблуками по брусчатке — знаменитая! рижская! подделка преследуется законом! — я морально готовлюсь к очередным чудесам в решетке.

Помнишь верблюда? Того каменного неумытого верблюда, который стоял у развороченных дверей особнячка по соседству с нашим небоскребом? Так вот, верблюдика вымыли и масляной краской нарисовали ему седло с кисточками. Над дверью же появилась вывеска «Клуб меценатов». Но не спеши туда — никто там тебе на издание книги миллионов не отвалит. Это — просто кафе такое, с очень приятным интерьером. А при чем тут меценаты? А при том, что хозяин кафе — известный латышский детективщик Андрис Колберг. И по вечерам он там своих друзей собирает. Европа, однако!

Итак, въезжаю я на свой этаж и чуть ли не сквозь железные двери лифта слышу гомон.

Ты знаешь, наш маленький, но вредный русско-латышский коллектив — он почти исключительно дамский. И наш зав.отделом рекламы Евгений, когда есть возможность, принимает плату от фирм за рекламу леший знает чем. Понимает, что женщинам приходится считать каждый лат. Если бы мы еще и ценили это!

— Иди получать пайку! — кричат тебе через весь коридор.

Пайка может оказаться простыней всего за восемьдесят сантиметров (в магазине под два лата), или тремя пачками стирального порошка всего по двадцать пять сантиметров (в магазине около лата), или колбасой, или, Боже упаси, водкой с грейпфрутовым соком... Я к тому, что на прошлой неделе эта бартерная водка несколько парализовала работу редакции. Вкус — нежнейший, а что современной бабе надо? Тихо посидеть в уголке за бокалом и посплетничать о политике...

(Интересно, что закуска к ней пожаловала только вчера. Вкуснейшая копченая рыба, которую пришлось употреблять помимо водки... Все кабинеты благоухали!)

А потом...

— У меня в голове такая смагость...

— Чево-о?

— Смагость.

Стоп. Так. «Smags» по-латышски «тяжелый». Очевидно, тяжесть. Приехали! Это русская часть нашего коллектива родной язык забывает начинает. Впрочем, не я ли на днях ругалась: «Прихожу к здешнему зубодралу, а перед кабинетом — ринда»? «Rinda» — это по-латышски «очередь».

А вот коллега Лилия, доподлинная латышка, отрывается вчера от черновика и спрашивает, не помню ли я, как по-латышски называется такой орех с мозгами. Конечно, помню — «valrieksts», волошский орех, он же грецкий. Русский и латышский не такие уж разные, многие слова имеют общий корень. Латышский выучить на разговор-

ном уровне несложно. Вот когда знаешь его на порядок выше разговорного уровня, тогда и является на свет «смагость». Издержки билингвизма, так сказать.

В нашей редакции проблемы государственного языка не существует. Газета задумывалась как двуязычная, и коллектив нанимался с тем условием, чтобы все владели обоими языками. Но когда проблема латышского языка возникает в каком-то другом коллективе, то она может дорасти до политической. Ибо он у нас — язык государственный.

Вообрази себе здоровенную ярмарку в Спортивном манеже. За прилавками — женщины и девушки, которые потому-то и оказались за этими прилавками, что государственным языком не владеют. Вроде моей подружки по тренажерному залу. Она — инженер-строитель, а крупноблочное строительство в Латвии приказало долго жить. Высшее образование есть, рижского, а то и московского разлива, а латышский язык всю жизнь не был нужен. Вот и оказалась на улице по случаю сокращения штатов...

И бродят по этой ярмарке две чистенькие старушки, пристают к продавщицам по-латышски. Бедные девочки им по-русски: мол, чего желаете. А они девочкам под нос — два новеньких удостоверения...

— Караул! Языковая комиссия!

Мгновенно закрываются ларьки, слетают с прилавков товары. Кому охота пятьдесят латов штрафа платить?

Как-нибудь я расскажу тебе, сколько вреда понаделали в итоге эти милые старушки. И не кому-нибудь, не русским агрессорам и оккупантам — своим же родным и близким... Будь я президентом, ограничила бы возраст избирателей не только снизу, но и сверху. Чтобы особа старше шестидесяти, которая помнит, как хорошо было до войны, но больше ничего знать и видеть не желает, могла излагать свое мнение только в кругу семьи.

С одной стороны, действительно должны продавцы, медработники, транспортники знать оба действующих в государстве языка. С другой стороны, возможность выучить латышский есть у каждого: курсы наоткрывали и самоучителей навыпускали — навалом! Но, с третьей стороны, есть у русского, да и у всякого человека глубокое неприятие всего того, что навязывается насильно. В первую очередь — языка.

То, что для одного русского рижанина — мелочь повседневной жизни, для другого — политическая трагедия.

Латышские газеты — я имею в виду правые — трубят о засилье русского языка и верещат об угрозе вымирания для латышского. Если эта угроза есть, то русский язык тут уже ни при чем — в атаку пошли английский, немецкий, французский и прочие бизнесменские языки. Русские газеты огрызаются — насильственное навязывание латышского языка есть ущемление прав человека и достойно жалобы в ООН. Кошмар!

В результате «средний русский» окончательно теряется... И верх берет природная лень. Все собираются на курсы латышского, но, опять же, все и без курсов разбирают вывески над магазинами. Воз и ныне там... Жалко детей, которых в начальный период борьбы за свободу и единения с латышским народом русские родители отдали в латышские детские сады. Вот уж у кого в голове теперь путаница...

Наша редакция увилывает от политики всеми средствами, в ущерб своим финансовым интересам. У нас в Латвии газеты пошли на содержание к крупным финансовым структурам, банкам, политическим партиям, и только это дает им возможность прокормиться, особенно накануне предвыборной кампании.

Мы еще держимся самостоятельно, хотя получаем всякие диковинные предложения. И не потому, что кушать не хочется.

Дело в том, что мы — дамы язвительные и брезгливые. Из той своры партий, которая у нас теперь собралась бороться за власть, мы ни одной приличной не обнаружили. Мы, может, и рады бы продаться, да некому... А все наш возраст виноват — мы помним славное коммунистическое прошлое одних лидеров, скандальное прошлое других и принимать их всерьез не можем.

Время от времени кто-то из нас, журналисток, берет ни к чему не обязывающее интервью у них, у политиков, и остается при своем мнении — не скоро еще придут те настоящие мужчины, которым можно доверить судьбу Латвии.

Так вот, к вопросу о бартере: сегодня какой-то безумец расплатился за рекламу одеялами. Очень даже миленькие одеяльца, всего по три лата. В магазинах такие — по восемь. Курс лата теперь таков: сто долларов соответствуют пятидесяти трем латам. Вот и считай. Значит, одеяла. Всего по три лата! Ничего, что дома полны сундуки, — надо брать! На подарки, может, пригодится?

Быт маленькой газеты в свободной и демократической Латвии — это что-то

особое. С одной стороны, мы — как бы привилегированный класс. Газета имеет постоянного читателя, который любит нас за отсутствие политики, тираж не падает. С другой — к нам стекается столько всякой дури, что голова пухнет.

Входит высокий здоровый дядька и объявляет себя посланцем иных миров. Ему надиктовали с Юпитера книгу, он хочет опубликовать у нас фрагменты. А если мы откажем, будет вредить на энергетическом уровне. Сказав сие, начинает раздеваться — одетому орудовать на энергетическом уровне как-то несподручно.

— А я сама ведьма! — резко наводит порядок редактриса. — Вот сейчас порчу напущу! А ну, пошел отсюда! Марш к себе на Юпитер!

И — полдня хохота.

Да, мы умеем справляться с безумцами. Но что обидно — мы, слабые женщины, можем просчитать с точностью до двух месяцев, когда начнет сказываться и выходить боком та или иная глупость нашего правительства, но кто нам поверит?

Взять хотя бы сертификаты. Когда мы опубликовали первые статьи о них, даже девочкам-наборщицам стало ясно — без мошенничества это дело не обойдется. Сертификаты — это средство восстановить справедливость, вроде российских ваучеров. Так считает правительство, точнее, считало год назад. Мы-то знаем, что справедливость нужно обходить стороной, потому как она — функция Господа Бога, а никак не ошалевшего парламента.

Правительство постановило — нужно посчитать все, что есть в стране, и условно поделить между населением. Граждане получают столько сертификатов, сколько лет живут на белом свете плюс еще пятнадцать. Неграждане — их еще называют постоянными жителями — получают столько, сколько лет прожили в Латвии, при том условии, что работали. Есть всякие ограничения для отставников, служивших в Советской Армии, и тому подобных лиц.

Ну так вот, сертификат считается ценной бумагой. По номиналу его стоимость — двадцать восемь латов. В долларах, стало быть, с полсотни. Эта цифра произошла, чтоб не соврать, при разделе якобы всего нажитого за полвека имущества Латвии на примерное количество сертификатов, которые будут розданы населению. То есть вот тебе, житель Латвии, твоя пайка, хоть и не в виде водки с одеялом...

Стало быть, старенький дедушка-гражданин может получить чуть ли не сотню сертификатов, чего ему уж, во всяком случае, на похороны вполне хватит. У нас это теперь крайне дорогое удовольствие. Но пока никто покупать его сертификаты по номиналу не собирается и не скоро соберется. Нема дурных. А кушать дедушке хочется. Потому как на его пенсию в тридцать латов не разгуляешься. Хлеб, молоко, кусочек масла, пара кружков колбасы, полсковородки картошки с луком, троллейбусный талон — вот тебе шестьдесят—семьдесят сантимов в день и ухнули. А мыло? А носки? И еще не было случая, чтобы за чью-то квартиру заплатил Пушкин...

И подъезжает к банку, где бедный дедушка получает сертификатную книжку, сверкающий «мерседес», и вылезает из него сытый мальчик, весь в коже, включая, очевидно, и подштанники. Впрочем, ты, Женька, мои вкусы знаешь — сытых мальчиков терпеть не выношу. Мальчик подходит к дедушке, который вертит в руках бесполезную сертификатную книжку, и говорит: «А давай-ка, дед, сделаю я доброе дело и куплю твои сертификаты по пятьдесят сантимов за штуку!»

Дед понимает, что по двадцать восемь латов он их при жизни не продаст, мучается и охает. Это его доля достояния республики. Он полвека проработал, и здрастье — за год предлагают чуть побольше лата... Но деду хочется завтра пообедать. Даже если ему хочется просто водочки выпить — это его личное дело. И он соглашается...

Так в Латвии формируется рынок ценных бумаг. Никому не известные фирмы неведомыми путями получают лицензии на скупку сертификатов. Очевидно, лицо, выдающее лицензии, уже не знает, куда деньги девать. Посчитали недавно и изумились — больше сотни фирм имеют официальное право облапошивать дедов с бабками. Правда, одно время за сертификат предлагали целых четыре лата. Но после скандала...

Женька, произошло то, что наш дамский коллектив предсказал полгода назад за чашкой кофе. Проверили счета трех, чтобы не соврать, фирм с лицензиями — и оказалось, что на эти счета окольными путями поступило около миллиона фальшивых сертификатов. Мы хмыкнули и постановили: всякое нормальное правительство после такой новости немедленно бы приостановило действие ВСЕХ лицензий и заморозило ВСЕ сертификатные счета фирм, чтобы народ спокойно дополучил свои жалкие сертификаты и оставил их у себя. На них все-таки и квартиру можно приватизировать, и земли

ключок. Так нет же, вовсю продолжают грабить дедушек! А сколько еще появится фальшивых сертификатов? Вот те, дедушка, и социальная справедливость.

Глядя на нашу внутреннюю политику, милый, поневоле станешь феминисткой. Эти пузатые мужчины, просиживающие штаны в верхах, за пять лет ничего умного еще не сделали, разве что проиллюстрировали крыловскую басню о Матрене и вороне.

Ворона-то от ворон отстала, а к павам не пристала, и это сделалось ее личным горем. А «государственные умы» Латвии повернулись задним фасадом к Востоку — еще бы, доблестно одолели советский тоталитаризм! — и распростерли объятия Западу. Запад сказал: «Ах вы, цыпочки! Ах вы, свободненькие вы наши! Шас мы вас накормим и напоим!» На прибалтийский рынок хлынула вся залежавшаяся дрянь, которую немецкие и прочие оптовики только чудом не донесли до помойки... Да она и к вам хлынула тем же диким потоком.

Чем мы теперь питаемся — это уму непостижимо. Латвия — банановая республика. На каждом углу — тетка с весами и ящиками бананов. Мой ужин — апельсины и киви. Более того, у меня, видишь ли, есть любимый нищий. Их теперь вообще множество вдоль всех стен. А я заприметила одного аккуратного трезвенького старичка и именно ему жертвую законные два сантима. Так вот, на днях я положила ему в кепку банан. Сам-то он явно не купит.

Еще у нас дети повадились милостыню просить. Мы, взрослые, даже всякими отгонятельными формулами обмениваемся. Сидишь, скажем, в кафешке, и подходит пацан лет шести—восьми, розовая мордочка, круглые щечки и вид вполне ухоженный.

— Дайте денежку на хлебушко! — жалобно канючит этот упитанный балбесик.

— Иди-иди, мальчик, не порть аппетит! — говорят ему. Мальчик не смущаясь отходит.

Можно еще употребить старое доброе купеческое: «По пятницам не подаем».

Как-то при мне пожилая латышка вцепилась в младенца мертвой хваткой.

— А ну, покажи, кто тебя послал! — требовала она. — Кто тебя заставляет деньги собирать?

Дитя еле вырвалось и дало деру.

Что интересно, попрошайничают исключительно русские дети. А когда доходит до законных способов заработать — мытья машинных окон на перекрестках и торговли газетами, — тоже впереди русские. Характер у них пошустрее.

Дети и нищие преобразили Ригу почище цветной рекламы на стенках и иномарок всех мастей. Впрочем, когда видишь человека, одетого как профессиональный бомж, не спеши подавать ему два сантима.

Стою я на днях вечером у трамвайной остановки. Подходит дед и обращается по-латышски, но как! Сперва вообще просит разрешения обратиться.

— Конечно, пожалуйста, — говорю ему.

«Пожалуйста» — по-латышски «ludzu» — все еще необходимое в устной речи слово, им завершаю чуть ли не каждое предложение. Когда латыш что-то переспрашивает по-русски, это звучит так: «Что, пожалуйста?» Мило, правда?

Дед, обшарпанный, как вавилонская башня, называет мне мое же имя. Это уже интересно. Тогда он называет и свое. Ой, батюшки! Один из талантливейших латышских поэтов восьмидесятых годов! Море публикаций, всенародная слава и так далее...

— Где вы теперь работаете? — спрашивает он. — И нельзя ли у вас что-нибудь опубликовать?

Я в недоумении. Искренне хочется помочь. Но поэт пишет исключительно туманные верлибры, насыщенные ассоциациями и иносказаниями. А нашему читателю подавай чего попроче.

— Может, найдется что-нибудь про весну? — спрашиваю, полагая, что весна-то сейчас актуальна и ее никакими аллегориями не испортишь.

Но поэт, хотя не совсем трезв, по-прежнему сообразителен.

— Я напишу все, что потребуется, — говорит он. — Я халтуру довольно качественно, лишь бы гонорар заплатили... Я все могу написать... Могу про весну.

И знаешь, Жень, когда он мне показал авоську с пакетом кефира, я поняла: осуждать его — грех.

Долгое время латышская литература была на осадном положении. Сражалась намеками и аллегориями. Если латышский поэт писал что-то вроде: «Побольше толстых розовых младенцев!», то это уже был великий гражданский подвиг, поскольку имелись в виду латышские младенцы. А не какие-то русские.

За это качество латышское искусство ценилось в России. Элемент свободомыслия и сопротивления подменял все прочие элементы искусства.

И вот Ельцин единым мановением руки выпустил наших борцов за свободу на эту самую свободу. Все, победили! Больше не нужны аллегории. А что нужно? Кто-нибудь знает? Никто не знает!

Вольное латышское телевидение завело кучу доморощенных программ и порешило гордо отречься от Останкина. Пусть, мол, русские мигранты и колонисты осваивают латышскую культуру на государственном языке! Телестудию завалили воплями протеста... латышские зрители. Русские-то все равно эту тягомотину смотреть не стали. А латыши потребовали: «Оставьте нам Останкино, потому что ваши выкрутасы смотреть скучно». Прокол, однако...

Латышские писатели с поэтами воспряли — настал звездный час! Опубликовали все, что ходило по рукам и береглось в потайном ящике рабочего стола. Два года спустя на прилавках лежат все те же книги — возьмите хоть за пять сантимов! Не берут. Когда свобода якобы обретена, борьба за эту свободу уже, в сущности, никому не интересна. Россия не требует переводов с латышского, Запад — тоже...

А про гениальную пьесу я расскажу в другой раз!

Вся твоя.

Привет, радость! Я оторвалась от такой ахинеи, что только мысль о тебе удерживает меня в полном рассудке. Впрочем, не поручусь...

Моя редакция решила обскакать соперников на повороте. Как ты знаешь, газетка у нас двуязычная и рассчитана на простых людей. Мы учим, как солить огурцы и вышивать воротнички. Пока дело касается дамских рукоделий, все идет нормально, но недавно мы перепечатали из какой-то древней брошюры советы то ли плотнику, то ли столяру. Честно перепечатали, даже корректура не вмешивалась. Читатели неделю звонили и перечисляли ошибки, которые вычитали в этих советах.

Ну так вот, дошло до нашей редактрисы, что известный латышский драматург Паул Путниньш пьесу написал. Про любовь! А наши читатели про любовь уважают!

Причем не просто любовь. В тридцатые годы свободная Латвия имела президента — Карлиса Улманиса. Когда началась советская власть, его сослали куда-то чуть ли не в Казахстан, где он в сороковых годах и умер. Недавно туда ездила экспедиция энтузиастов и отыскала предполагаемую могилу. Был это человек несемейный, наследников не оставил, кроме внучатого племянника, — его мои сентиментальные земляки избрали новым президентом! Нарочно такого не придумаешь...

И вот, изучая биографию покойника, новый президент, Гунтис Улманис, выяснил, что у того был незаконный сын, плод юношеской страсти. Этот сын, рожденный в конце прошлого века, недавно скончался. А Паул Путниньш ударился в политику и решил написать пьесу про любовь будущего президента, повышая таким образом свой рейтинг и сражаясь за ускользающую популярность.

Наша редактриса произвела интригу и получила эту штуку для публикации. Вот мне ее и подсунили на перевод.

Будь я родственником покойного президента или его сына, подала бы на драматурга в суд. Карлис Улманис, восемнадцатилетний и влюбленный, говорит исключительно лозунгами и цитатами из самого себя. Ни дать ни взять — юный Ленин в пьесе или фильме пятидесятых годов, когда Боже упаси вложить в исторические уста хоть одно авторское слово! В результате интеллектуальный уровень и будущего президента, и прочих персонажей вызывает обоснованное сомнение. А тут же поди оправдай, почему парень девице ребенка сделал, а жениться — не женился. Как всегда, взвалили всю вину на взыбаломощную женщину. Как тут не станешь феминисткой!

Путниньш ищет безумного режиссера, который поставит эту «политическую» пьесу с отсутствием всякого действия. Билеты, должно быть, собрался продавать лично по пять сантимов... Потому что латышский зритель сейчас может выбирать — то ли на хороший спектакль по Шекспиру пойти, то ли на какой авангард, то ли вовсе на гастроли (причем все еще любят российских звезд эстрады). На пять лет по меньшей мере пьеса опоздала.

И вот в таком положении вся латышская культура — что-то безнадежно устарело, но хочет кушать, а что-то и готово бы на свет появиться, но на какие шиши?

Симпатичное издательство «Континент», где трудятся исключительно русские люди, стало переводить на латышский западные женские романы. Популярность —

огромная. Доморощенная латышская проза тридцатых годов, которую кинулись было переиздавать в первые месяцы свободы, залегла на прилавках.

Ты хочешь знать, Женька, а что поделывает русская культура? Каждый пробивается в одиночку. Образовалась куча всяких организаций, каждая из которых претендует на то, чтобы быть единственным держателем русской культуры в Латвии. И они между собой перегрызлись. Когда они на страницах русских газет выясняют отношения — ну ничего не понять!

Хозяин «Континента», Олег Михалевич, по-моему, для того и основал издательство, чтобы публиковать самого себя. Но больше из русских писателей — никого! Его кормит переводная на латышский литература.

Русские писатели в Риге есть, честное слово! Другой вопрос, что их в России плохо знают. Но вот, скажем, для Риги Сергей Иванов как бы не существует, а в Москве и Питере его издают и любители научной фантастики его уважают.

Писатель Андрей Левкин нырнул в журналистику. И всерьез. Раньше мы баловались журналистикой, а теперь она для русского писателя — единственный источник существования. Николай Гуданец оказался вообще без работы, и в газету ему устроиться трудно. Не поладил с одним известным газетчиком — вот и расхлебывает... Сергей Иванов, человек упрямый, решил из принципа жить на гонорары. Влез в долги, перешел на строжайшую диету и резко поумнел. Теперь трудится в турфирме. По вечерам оккупирует тамошний компьютер и доволен.

Этим летом писательница и редактор Вета Семенова, которая дала «путевку в жизнь» и Гуданцу, и Иванову, и Левкину, да и мне тоже, звонила и спрашивала, не нужна ли где хоть уборщица. Я думала — шутит... Когда закрылось государственное издательство «Лиесма», где она проработала много лет и выпустила кучу русских книг, источником существования стала корректура русской литературы — тогда еще в Риге издавали что-то на русском. Теперь все, кто хотят иметь дело с русской литературой, сориентировались на Россию. Публиковаться — только там! Латвия сожрет даже самую гениальную русскую книгу тиражом не более тысячи экземпляров. Представляешь, какова себестоимость этой книги? А шлепать тут большой тираж и везти его в Россию со всеми таможенными заморочками — накладно выйдет.

И потому, Женька, мы все, что напишем, шлем в Москву и в Питер. Мы соглашаемся на смешные гонорары, лишь бы о нас не забыли. Здесь мы не нужны никому.

Журнал «Даугава», когда-то гремевший на весь бывший Союз, выходит тиражом в тысячу двести экземпляров. Правда, его выписывают Оксфорд и Сорбонна. Большое утешение — знать, что твоя новая повесть пылится на полках парижской библиотеки... На гонорар за эту повесть можно купить пару сапог — правда, весьма приличных осенних дамских сапог. А вот на приличные зимние уже не хватит.

Кто теперь русские в Латвии? Я не знаю. Их много, и они разные.

Вот русский писатель и драматург Владлен Дозорцев, того гляди, скоро почетным гражданином Латвии заделается за особые услуги в области политики. А те русские, которых привезли сюда стоять у конвейера и больше ничему не научили, сперва были в панике. У нас раньше на Центральном рынке стояли ряды довольно молодых мужчин и женщин со всяким шумьем в растопыренных руках. Теперь эти ряды немного рассосались. Кто-то на фирму приткнулся, в совместное предприятие втерся — вот моя крестница работает на конвейере, шьет мужские куртки и пальто, а потом на них лепит свои этикетки и продает какая-то немецкая фирма. Девчонок держат в черном теле, но они не пишат — все-таки работа.

А мальчишки, с которыми я общаюсь в тренажерном зале, эти плечистые мальчики, у которых шея выше ушей начинается, — о них молчу. В женской раздевалке прекрасно слышно, о чем судачат в мужской. Так вот, там вооруженная охрана одних фирм и рекетня на содержании других фирм дружно допытывают единственного парня на госслужбе, охранника в тюрьме, насчет жизни за решеткой и тюремной кормежки...

Мальчишки и девчонки не пропадут — они заработают на кусок хлеба с маслом. Но, батюшки-светы, до чего же безграмотны! Получить приличное высшее образование в Латвии скоро можно будет только на латышском языке... Кроме, скажем, педагогического. Но, как ты полагаешь, высшее педагогическое по нашим временам — приличное? Пойдут ли русские девочки и мальчики в педвузы? А если не пойдут, кто через двадцать лет будет учить русских детей русскому языку? Я не хочу сказать, что здешняя русская культура обречена. Она просто пущена на самотек и стихийно ориентируется то на американский киноширпотреб, то на Россию, что бы та ни сулила.

У моей подружки — дочь Настасья. Девчонка талантлива — окончила музыкальную школу, пробует сочинять музыку. Куда ее девать? Приспособили буфетчицей в бар — сама себя обсчитала на немалую сумму. Сейчас сидит дома, печет на заказ торты. У другой подружки дочь — ту мать насильно записала на бухгалтерские курсы. В итоге девчонка работает на какой-то базе среди совершенно диких людей — полупьяных грузчиков и так далее. За кого девок замуж отдавать???

Ага, смеешься... Моя крестница собралась замуж. Родилась она в Сибири, ее еще крохой привезли в Латвию. Я пошла с ней в загс — она-то латышским не владеет, а у нас вся бюрократическая жизнь на латышском языке. И выясняется — нужно вместе с заявлением и медицинской справкой подавать свидетельство о рождении. А она его потеряла. Мы все дома перерыли — нет! Прямо хоть в девках помирай из-за бюрократов... Видишь ли, если бы Аленка родилась в Латвии, архив за три дня выдал бы дубликат. А теперь его можно затребовать из России только через консульский отдел не помню чего и ждать от двух до трех месяцев. Или самолично лететь в Читинский округ, в ту деревню, где восемнадцатилетнюю офицерскую жену угораздило родить...

И вот собирается военный совет — Аленка, как пострадавшее лицо, жених Мишка, подруга Юлька — лицо с художественными дарованиями и я — лицо, приближенное к редакционному ксероксу. Берется чье-то свидетельство с российской печатью, более того — Красноярской, это же в трех шагах от Читы, загс разбираться не станет! Делается куча ксерокопий разной величины и интенсивности. Юлька художественно счищает с них текст, чтобы получился пустой бланк с печатью, подписью и неповрежденным орнаментом. Вписывается иной текст. Я гоняю его через ксерокс, пока он не принимает более или менее достоверного вида. Ис этой филькиной грамотой мы врываемся в загс. Мы вопим на разные голоса, как именно переправляли нам эту копию поездами и самолетами. Мы шлепаем на стол коробку дорогих конфет! Уф-ф... Кажется, порядок.

Так что, Женька, выдаю я крестницу замуж. Свадьба, с одной стороны, и пьеса, с другой стороны, отняли все мое свободное время. История повторяется — как и двадцать лет назад, писатель, имеющий несчастье писать по-русски, творит поздно вечером, когда весь дом угомонится, потому что днем он должен зарабатывать на хлеб насущный.

Целую тебя, милый! До встречи в свободной от энергоносителей и независимой от современной литературы Латвии!

Евгений, привет! Я получила твою бандероль с дискетой. Все ногти обломала, пока ее из футляра вытаскивала. Только ты и мог сколотить для дискеты фанерный футляр.

Видела я вчера Гуданца, более того, угостила его в кафе, потому что человек — без работы. Но, когда он начал мне жаловаться на власть имущих, я ехидно посоветовала ему взять термос и сходить на баррикады.

— Вместе мы пробьемся! — говорили светлые, чистые и порядочные жители Риги, но говорили это на русском языке. Когда Ригу окружили баррикады, когда ждали каких-то вражеских танковых колонн с Востока и подавления зачатков демократии, Гуданец ночью носил горячий чай защитникам баррикад. Народный фронт обещал светлое будущее всем, кто единым строем встанет против поганого прошлого — латышам, русским, евреям, полякам, цыганам... Тогда, кстати, и возникли аж двадцать шесть культурных обществ, два из которых назывались — Общество крымских татар Латвии и Общество татар Поволжья Латвии. Это не шутка! И хотелось бы мне знать, куда они все подевались...

Потом оказалось, что для латышей будет одно будущее, а для прочих — другое. Прочие возмутились, но как-то робко. Привыкли считать, что латыши — маленький народ, нуждающийся в особых условиях для своего возрождения. Опять же в моду вошло покаяние. Ладно, пусть русские виноваты, они больше не будут! Латышскому национальному самосознанию — зеленую улицу!

Но в маленьком народе произошло неслыханное расслоение! Он поделился на три сорта.

Эта тенденция мелькала и раньше. Чистокровные латыши поглядывали свысока на полукровок. Впрочем, это каждому народу свойственно.

Как-то писатель и журналист, а ныне книгоиздатель Владис Спаре сидел передо мной за столом хмурый, как грозовая туча. Его мать — латышская писательница, и потому его тянуло к латышам. Но отец — известный украинский писатель, да еще, к большой скорби родственников, автор украинской «ленинианы». И потому Владиса

тянуло к славянам. В сущности, такое раздвоение личности для Риги — дело обычное, потому что смешанных браков здесь всегда было много. Но русские как-то сторонились писателя-латыша, а латыши морщили нос при виде потомка «ленинца».

— Так кто же я теперь? — жаловался Владис. — И не русский, и не украинец, и не латыш...

Помолчал и закончил:

— А нация мне — руссо-балт!

Объясняю — так назывался знаменитый дореволюционный завод в Риге. Выпускал что-то железнодорожное, а может, и нет.

Так вот, про три латышских сорта. Когда мы, «честные инородцы», как нас покровительственно обозвала какая-то давно вымершая латышская газетка, узнали про это недоразумение, то даже растерялись. Ну, допустим, нас в граждане не пускают — сами виноваты, что не латышами родились. Их-то за что?!!

Гражданином может стать человек, доказавший, что он сам или батька с мамкой с 1919 по 1940 год проживали в Латвии и были латвийскими гражданами. За что нужно поблагодарить в первую очередь чистеньких старушек, торчавших с плакатами — угадай, где! Возле национальной латышской святыни, Памятника Свободы, торчал тогда общественный туалет, вызвавший настолько бурную дискуссию в прессе, что самим латышам в конце концов стало смешно и стыдно. Туалет прикрыли и перестроили в дорогое кафе, но еще до этого старушки со старичками повадились выстаивать часами перед ним и задирать прохожих. На плакатах были вопли вроде того, что Латвия в смертельной опасности, а всех русских ждет их историческая родина.

Когда я в комиссии по гражданству сказала принимавшему документы деду, что мой отец служил в латышской армии, дед сидя вытянулся по стойке «смирно». Крепкая же тогда была субординация...

А если какой-то латышский стрелок в четырнадцатом ушел на войну, потом осел в Сибири и нарожал там детей, то они уже гражданами быть не могут. Второй сорт! Если же потомок тех латышей, которые в прошлом веке уехали в Сибирь и Казахстан, чтобы осесть там на земле, вдруг вспомнил о корнях и решил вернуться в Латвию... Стоп! Да ты же, дружок, и государственного языка-то не знаешь!

Хотя изначально Народный фронт призывал всех латышей соединиться на своей исторической родине... Призвать-то было несложно. А потом немалое количество своего же народа отсекали от гражданства из старушечьего паникерства — как бы парочка лишних русских в граждане не попала!

И вот началось национальное посмешище. Собирается комиссия. И собираются люди, подавшие заявление на получение гражданства. Вот бабка, которой недавно стукнуло восемьдесят шесть лет. Большую часть жизни прожила в Латвии. Кто же виноват, что так неудачно вышла замуж — в Россию? Вот солидный мужчина. Преподаватель вуза. При чем преподавал историю на латышском языке. И им предстоит... Женька, держись крепко, — им предстоит писать изложение, как школьникам, и сдавать экзамен по истории Латвии на уровне примерно пятого класса. Бабуся волнуется — память-то не прежняя, ох, провалит она изложение! И доцент волнуется — историю-то он знает лучше любой комиссии, а ну как сцепится с дилетантами спорить? И прощай тогда гражданство...

Это я тебе пересказываю материал, который только что набрала на компьютере моя коллега.

Бедные дети от таких выкрутасов совсем ошалели. Третьеклассницу спросили, кто она такая по национальности.

— Я гражданка, — ответила девчонка.

Ты недавно спрашивал: а есть ли расслоение среди русских по признаку гражданства? И какая от него польза?

Что касается меня — так один вред. Каждый раз, когда я собираюсь в Россию, приходится покупать визу. Обычная — десять долларов плюс два доллара за бланк. Срочная — двадцать долларов плюс два. При моем растяпстве<sup>3</sup> это, как правило, срочная виза. Но теперь они для меня лично подешевели.

Раньше я заказывала визу в турфирме. Что-то приплачивала — и в нужный день приходила за визой. Какая московская или питерская организация якобы делала мне вызов, — я понятия не имела. Теперь у турфирм сложности с вызовами. Это выяснилось в последнюю минуту. Дай Боже здоровья московскому издательству «LOCID» — вызов мне по факсу прислало моментально. И я теперь буду сама этим заниматься — потеряю время, зато сэкономлю деньги.

Надо отдать должное российскому посольству в Риге — работает оно профессионально. Казалось бы, перед открытием такая толпа у дверей собирается, что и за неделю не рассосется. Однако симпатичный дядечка в будке у ворот бодро командует: сперва инвалиды с ветеранами, потом те, у кого пропуска... Потом — те, кто к юристу. Потом — еще кто-то... Быстро запускается партия за партией. А внутри — в тесноте, да не в обиде. Очень уж споро и вежливо работают дамы в окошечках.

Мне кажется, среди русских особого расслоения по признаку гражданства нет. Неграждане малость завидуют гражданам, но примерно так же, как человек, не подключенный к кабельному телевидению, завидует подключенному. Это — проблема не столько этическая или политическая, сколько — материальная. От гражданства почему-то ждут материальных благ.

Не знаю, так или нет, но все говорят, что схему натурализации разрабатывали с тем расчетом, чтобы первыми гражданство более или менее автоматически получили парни призывного возраста. А то право служить в латвийской армии имеют только граждане, но почему-то всячески уклоняются от призыва. Зачем Латвии нужна армия, я не знаю. Видимо, и никто не знает. В тех формированиях, которые уже имеются, расцвела махровым цветом дедовщина. Разъяренные матери пострадавших солдат добрались до самого президента Улманиса. Вот сейчас я тебе пишу письмо, а он этой проблемой занимается. Очевидно, все дело — опять в старушках. Они вспоминают своих женихов при погонах и костыми лягут, лишь бы в Латвии опять была армия.

Если по Латвии пройдет вторая волна безработицы, то и это — заслуга милых старушек.

Они хотели видеть Латвию такой, какой она была в тридцатые годы. То есть каждый латыш сидит на своем хуторе и при свете керосиновой лампы разучивает латышские народные песни. И аргументируют — ведь Латвия тогда пол-Европы сливочным маслом и беконом снабжала!

Ну да. Снабжала. Потому что тогда и французский крестьянин при керосиновой лампе сидел, и английский крестьянин на клочке земли хозяйничал. Покажи ты им теперь керосиновую лампу!

Когда зашла речь о том, что надо распускать колхозы, умные люди со страниц всех изданий предупреждали: оптимальная величина фермерского хозяйства — то количество земли, которое фермер может обработать с семьей или с одним наемным рабочим. При наличии даже не слишком современной техники это не менее пятидесяти гектаров. А лучше — сто. И давать эти гектары нужно тем, кто хочет, может и умеет их обрабатывать.

А старушки гнули свое: нужно восстановить историческую справедливость и вернуть каждому латышу тот клочок земли, на котором его дедушка хозяйничал до этих гадких колхозов. Естественно, послушались старушек...

Образовалась чертова прорва крошечных хозяйств — гектаров по семь-восемь, а то и меньше. Но наряду с ними образовались и крупные хозяйства — оптимальной, по мнению ученых, величины. Латыши, вернув отцовские и дедовские хутора, так туда и рванули. Не имея ни знаний крестьянских, ни привычки к повседневному крестьянскому труду...

Себестоимость продукции в маленьком хозяйстве, понятно, выше, чем в крупном. Маленькое хозяйство, да еще в неумелых руках, да еще без разумной кредитной политики государства, да еще при неразберихе с закупочными ценами и отсутствии госзаказа, да еще при неспособности молочных и мясокомбинатов вовремя расплачиваться за сданную продукцию обречено на что?.. Правильно.

В лучшем случае хозяин вовремя сдаст землю в аренду более удачливому соседу и вернется в город. В худшем — потратит зря время, влезет в долги и... вернется в тот же город. А в городе свободных рабочих мест больше нет. Когда сошли старые структуры, возникли новые и поглотили первую волну безработных. То есть русскую волну. Эти нашедшие работу русские понемногу все же сдают экзамены по латышскому языку и получают бумажку, дающую право работать. Какой экзамен придется сдавать разорившимся крестьянам, чтобы трудоустроиться? Я не знаю. Бабушки, которые хотели превратить целое государство в этнографический музей под открытым небом, тоже не знают. Они знают одно: во всем виноваты русские.

Но, при всем уважении к почтенным ископаемым, латышская молодежь, особенно та, которую потянуло в бизнес, уже возвращается к здравому смыслу. Не так уж много покупателей на латышские товары — следовательно, пора поворачиваться к не оправдавшему надежд Западу... ну, не задом, так хоть боком, и поинтересоваться, нет ли

хороших партнеров на Востоке. Возникла недавно организация, которая называется довольно дико — Национальный союз производителей сельхозпродукции Латвии. Почему национальный? Разве русские, белорусы, поляки не обрабатывают латвийскую землю и не доят латвийских коров? Очевидно, уступка старушкам. Потому что в планах организации — работа именно с восточным рынком.

Если бы только не наши политики... Знать бы, за какие грехи Бог наказал Латвию такими политиками!

Вот пишу я тебе письмо, а надо мной склоняется коллега и задает вопрос:

— Ну как, все росишься?

— Что? Что делаю?..

Стоп. Тихо. Глагол... Ага, «rosities», ударение на первом слоге. Действовать, причем активно, даже с некоторым оттенком суетливости...

— Ага, росюсь... то есть рошусь...

Господи Боже, не дай приткнуть дикое слово в новую повесть! Мне же ее в Москву продавать!

Вот так и живем — компьютер, бартер, государственный язык, инфляция, суета сует! На носу — выборы в сейм, посевная, завершение эпопеи с сертификатами. Дух переводим в «Русской книге» — там можно купить хорошую литературу сравнительно недорого, всего вдвое дороже, чем в том же московском метро. Приезжай — погуляем по старой Риге. Все перемены пошли на пользу только ей — фирмы, устраивая там свои офисы, приводят исторические здания в порядок. Но, проезжая по Вантовому мосту, я увидела, что затеваются какие-то строительные работы у фасада Рижского замка, и перепугалась. Неужто и туда фирма внедряется?

Приезжай — жить у нас можно. Мы носов не вешаем. Мы научились тому, что наверняка бы одобрили античные философы: не обращать внимания на дураков. Ведь вымрут же они когда-нибудь естественным путем?

Приезжай, пока я еще не разучилась говорить по-русски. Наш маленький, но вредный коллектив, при всех чисто дамских заморочках, держится заодно, дает отпор посланцам с Юпитера, и на двух языках одновременно смеется над этими бестолковыми мужчинами, которые засели в политике, как младенцы в песочнице, и не могут поделить совочки с формочками. А если ладят между собой женщины и дети — значит, они когда-нибудь и мужчин вразумят.

Я лично очень на это надеюсь.

Целую!

Ольга Панченко

Русская литература  
на польском свете

Появление на польских книжных прилавках толстого сдвоенного номера журнала «Literatura na świecie», посвященного русской литературе, — и впрямь явление. Потому что, несмотря на известные волны перемен в нашем литературном процессе после 1985 года, несмотря на напряженный интерес западных славистов к тому, что происходило в России и как отзывалась на это личность писателя, в Польше как бы наступило затишье. В течение минувших 7—8 лет распадались русские редакции крупных издательств, закрылись некогда многочисленные магазины русской книги. И, смотришь, лежит то тут, то там хоть и любимый поляками, но неостребованный Булат Окуджава, и острый В.Войнович попал на полку уцененных книг.

А вот недавний номер «Literatura na świecie» с русскими текстами, переведенными на польский, уже разошелся. Его авторы представляют по преимуществу «обойму» поставангарда — от вчерашних «лианозовцев» Всеволода Некрасова, Генриха Сапгира до Владимира Сорокина и Тимура Кибирова. Доминируют москвичи, Петербург представлен четырьмя именами — Елены Шварц, Виктора Кривулина, Владлена Гаврильчика и Владимира Уфлянда, известного по участию в процессе над Иосифом Бродским. Тексты, ставшие у нас слегка бородатыми, приходят к полякам, не читающим по-русски (а таковых большинство), как литературные новости в последней инстанции, как новая волна.

Эта «новая» волна уже прочитанной нами литературы дошла до берегов Вислы благодаря польским переводчикам — Адаму Поморскому и Ежи Чеху, давно известным своему читателю.

Переводчик с острым слухом и ощущением слова, Адам Поморский успел подарить соотечественникам Н.Гумилева, В.Маяковского, В.Хлебникова, Е.Замятина... Вкус к русскому авангарду<sup>1</sup> начала века, безусловный, у переводчика такого сложного поэта, как Хлебников, ведет Поморского — в его превращениях русской метафоричности и индивидуального корнеслова — в польскую «мову».

Журналист, филолог Анна Жебровска, нередко выступающая с публицистикой на русскую тему в «Газете выборчей», приближает эти переводы к читателю беседами с Генрихом Сапгиром и Львом Рубинштейном.

Переключка с западной славистикой ощутима разве что в дрящемся интересе к творчеству Иосифа Бродского, который в июне 1993 года был удостоен степени доктора honoris causa<sup>1</sup> в Шленском университете. И эта процедура превратилась в пиршество, праздник польской интеллигенции, о чем пишет Анджей Дравич, публицист, исследователь и переводчик русской литературы, в эссе «Польский Бродский» («Brodski polszczony»), цитируя старое стихотворение поэта, обращенное к польской музе:

Помнишь ли того  
Злого парня  
По прозвищу Иосиф Сумасшедший?  
Нет, не помнишь? А жаль...

Атмосфера текста Анджея Дравича столь же празднична, сколь мажорным было, видимо, и самое действие, происходящее в Катовицах. Переводы текстов Бродского на польский, вспоминаемые Дравичем, равно как и статьи о поэте (в числе которых упомянута серьезная исследовательская работа Адама Поморского «Судьба и воля» («Los i wola»), опубликованная ра-

<sup>1</sup>Literatura na świecie. nr. 7—8/1994.

нее в журнале «Literatura na świecie» (1988, № 7), создают впечатление, что поэзией Бродского и самим Нобелевским лауреатом, ироничным и великодушным одновременно, по словам Анджея Дравича, были захвачены решительно все. Свидетельство чему хотя бы эта фраза: «Шанс длительного союза (союза Бродского с польской культурой. — О.П.) не только в том, что существует уже давно. А прежде всего в том, что постоянно обновляется через взаимную отдачу; покуда он жив, и мы живем»<sup>1</sup>.

Но, оказывается, не все, далеко не все разделяют это чувство. В их числе переводчик Ежи Чех, автор статьи «Четверть или половина Бродского». «Смею утверждать, — пишет он, — что Бродский исполнил меньше, чем обещал своей «Большой элегией Джонну Донну». В итоге это поэт неровный, в его творчестве, насколько могу судить, достаточно стихотворений «необязательных», т.е. таких, без которых мир прекрасно мог бы обойтись, даже если они прекрасно написаны. В конце концов, наверное, поэзия нечто большее, чем версификаторская акробатика»<sup>2</sup>.

Ежи Чех выступает как пристрастный читатель не только русского, но и польского Бродского. Авторитет переводчика для него не имеет значения. Значима исключительно точность перевода, способность вызывать ту же амбивалентность слова, что и в языке-источнике, укладываться в тот же ритм и метр.

Другой сюжет «русской» критики — статья Йозефа Вачкова «Новый Зоженко, или Польский homo sovieticus» о новых переводах прозы Зоженко Наталией и Виктором Ворошильским. По мнению автора, «Виктор Ворошильский и его дочь не столько перевели оригинал (хотя, конечно, перевели, и очень тщательно), сколько сотворили художественное, и собственно польское, соответствие зоженковского повествования.

Зоженко, используя форму сказа, придумал рассказчика (который некоторым образом воплощает стихию советского языка, творящую себя самое) и тем самым обессмертил его в своих текстах. Польские переводчики вслед за оригиналом сотворили адекватного польского рассказчика: он говорит, используя живую разновидность польщизны Польски людовой (ПНР) <...>. Этот язык производит впечат-

ление очень естественного, хоть и придуман в той же самой степени, что и язык Зоженко». Язык польского хомо советикуса открывает новые возможности для прочтения Михаила Зоженко, хотя в сравнении с публикующимся на страницах журнала советским поставангардом творчество Зоженко как бы уже почти до н.э.: в минувшем году преодолен вековой юбилей автора.

Но вернемся к нашим современникам.

Не странно ли, что номер открывается стихопьесой Игоря Иртеньева «Двести лет спустя» с подзаголовком: маленькая пьеса для кукольного театра в двух актах без пролога и эпилога. Да нет, наверное, не странно — все в этом мире выстраивается по ранжиру. И, очевидно, действующие лица, как то: Марат, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Ельцин, Шмепев, Заславская, Гдлян — особы исторические и заслуживают первенства на страницах журнала. Хотя события, происходящие в московской квартире Ельцина в мае 1989 года, — давно прошедшее, и давно нет Советского Союза, и политические реалии совсем иные, все-таки этот текст избран редколлегией как своего рода пролог. Поскольку на волне минувших политических баталий произошла резкая смена идеологического и литературного климата: «секретарская» литература уступила место эмиграции второй, третьей, четвертой волны и литературе, которую называют неофициальной, «другой», поставангардной. Хотя, как знает русский читатель, далеко не все, что обвалилось на книжные прилавки в виде сероиспеченных книжек и весьма респектабельных изданий, в самом деле имело отношение к неофициальной, да и просто к литературе.

Выбор авторов и произведений Адамом Поморским и Ежи Чехом, в общем, не странен, не удивителен, несмотря на то, что здесь соседствуют Евгений Попов, Елена Шварц и Гасан Гусейнов, автор статьи «Язык российской политики и публицистики в первом постсоветском году».

В мужской «тусовке», где плечом к плечу стоят Некрасов и Сапгир, Дмитрий Пригов и Лев Рубинштейн, явление Ольги Седаковой и Елены Шварц — несколько неожиданно.

Ольга Седакова по своей стилистике, способу видения мира гораздо ближе той поэзии, которую она переводит, — немецкому средневековью, поэтике любимого ею Рильке. Она не эпатирует выходом за пределы литературной лексики, не создает скандально-напряженных ситуаций. Тра-

<sup>1</sup>Здесь и далее в тексте перевод мой. — О.П.

<sup>2</sup>Literatura na świecie, с. 428—429.

гедия пробивается, прорастает через повседневность, как побег — через старую пожухшую листву, через слой почвы с перегнившими в ней случайными предметами, тряпками, костями. Таковы же и ее тексты в переводе А. Поморского — «Мальчик, старик и собака», «Женская фигура», «Две фигуры», «Госпожа и служанка», «Играющий ребенок», «Надпись».

Характерно, что в свидетельствах об авторах отмечена религиозность поэзии Ольги Седаковой и Елены Шварц. Насколько их поэзию, в самом деле, можно назвать религиозной, не знаю. Но религиозные мотивы и рефлексии, безусловно, присутствуют в кристаллической структуре циклах Седаковой и метафоричных, иронично-гротесковых фантасмагориях Шварц.

Так что семантический зазор, своего рода стилистическая и смысловая лакуны между «мужской» и «женской» поэзией в этом номере весьма ощутимы.

Что же касается прозы и эссеистики, эти жанры представлены более близкими друг к другу текстами.

«Прекрасность жизни» Евгения Попова и «Тридцатая любовь Марины» В. Сорокина занимают одну и ту же культурную нишу. Вся разница в том, что Евгений Попов эксплуатирует газетные клише и целые «куски» газетной информации брежневских времен и бесхитростных историй жизни Кеши, Кешки, приятельствующего с рассказчиком. А В. Сорокин строит свой текст, раскручивая банальности городской «чернухи»: норма аномальных отношений подчеркнута в его тексте включением разного рода клише, работающих на уровне массового сознания «фраз» и «кусков» текста: «Здравствуйте, товарищи!», «Союз нерушимый республик советских сплотила навеки великая Русь...» Так что самый текст Сорокина с вкраплениями фраз о нерушимом союзе республик, некогда советских, — читается как повествование о порушенных межчеловеческих связях. На антитезе «сука» — «святая Русь», «Союз нерушимый» держится весь текст, увлекательный для неискушенного читателя из бывшей братской Польши снятием все и всяческих табу в той России, где, по представлениям наших соседей, все было слишком стерильно или до такой степени странно, что в телевизионных передачах поляков пугают средним количеством аборт (8—9 за год?!) у среднестатистической женщины. Так что тридцатая любовь Марины вполне вписывается в этот контекст. Почему бы и не сотая, для ровного счета?

Блестящее эссе Михаила Эпштейна

«После карнавала, или Вечный Веничка» о любимом поляками Венедикте Ерофееве, ставшее уже постсоветской классикой. О человеческой индивидуальности, перешедшей в качество «мифа», о том, что в нашей и Веничкиной жизни явилось поводом, почвой для мифа, творившегося как бы независимо от автора поэмы «Москва-Петушки».

Деликатность, тихость, антиирония, энтропия энергии, чуть ли не ее отсутствие при бесконечных возлияниях между Москвой и Петушками — из всего этого лепится образ тихого советского юродивого, не ведающего сполна о своей праведности святого. И если доверять Эпштейну, миф Ерофеева открывает нам сентиментальность на каком-то новом этапе развития, впитавшую эффекты карнавала и пародии.

Если же поддаться рациональному обаянию концепции Виктора Ерофеева (эссе «Российские цветы зла»), то его однофамилец (но вовсе не единомышленник по другу) — тот же цветок в букете российских цветов зла, точнее, в соцветьи: Венедикт Ерофеев, Вячеслав Пьецух, Евгений Попов. Каждый из них по-своему, согласно Виктору Ерофееву, маскировал свое мировоззрение, что во времена Советов было формой политической самообороны, по существу, однако, выражало отказ от рационального ответа на проклятые вопросы жизни.

Статья-эссе Виктора Ерофеева в номере журнала воспринимается как своего рода теоретическое обоснование, обобщение текстов поэзии и прозы по преимуществу авторов одного с Ерофеевым поколения. Он рассматривает «зло» в сюжетных перипетиях: в лицах и деяниях героев — как неизбежность текста времени и литературы, уставшей от мертвого слова, мертвого гуманизма. Как «зло», скопившееся в воздухе и неизбежно изливающееся на бумагу. Куда же еще.

Есть в этом как будто бы и свой рациональный стержень, и логика, и детерминированность. В самом деле, не только Евгений Попов, Владимир Сорокин или Игорь Яркевич живут внутри пекла вместе со своими литературными героями, но и знаменитые носители морали и нравственности — Солженицын и Шаламов, по Виктору Ерофееву, близких с ними корней. Ведь Солженицын счел возможным воспевать в ГУЛАГе русскую душу («Иван Денисович»), а Шаламов показал границы, за которыми распадается всякая душа («Колымские рассказы»).

Все это было бы так, если бы не было позади опыта всей русской литературы с ее бесконечным полем разноцветья.

Во-первых, настоящих хеппи-эндгов, как известно читателю, в русской литературе вообще не бывает: стреляются, умирают, расходятся, уходят на каторгу. Разве что в русских народных сказках, где и то: по усам текло, а в рот не попало. Во-вторых, все ли, что упоминается Виктором Ерофеевым, одной «уродливо злой» природы? Возьмите хотя бы того же Сергея Довлатова с его «Иностранкой», абсурдно-веселой, до пронзительной грусти. При этом повествователь скорее всего не безоглядно зол, а безоглядно, может быть, безысходно добр.

Наконец, есть попросту и другая литература, другие литераторы, упоминаний о которых, равно как и их текстов, в журнале нет. А впрочем, иные есть, как, например, Ольга Седакова, которая никак не укладывается в концепцию Виктора Ерофеева.

Итак, все хорошо, прекрасная маркиза. Писатель пописывает, читатель почитывает... Но нет, простите, не только пописывает, но и покрикивает, поплясывает, посвистывает, может показать вам эдакое, хоть с телеэкрана, что ахнете (у вас такого нету!). Текст литературы переплетается с текстом реальной писательской биографии. И хотим мы того или нет, на поверхности океана, называемого русской литературой, сегодня плывут те, кто не только пишет, но и умеет создать имидж, показать себя читателю в фас и профиль, а лучше — в эдакой свободной беседе с экс-президентом, бывшим диссидентом, Бабой Ягой, маркизом де Садом...

А переводчик, друг писателя, и издатель, друг переводчика, чуют за версту этот запах паленого, жареного, аромат одеколона «Сирень», смешанного с запахом цветов зла.

Итак, или цветы зла, или устойчивый запах русской классики, разлитой на прилавках книжных магазинов, со своими, однако, привязанностями: Достоевский, Толстой (это как дань традиции, а потому неизбежность), но при этом и таинственный Одоевский, Михаил Булгаков (горячо и искренне любимый, в разных изданиях, суперобложках), набоковская «Лолита», «Раковый корпус» Солженицына.

Что же касается остальных литературных журналов, выходящих в Польше, как то: «Twórczość», «Odra», «Na gtos», «Czas kultury», то и здесь амплитуда литературных вкусов приблизительно та же. Или литература, ставшая классикой: Бунин,

Платонов («Twórczość», 1993, nr. 7; 1994, nr. 9), обернуты с непрочитанным до конца Хармсом («Czas kultury», 1994, № 4), неожиданный промельк — знаменитая «Баллада о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова в переводе Анджея Дравича («Na gtos», 1994, 13/38/) или Бродский, Бродский, Бродский. Если литератор нов для польского читателя, то непременно с текстом жизни, биографии, связанным с эмиграцией, как, например, Давид Гуревич, родом из Харькова, пишущий на английском языке («Czas kultury», 1994, № 2).

Русскую литературу поляки разных поколений читают по преимуществу на польском (кроме, конечно, русистов), которые, открыв недавний номер «Literatura na świecie», теперь прочитают Владимира Сорокина и Тимура Кибирова, Евгения Попова и Игоря Иртеньева... И хорошо, что прочитают. Но когда еще они смогут узнать Татьяну Бек, Владимира Леванского, Ольгу Постникову, Владимира Леоновича, Нину Габриэлян, которые, как бы это помягче сказать, не входят в букет «цветов зла»? А текст жизни у каждого уникален.

Не потому ли, разговаривая с польскими литераторами разных поколений и называя такие знакомые нашему читателю имена, я встречала гримасы легкого недоумения.

Однако похоже, что после Булгакова вторым любимым писателем поляков становится Андрей Платонов. На Платонова отзывались все без исключения: «А, Платонов?» — «Да! Платонов!» — «Ах, Платонов!» Вот и готовящаяся к печати книга Адама Поморского посвящена Платонову в российском социуме. И Хенрик Береза, известный литератор и сотрудник редакции «Twórczość», в своем авторском разделе журнала «Прочитано в машинописи... Выписки» фиксирует литературные факты и размышляет о молодых польских авторах, о французской литературе и Франсуазе Саган и одновременно — об Андрее Платонове (по следам выхода его книги «Ювенильное море», Варшава, 1994. Перевод Хенрика Хлыстовского), уделяя ему в лаконичном контексте литературного дневника почти полторы страницы. Не меньше, чем своим литературным современникам. Он пишет: «В самом начале Андрей Платонов безошибочно предвидел, как сохранить память человечества о коммунистическом эксперименте, когда сам он исчезнет. И это вовсе не означает поблажки или терпимости по отношению к этому социальному опыту.

Платонов еще более беспощаден к коммунизму, чем Булгаков, чем Солженицын.

Коммунизм уничтожается Платоновым в самом его фундаменте, в его узурпации научного знания, в языковой патологии.

Кто, подобно Платонову, видит в коммунизме противное разуму, реальной действительности, явной и тайной логике языка, известным и неизвестным возможностям воображения, тот не должен демонстрировать инциденты преступности коммунизма. Тот имеет право вступить в человеке, познавшем несчастья этого строя, такую глыбу трагического и смешного, какую в каждом сумел открыть и увидеть в свое время Антон Чехов».

Литератор, не читающий на русском языке, Хенрик Береза, однако же, прислушивается к литературному тексту Платонова, сравнивая его, может быть, с хрестоматийно известными текстами Гоголя, Толстого, того же Чехова, когда утверждает: «Наиважнейшее распознавание универсальной болезни должно было совершиться в русской литературе не только потому, что Россия стала отчизной коммунистического эксперимента».

Болезнь языка или болезнь сознания и души должна была проявиться в русском языке особенно ярко и уродливо, потому что это язык, совершенно не способный к сопротивлению этой болезни».

Платонов, Платоновым, о Платонове... Пишутся статьи, произносятся доклады. Конечно, потому, что это Платонов — писатель гениальный и поздно прочитанный за рубежом (в переводах) и у себя на Родине. Но есть и еще одно существенное обстоятельство. Общая болезнь, называемая коммунизмом, которая как будто бы минула, но остается искушением для толпы, и не только для нее.

Не оттого ли и статья Гасана Гусейнова «Язык российской политики и публицистики в первом постсоветском году» вызвала у моих собеседников — Хенрика Березы и другого сотрудника «*Twórczość*», литератора и переводчика Тадеуша Коменданта, интерес и безусловное одобрение. С тем же любопытством к тому, как это у них (т.е. у нас) живет и пишется после падения Берлинской стены, вторым моим собеседником, человеком одного поколения с авторами русского номера «*Literatury na świecie*», были прочитаны Кибиров и Сорокин. У Хенрика Березы, в пересчете на наш литературный процесс, шестидесятника, публикующего в своем журнале, однако же, молодую острую прозу, «Тридцатая любовь Марины» не вызвала ответа. Единодушны мои собеседники оказались в

оценке фрагментов «Прекрасной жизни» Евгения Попова: густое включение газетных фрагментов, по их мнению, не много дало для обновления жанра повести. Вот ведь, кажется: автором акцентированы и болезни языка, и хворобы сознания. А не Платонов.

Реакция этих двух литераторов, представляющих журнал с известной литературной репутацией, значит, не последних читателей в своем отечестве, характерна. Вроде как интересно все: от портретов наших литераторов (с детьми и домашними животными) и графики Андрея Бондаренко на библейские сюжеты — до литературных текстов. Запомнились же, независимо от «нра», «не нра», по преимуществу проза и эссеистика.

Встречи с русскими литераторами, организованные в рамках фестиваля «Швят литераци» (Варшава—Краков, 22—30 апреля 1995 года), показали не столько стремление дотянуться друг до друга — всего-то через одну границу, сколько трудность (а может быть, и невозможность в сегодняшней ситуации) адекватно понять друг друга.

И задавший вопрос польский литератор получал ответ не на свой вопрос, и молодой петербургский прозаик, на которого обвалилась штукатура советского авангарда, пытался безуспешно объяснить, что дело вовсе не в пост-авангарде, а в том самом сторожевом «посту», на котором писались стихи и проза вчерашних дворников и сторожей, ныне представляющих русскую литературу своего времени.

От Геннадия Айги, которому польская литература воздала должное — за короткое время в разных издательствах вышли две его книги «Тетрадь Вероники» («*Zeszyt Weroniki*», Warszawa, «*Świat literacki*», 1995) и «Поля-близнецы» («*Pola-sobotwory*», Poznań, A-5, 1995), — журналисты ожидали сенсации, хлопушки с сюрпризом, какую мог бы, по их мнению, припасти в кармане потенциальный Нобелевский лауреат. Но хлопушек не случилось. Уставший седой человек с глуховатым голосом и заметным акцентом прочитал несколько своих стихотворений, посвященных дочери Веронике, вслед за тем прозвучавших в польском переводе Йозефа Вачкова. Именно он, как и представивший Геннадия Айги Виктор Ворошильский, кажется, остались самыми подлинными ценителями Айги в заполненном зале. «В стихотворениях Айги нас привлекает атмосфера магии, которая творится поэтом через намеки или недомолвки, через характерную са-

мобытную таинственность и обаяние невозможности определить, схватить идею, но прежде всего через образы-двойники, что создают своеобразный Сон-Мир этой поэзии от первого до последнего цикла, постигающий наше естество до самой глубины...» — написал Йозеф Вачков в своем послесловии к книге «Тетрадь Вероники».

Нет слов, Геннадий Айги — поэт достойнейший, творческая судьба которого в России складывалась трудно. И слава Богу, что он пришел к нам через немецкие, французские, польские издания 70-х — начала 80-х годов. И вот сейчас новая польская встреча.

Но в общем литературном потоке улавливается почти не скрываемая сегодня тенденция: писатель, признанный и изданный на Западе, желаннее, чем любой талантливый, но еще как бы не открытый «там».

Забавно и в то же время странно, горько, досадно, что Иосиф Бродский произнес свою речь перед польской аудиторией при присуждении ему докторской степени на английском (от русского-де у поляков аллергия). И Зиновий Зиник, приехавший из Англии на фестиваль «Швят литерацики», говорил с сопровождавшим его польским культуртрегером по-английски. Где поест, в какую сторону повернуть ручку видеоманитофона (на котором были показаны фрагменты фильма, снятого по его роману «Русофобка и фунгофил»), в Польше оказалось легче выяснить на английском, чем на родственном славянском языке.

А ведь не так уж это было давно, когда поляки сами гордились своими открытиями в русской литературе. Задолго до россиан, да и многих своих западных коллег Зимовит Федечки и Северин Поляк со товарищи открывали читателю в 1957 году (!) «Доктора Живаго» (фрагменты романа), Марину Цветаеву, Осипа Мандельштама, рискуя всерьез. Так неужели с падением Берлинской стены поубавились стимулы для благородного риска?

Если в конце 50-х, 60-е да еще в 70-е годы культурные новости с Запада нередко приходили к нам через посредство польской прессы, то теперь непосредственно — из первоисточника: и каталоги французских выставок, и американские бестселлеры, и видеофильмы разного качества. И мы уже привыкли к этому.

А вот наши ближайшие соседи — из-за плохой ли работы почты или по иным причинам — ориентируются по преимуществу на уже апробированные имена и книги. Даже красоте «Русской красавицы» Вик-

тора Ерофеева сумели-таки поверить после нескольких западных изданий.

Сквозная политизация жизни, отношений внутри каждой из наших стран, с другой стороны — ненормальная реакция толпы на слово, произнесенное по-русски (это после многолетнего обязательного обучения русскому языку); наконец, боязливо-осторожный интерес к русскому соседу, от которого не уйдешь, ведет к тому, что современная русская литература как таковая как бы и неинтересна, если нет к ней некоего соуса а ля «соцарт», диссидентской биографии автора и конфронтации с так называемой «советской литературой», к которой, однако, коль следовать историко-литературной традиции и хронологии, мы не можем не отнести Пастернака, Ахматову, Зощенко и Бабеля, Вс. Иванова и Ю.Олешу.

Есть и свои, польские, сюжеты в этой цепи литературных и нелитературных фактов. Мне пришлось присутствовать на презентации книги Богдана Урбаньковского «Красная служба» («Czerwona msza», Warszawa, 1995), которая написана в жанре размышления-комментария к текстам известных польских писателей (многие из них представляют и сегодняшнюю польскую литературу), которые 20—30—40 лет назад написали несколько строк или целый текст, в котором связали себя с советской властью словами признания или благодарности. Книга стала своего рода сенсацией, но, думаю, ненадолго. Потому что литература — а среди «обличаемых» немало достойных польских поэтов: Веслава Шимборска, Артур Мендзыжецки, поэт (и переводчик с русского) непростой человеческой судьбы Виктор Ворошильский — значительнее обличающего, хоть и профессионального комментария.

Ведь если измерять писателя только его отношением к политическим реальностям дня (нередко обмолвками, конъюнктурными «паровозами», цитатами из классиков марксизма-ленинизма, неизбежными в 50-е годы), то с водой мы выплеснем и ребенка. Неужели кто-то станет, например, судить о Мандельштаме по его слабости — панегирическим стихам, посвященным Сталину?

Сегодняшняя ситуация на польском рынке русской книги (кстати, она в чем-то подобна нашей, отечественной) напоминает о давно пройденном и прочитанном тексте статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература».

Помните: «Свободны ли вы от вашего буржуазного читателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в романах и картинах, проституции в виде «дополнения» к «святому» сценическому искусству? <...> Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». И так далее... Снимите определение «буржуазного» (читатель, да и публика наша только успела откусить от плодов дикого капитализма), снимите излишнюю патетику и оценочность искусства — и все сойдется один к одному. Только изменился при этом цвет флага, лозунги партий в направлении «наоборот», на 180 градусов. Шкала ценностей при всех изменениях нашего быта, бытия, сознания осталась, однако, в той

же общечеловеческой системе координат, где рождение ребенка радостно, смерть горька, разлука печальна, предательство позорно.

Мне пришлось наблюдать одного русского писателя, разрабатывающего в своих текстах жилу жесткого секса, разноцветного «порно...», за границей. С трогательной нежностью, экономя на еде, он покупал розовое и голубое своим детям, нежно-ворсистое жене.

Торговал же он своими «цветами зла», родом с российских помоек, из неубранных общаг.

Но перейдет ли наша литература в какое-то иное качество, если все, скопившееся за годы тоталитаризма зло, перевести в слова и рассеять их по свету?

Гилберт Кийт Честертон

## О настоящих поэтах и прозаиках

С английского. Перевод Н. Трауберг



### О Редьярде Киплинге и о том, как сделать мир маленьким

На свете нет нелюбимых тем, есть только нелюбимые люди. Очень важно как можно скорее отстоять зануд. Когда Байрон делил всех на скучных и скучающих, он забыл прибавить, что скучные — выше, лучше, скучающие же (в том числе и он сам) — ниже и хуже. Торжественная радость зануды в сущности поэтична. Тот, кому все прискучило, весьма прозаичен.

Да, нам скучно пересчитывать все травинки или все листья, но не потому, что мы отважны и веселы, а потому, что нам не хватает отваги и веселья. Зануда взялся бы за дело (с весельем и отвагой, естественно) и узнал бы, что травинки так же прекрасны, как мечи. Зануда сильнее, радостнее нас, он — полубог, да что там — божество. Ведь именно боги не устают от повторений; для них закат всегда внове и каждая роза пламенеет, как пламенела первая.

Ощущение, говорящее нам, что все на свете исполнено поэзии, — совершенно и весомо; оно ничуть не зависит от слов или от настроений. Это не просто истина, это — вызов. Можно потребовать, чтобы мы это доказали; можно потребовать, чтобы мы назвали хоть одну неподвластную поэзии вещь. Помню, когда-то давно вполне разумный редактор показал мне книгу «Мистер Кузни» или «Семейство Кузни» и сказал: «Ну, уж отсюда своей проклятой мистики не вытяните!» Счастлив сообщить, что я его разочаровал, но победа была слишком проста и очевидна. Обычно в фамилиях поэзии нет, она — в ремесле. Но тут фамилия столь поэтична, что только подвижник сумеет носить ее с должным достоинством. Ремесло кузнеца чтит и короли; ему принадлежит половина той славы («апта vīgumque...»<sup>1</sup>), которую воспевал древний эпос. Дух кузницы так близок духу песни, что им питаются тысячи стихотворцев, и каждый кузнец прекрасен, словно стихи.

Даже деревенские дети чувствуют, что прекрасен кузнец, а не сапожник и не бакалейщик, когда они радуются пляске искр и грому ударов в пещере творящего насилия. Грубое сопротивление природы, пламенная прыть человека, сильнейший из земных металлов, страннейшая из земных стихий, непобедимое железо, поддающееся победительно, плуг и колесо, меч и молот, слава оружия и слава орудий — кратко, но внятно названы на визитной карточке мистера Кузни. Однако писатели наши нарекают героя Эйлмером Вэлэнсом, что ничего не значит, или Верноном Рэймондсом (тоже ничего), хотя вполне могли бы дать ему имя из железа и пламени. Те, кто зовется Кузни, вправе смотреть на нас свысока, чуть усмехаясь.

Окончание. Начало см. «ДН» №9 за 1994 год.

<sup>1</sup> «Оружие и мужа [пою]» (латин.).

Быть может, они и смотрят; надеюсь, что смотрят. Кто-кто, а они — не выскочки. Клан их вышел на поле битвы в давней тьме истории; трофеи их — повсюду; имя — у всех на устах; они старше наций, и герб их — молот Тора.

Однако заметил я и то, что так бывает редко. Обычные вещи — поэтичны, обычные прозвания — нет. Чаще всего мешает именно название. Многие считают, что мое мнение — просто словесный трюк, игра слов. На самом деле все наоборот. Игрою слов, порождением слов вернее назвать мнение, что в обычных вещах поэзии нет. Слово «семафор» не слишком красиво. Самый семафор — прекрасен: ведь люди, в недреманной своей заботе спасают ближних от смерти, зажигая огни алые, как кровь, и зеленые, как трава. Вот описание того, что *есть*, и оно поэтично; проза начинается с названия. Слова «почтовый ящик» не слишком красивы. Самый ящик — прекрасен: друзья и влюбленные кладут туда весточки, зная, что теперь весточки эти священны, тронуть их нельзя. Красный столбик — последнее святилище. Может быть, из всех романтических действий нам осталось два: жениться и опустить письмо — ведь романтично лишь то, что непоправимо. Мы считаем почтовый ящик прозаичным, потому что к нему трудно найти рифму; потому что мы не встречали его в стихах. Но семафор только зовется семафором, на самом деле он — властитель жизни и смерти. Ящик только зовется ящиком, на самом деле это — храм человеческих слов. Фамилия «Кузни» кажется вам прозаичной не потому, что вы мыслите здраво, «без дураков», а потому, что вы чересчур чувствительны к литературным влияниям. Фамилия эта вопиет о поэзии. Если же вы этого не слышите, вы просто не избавились от чисто словесных ассоциаций, и помните, что в юмористическом журнале мистер Кузни часто пьет или боится жены. Сами вещи пришли к вам в сиянии поэзии. Словесность долго и упорно старалась над тем, чтобы вы их увидели в сумерках прозы.

Вот первое и самое честное, что можно сказать о Киплинге. Он блистательно возвращает нам утраченные поэзией царства. Его не пугает грубая оболочка слов; он умеет проникнуть глубже, к романтике самой вещи. Он ощутил высокий смысл пара и городского простонародного говора. Если хотите, пар — грязные отходы науки. Если хотите, говор — грязные отходы языка. Однако он — а таких немного — увидел, чему они сродни, понял, что нет дыма без огня, другими словами — что самое грязное там же, где самое чистое. И вообще ему есть что сказать, есть что выразить, а это всегда означает, что человек бесстрашен и готов на многое. Когда мы обретаем мировоззрение, мы овладеваем миром.

Весть Киплинга, любимая его мысль — самое важное в нем, как и во всяком. Он часто пишет плохие стихи, как Вордсворт. Он часто говорит глупости, как Платон. Он часто впадает в политические истерики, как Гладстон. Но нельзя сомневаться в том, что он упорно и честно хочет что-то сказать; вопрос лишь один — что именно? Быть может, лучше и честнее начать с того, на чем так настаивают и сам он, и его противники, — с воинственности. Но если хочешь понять, чем хорош человек, не очень умно обращаться к его противникам, совсем уж глупо — к нему.

Конечно, Киплинг неправ, поклоняясь воинственности, но и противники его ровно в той же мере неправы. Войско плохо не тем, что велит некоторым стать буйными, гордыми или слишком дерзкими. Оно плохо тем, что по его вине многие становятся забитыми, послушными, безопасными. Профессиональный солдат обретает тем больше власти, чем меньше у народа смелости. Преторианская гвардия становилась все важнее, ибо Рим становился все развращенней и слабей. Военные обретают гражданскую власть в той мере, в какой человек обычный теряет воинские доблести. Так было в Древнем Риме, так — у нас, теперь. Никогда еще нации не отличались такой воинственностью. Никогда еще люди не отличались такой трусостью. Все столетия, все поэмы воспевали «*arma virumque*»; мы же сумели добиться сразу редкостного умаления мужей и немислимого совершенства оружия.

Киплинг бессознательно и блистательно доказал это. Если читаешь его серьезно, здраво, видишь, что воинское дело ничуть не становится у него самым важным или самым завидным. О солдатах он пишет хуже, чем о железнодорожни-

ках, строителях мостов, даже о журналистах. Дело в том, что армия привлекает его не отвагой, а дисциплиной. Отваги было намного больше в средние века, когда короли армий не держали, но каждый владел луком или мечом. Армия околдовывает Киплингa не храбростью (о ней он почти не думает), а порядком, о котором он, собственно, всегда и пишет. Нынешняя армия не блещет мужеством, у нее и возможностей к тому нет, ведь прочие, все поголовно, очень трусливы. Зато она блещет порядком, а это и есть идеал Киплинга. Тема его книг — не смелость, столь важная в бою, а послушание и полезность, которые точно так же свойственны инженерам, морякам, мулам и паровозам; потому он лучше всего и пишет об инженерах, моряках, мулах и паровозах. Истинная поэзия, истинная романтика, которую он открыл нам, — романтика дисциплины и разделения труда. Мирные искусства он воспеваeт лучше, чем искусство воинское, и главная мысль его очень важна и верна: все подобно войску, ибо все зависит от послушания. На свете нет прибежища эпикуреизму, нет места безответственному. Любая дорога проложена послушанием и потом. Можно беспечно лечь в гамак. Но скажем спасибо, что самый гамак плели отнюдь не беспечно. Можно шутки ради вскочить на детскую лошадь-качалку; но скажем спасибо, что столяр не шутил и хорошо приклеил ей ноги. В лучшие, высшие свои минуты Киплинг призывает нас поклониться не столько солдату, чистящему шпагу, сколько пекарю, пекущему хлеб, или портному, шьющему костюм, ибо они — такие же воины.

Зачарованный видением долга, Киплинг, конечно, — гражданин мира. Примеры он случайно берет в Британской империи, но сошла бы и почти всякая другая, вообще всякая развитая страна. То, чем он восхищается в британском войске, еще явственней в германском; то, чего он хочет от британской полиции, он обрел бы в полиции французской. Дисциплина — далеко не вся жизнь, но есть она повсюду. Поклонение ей придает Киплингу некую мирскую мудрость, опытность путешественника, столь радующую нас в лучших его книгах.

Недостает ему, грубо говоря, только патриотизма — он совершенно неспособен отдаться делу или сообществу совсем, до конца, до смерти; ведь все, что окончательно, — трагично. Он восхищается Англией, но не любит ее; восхищаемся мы за что-то, любим — просто так. Он восхищается Англией за то, что она сильна, а не за то, что она — Англия. Я не обижаю его, он, к чести своей, сам в этом признался с обычным, живописным простодушием. В очень занимательных стихах он пишет:

Была бы Англия слаба

(а не сильна и практична, как ему кажется)...

Я бросил бы ее.

Другими словами, он признает, что восхищается он, все взвесив, — и этого достаточно, чтобы отличить его от буров, которых он сокрушал. Говоря об истинных патриотах, скажем — об ирландцах, он с трудом сдерживает гнев. Благородно и красиво он может описать лишь умонастроение человека, который побывал повсюду, объездил города и страны,

чтоб восхищаться и смотреть,  
чтоб видеть белый свет.

Он превосходно передает ту легкую печаль, с какою оглядывается тот, кто был гражданином многих сообществ; ту легкую печаль, с какою оглядывается тот, кто был возлюбленным многих женщин. Можно много узнать о женщинах, крутя романы, но не ведая любви; можно узнать столько же стран, сколько узнал Одиссей, не ведая патриотизма.

Киплинг спрашивает в знаменитых строках, что знают об Англии те, кто знает одну лишь Англию. Точнее, да и мудрее спросить: «Что знают об Англии те, кто

знает только весь мир?», ибо мир не включает Англию, как не включает он Церковь. Когда мы что-нибудь искренне, истинно полюбим, весь мир — то есть другое — становится нам врагом. Христиане потому и говорили, что они «чисты от мира»; но говорят и влюбленные — «Что мне без тебя весь мир?». С научной точки зрения я понимаю, что Англия находится в мире, на свете, на земле; даже христиане, даже влюбленные — и те живут на этом шарике. Но они ощущают особую истину — как только ты полюбишь, мир тебе чужд. Киплинг, конечно, знает свет, он — путешественник, и ему присуща узость, которая присуща всем узникам нашей планеты. Он знает Англию, как образованный англичанин знает Венецию. Он часто в Англии бывал; он подолгу там оставался. Но он не принадлежит ни ей, ни какому-либо иному месту, и доказательство — именно в том, что Англия для него «место». Когда мы пустили где-нибудь корни, «место» исчезает, мы его не видим. Словно дерево, мы черпаем жизнь из всей Вселенной.

Тот, кто ездит по свету, живет в гораздо меньшем мире, чем крестьянин. Дышит он всегда воздухом «места». Лондон — «место» по сравнению с Чикаго, Чикаго — по сравнению с Тимбукту. Но Тимбукту — не «место», если там живут люди, для которых это — весь мир. Человек в салоне парохода видел много рас и думает о том, что людей разделяет: о кухне, об одежде, о ритуалах, об африканских кольцах в носу или английских кольцах в ушах. Человек на капустном поле ничего не видел; но думает он о вещах, которые людей объединяют: о голоде и о детях, о красоте женщин, о милости или о гневных небес. При всех своих огромных достоинствах Киплинг — путешественник, ни для чего иного у него не хватит терпения. Столь великого, честного человека не обвинишь в циничной непоседливости, но все же именно непоседливость — его главная слабость. Слабость эта прекрасно выражена в едва ли не лучших его стихах, где герой признается, что вынес бы что угодно, холод, голод, только не жизнь на одном месте. Такое чувство опасно. Чем мертвее, безжизненней, суше что-нибудь, тем его легче пустить по ветру — скажем, пыль, перекасти-поле, чиновника в Южной Африке. Все плодородное тяжело, словно отягощенные плодами деревья в живоносющей нильской тине. Когда мы беспечны, когда мы бездельны и молоды, нам хочется оспорить поговорку «катящийся камень мхом не обрастает». Мы спрашиваем: «Кому нужен мох, кроме глупых старушек?»; но со временем узнаем, что поговорка верна. Катящийся камень громко гремит; однако он мертв. Мох тихо молчит; он жив.

Да, от туризма и от науки мир становится меньше. Он стал меньше из-за пароходов и телеграфа. Он меньше из-за телескопа; только в микроскопе он больше. Скоро люди разделятся на приверженцев телескопа и приверженцев микроскопа. Первые исследуют вещи крупные и живут в маленьком мире; вторые исследуют вещи мелкие и живут в мире просторном. Что говорить, приятно пронестись в автомобиле вокруг земли, чтобы Аравия мелькнула вихрем песка, Китай — полоской поля. Но Аравия — не вихрь, и Китай — не полоска, а древние культуры, чьи странные добродетели скрыты, словно клад. Если хочешь понять их, надо не путешествовать и не исследовать, но обрести верность ребенка и великое терпение поэта. Побеждая эти страны, мы их теряем. Тот, кто стоит в своем огороде, глядя за ворота, в сказочный край, — человек широких взглядов. Разум его создает пространства, автомобиль их пожирает. Теперь, как учительница в школе, Землю видят глобусом, шаром, который нетрудно обойти; потому и ошибаются так страшно, рассуждая о Сесиле Родсе. Враги его говорят, что, возможно, мыслил он широко, но человек был дурной. Друзья говорят, что, может быть, он и дурен, зато широко мыслил. Истина же в том, что он не был особенно плохим — он был даровит, иногда он хотел добра, — но вот взгляды у него были исключительно узкие. Нет ничего широкого в том, чтобы закрасить карту одним цветом, дети часто так делают. Думать о континентах не труднее, чем думать о камушках. Трудности начнутся тогда, когда мы попытаемся понять континент или камень. Пророчества Родса о том, станут ли сопротивляться буры, прекрасно показывают, какова цена «широте взглядов», когда речь идет не о континентах, а о кучке обычных людей. Расплывчатый образ «света вообще», со всеми его

империями и агентством Рейтер, — сам по себе; а под ним, нимало его не касаясь, человеческая жизнь с вот этим деревом и вот этим храмом, этой жатвой и этой песней, глядит с удивленной улыбкой на то, как автомобильная цивилизация победоносно пронесится мимо прекрасных захолустий, обгоняя время, попирая пространство, видя все и ничего не видя, покоряя всю Солнечную систему, чтобы найти, что Солнце — скучновато, планеты — провинциальны.

### *Об условностях*

Циники (нежные агнцы) говорят: опыт и годы убеждают нас в том, что все на свете искусственно и пусто. В юности, говорят они, мы видим повсюду розы; но вот мы их срываем и убеждаемся, что они бумажные. Надеюсь, все живые люди знают, что дело обстоит как раз наоборот. Действительно, с годами мы становимся консервативней; но не потому, что много нового оказывается на поверку фальшивым, а потому, что много старого оказалось истинным. Вначале все условия и традиции кажутся нам бессмысленными. Потом условность за условностью, традиция за традицией наполняются смыслом, оживают под рукой. Сперва нам кажется, что все они кое-как приметаны к жизни; потом мы убеждаемся, что у них есть корни. Мы думаем, что снимать шляпу перед женщиной — просто утомительное правило; с годами мы узнаем, что это — чистое рыцарство, слава Европы. Мы думаем, что глупо и искусственно переодеваться к обеду; с годами мы постигаем идею пиришественных одежд, которая естественней самой природы. Да, циники неправы. В пору пылкой юности все кажется нам мертвым; в пору зрелости все оказывается живым. Просыпаясь в саду, мы думаем, что кругом — бумага. Потом мы трогаем цветок и узнаем, что это — роза.

Очень хороший тому пример — великий поэт, который был единственной опорой и мне, и многим другим и навсегда останется одной из наших опор. Думаю, нечего и спорить, что Уолт Уитмен — величайший из сынов Америки. К тому же он — один из величайших сынов XIX века. Ибсен хорош, и Золя хорош, и Метерлинк хорош; но они вроде бы уже начинают приедаться. А Уитмена даже еще не сумели как следует понять и полюбить. Его обвиняют в эгоизме; на самом же деле никто после Христа не ощущал так остро бесконечную ценность человека. Его обвиняют в грубости; на самом деле после Христа ни один мудрец не решался говорить так прямо — и просто. И все же, медленно обретая с годами радостную консервативность, мы начинаем понимать, что он был неправ, когда пренебрег условностью стиха. Он был неправ, отказавшись от мерного ритма. Ему казалось, что он отбросил что-то искусственное, как накладное украшение. На самом же деле он отверг вещь естественную и дикую, гнездящуюся в душе, как гнев, и необходимую, как мясо. Он забыл, что все живое движется ритмично, что сердце ритмично бьется и ритму послушны моря. Он забыл, что все дети изобретают ритм и рифму и самый дикий их танец состоит из повторов. Вся природа ритмична, как музыка; цивилизации приходится много потрудиться, чтобы этот ритм сбить. Весь мир говорит стихами; только мы в насажденной нашей простоте ухитряемся говорить прозой.

То же самое, хотя и помягче, можно сказать об уитменовском отказе от свойства, обычно называемого скромностью. Культ пристойности — штука не очень хорошая: нередко он говорит об упадке нравов. Этот культ — мораль безнравственного общества. Те, кто особенно печется о скромности, не слишком сильно пекутся об истинной чистоте; вспомним восточные дворцы и лондонские салоны. И все же Уитмен неправ. Он неправ, потому что, пусть подсознательно, считал пристойность и скромность искусственными. А это не так. Как милосердие и другие общепризнанные добродетели, скромность уходит корнями в самую естественную глубь бытия. Дичатся, робеют, замыкаются именно те, кто проще всех, — дети, дикари, даже звери.

Скрывать хоть что-то — первый из уроков природы. Скрывать — куда естественней, чем все обнажать и объяснять. Если женщины и впрямь скромней и

достойней нас, мужчин, если они сдержанней и, в полном смысле слова, «умеют держать себя» — если они таковы (а они таковы, я знаю), причина очень проста: они сильней и проще нас. Жить, вывернув кишки наружу, — неестественно и нелегко. Для истинного самовыявления нужна истинная скромность, и, как ни усложнялись общественные и философские системы, люди не могли додуматься до полной, принципиальной беззастенчивости, пока не дошли до нашей, сверхцивилизованной жизни. Скрывать — естественно, как есть хлеб. Свободно говорить обо всем кажется естественным только в эпоху моторов.

### Радостный ангел

Оказывается, и впрямь существуют люди, которые считают сказки вредными. Я говорю не о госте в зеленом галстуке — его я никогда не считал человеком<sup>1</sup>; серьезная женщина написала мне, что детям нельзя давать сказки, даже если сказки — не выдумка. Почему же? А потому, что жестоко пугать детей. Точно так же можно сказать, что барышням вредны чувствительные повести, потому что барышни над ними плачут. Видимо, мы совсем забыли, что такое ребенок (на этом, собственно, и стоят столь прочно наши воспитательные системы). Если вы отнимете у ребенка гномов и лодоедов, он создаст их сам. Он выдумает в темноте больше ужасов, чем Сведенборг; он сотворит огромных черных чудищ и даст им страшные имена, которых не услышишь и в бреде безумца. Дети вообще любят ужасы и упиваются ими, даже если их не любят. Понять, когда именно им и впрямь становится плохо, — так же трудно, как понять, когда становится плохо нам, если мы по своей воле вошли в застенки высокой трагедии. Страх — не от сказок. Страх — из самой души.

Дети и дикари пугливы — и правы. Они боятся этого мира, ибо он и впрямь опасен. Они не любят одиночества, ибо нехорошо, нет — очень плохо быть человеку одному. Дикарь страшится неведомого по той же причине, по какой агностик ему поклоняется — потому что оно *существует*. Сказки не повинны в детских страхах; не они внушили ребенку мысль о зле или уродстве — эта мысль живет в нем, ибо зло и уродство есть на свете. Сказка учит ребенка лишь тому, что чудище можно победить. Дракона мы знаем с рождения. Сказка дает нам святого Георгия.

Сказка показывает нам ясные, светлые картинки и приучает к тому, что бесконечным страхам есть предел, у страшных врагов есть враги, а в мире есть тайны, которые сильнее и глубже, чем ужас. В детстве я глядел во тьму, пока она не становилась черным великаном (если на небе сверкала звезда, он был циклопом). Но сказки исцелили мою душу. Однажды утром я прочитал достоверный отчет о том, как мальчик, не старше меня, и не умней, и много беднее, победил такое же самое чудище, вооружившись лишь мечом, плохими загадками да храбростью. Иногда ночное море казалось мне драконом. Но я уже знал младших сыновей и портняжек, которым сразить дракона-другого не трудней, чем пойти к морю.

Возьмите самую страшную сказку братьев Grimm — о молодце, который не ведал страха, и вы поймете, что я хочу сказать. Там есть жуткие вещи. Особенно запомнилось мне, как из камина выпали ноги и пошли по полу, а потом уж к ним присоединились тело и голова. Что ж, это так; но суть сказки и суть читательских чувств не в этом, — она в том, что герой не испугался. Самое дикое из всех чудес — его бесстрашие. Он хлещет чертей по плечу, предлагает им вина; и много раз в юности, страдая от какого-нибудь нынешнего ужаса, я присил у Бога его отваги.

Если вы не читали сказку, прочитайте, там прекрасный конец: герой женился и узнал страх, когда жена окатила его водой. В одном этом больше правды о браке, чем во всех книгах о «проблеме пола», которых теперь так много.

<sup>1</sup> См. эссе «Драконова бабушка» («Человек в газете», М., «Прогресс», 1985).

По углам детской кроватки стоят Персей и Роланд, Зигфрид и Георгий. Если вы уберете стражу, ребенок не станет разумней — просто ему придется прогонять бесов одному. В кого в кого, а в бесов мы верим. Надежду отрицают все тверже, безнадежность — вне сомнений. Нынешние люди веруют только в погибель. Лучший из современных поэтов<sup>1</sup> выразил эту веру в прекрасной, не лишенной сомнения строке:

Быть может, есть небо. Конечно, есть ад.

Мрачный взгляд на мир никогда не исчезал; новые тайноискатели и тайновидцы прямо с него и начинают. Не так давно вообще не верили в духов. Теперь все больше народу верит в нечистого духа.

Многие ругают спиритов за то, что все у них как-то глупо — духи шутят, чуть ли не танцуют со столиками. Меня это не пугает; я был бы рад, если бы духи вели себя еще смешнее. Пусть шутят, только получше. Наша новая духовность важна и уныла. Языческие боги бывали распутными, христианские святые — слишком серьезными, а духи эти и серьезные, и распутны; какая гадость! Ведь суть и ценность Рождества в том, что мифы о нем добры и радостны. Конечно, я верю в рождественского деда, но на святки надо прощать, и я прощаю тех, кто не верит. А если кто-нибудь не понял, почему я так сержусь, пусть прочитают, к примеру, «Поворот винта». Мало на свете книг, написанных так хорошо, но я далеко не уверен, что стоило ее писать. Повествуется там о двух детях, которые постепенно обретают и всеведение, и безумие под влиянием злых духов, слуги и служанки. Да, я не уверен, что Генри Джеймс должен был это издавать (нет, не покупайте, там все пристойно, это — про душу!), но я все же сомневаюсь и дам возможность оправдаться этому прекраснейшему писателю. Я приму его повесть и похвалю, если он напишет не хуже о детях и Санта Клаусе. Если он не захочет или не сможет — дело ясно. Нас занимают мрачные тайны, не занимают — добрые. Мы не поборники разума, а поклонники дьявола.

Я думал обо всем этом, глядя на алое пламя в камине, осветившее комнату, словно радостный ангел. Наверное, вы не слыхали об ангелах радости. Зато вы слыхали о бесах уныния. Именно это я и хотел сказать.

### *Сказка*

Все вы читали в романах, рассказах и статьях о человеке, который, проснувшись, забыл, кто он такой. Он может мыслить, может действовать — но не может вспомнить свое имя. Это случилось со мной; к счастью, это случилось и с вами. Все люди на свете забыли, кто они и откуда взялись. Никто не помнит, как он родился, а если б и помнил, это бы мало помогло. Родители очень приятны — но что они объясняют? Легче понять Вселенную, чем себя; легче, в конце концов, понять, где вы, чем понять, кто вы. Мы забыли, что мы такое, и бродим по улицам без санитаров. Иногда мы забываем, что забыли, — вот вам здравомыслие, практичность, житейский разум; иногда вспоминаем, что забыли, — вот религия и стихи.

Я вспомнил, что забыл, сидя на куче камней в далекой деревушке. Ни одна травинка не шелхнулась, ни одна птица не вспорхнула, но кровь моя застыла от страха, и я понял, что я — в сказке. Деревенский пейзаж больше подходит к сказке, чем горы, моря и пещеры. В наши дни почти никто не понимает, что простые, домашние предметы чаще наводят на мысль о колдовстве и чарах. Самое простое в человеке ближе всего к небу и к аду. Легче представить себе заколдованный стол или кувшин, чем заколдованную картину Рафаэля или горную цепь. Обычный деревенский вид — вроде того, что расстилался передо мной — может быть насквозь пропитан бесовщиной, и она еще жутче оттого, что дома и деревья на

---

<sup>1</sup> Роберт Браунинг (прим. переводчика).

удивление просто и спокойны. Все было бесформенно — и все напоминало человека, как будто каждый предмет повернул ко мне неуклюжую спину. Невысокая изгородь и впрямь казалась живой, словно мохнатые домовые, взявшись за руки, стоят спиной ко мне и смотрят на солнце. Низенькие деревья были искривлены, скрючены недоброй магией моря; они горбились, как люди, и прятали лицо. Все пряталось, и все подстерегало; даже куча камней, на которой я сидел, смотрела во все глаза. И все эти странности были слабой тенью — или символом? — того, что я понял. А понял я, что ничего не знаю. Я задал себе загадку: что такое — быть живым? Святые не нашли на нее ответа; философы не видели самой загадки; а я в ту минуту вспомнил, что ничего не помню.

Только в сказках жив этот дух. Никак не пойму, почему люди, не верящие в Бога, так далеки от великих, вечных, здравых преданий, лежащих за пределами Церкви. Если вы не можете подняться к вере, зачем вам опускаться до естественных наук? Если бы я не верил в Христа, я бы не отдал веру Геккелю. Я верил бы в Джека Грозу Великанов; я считал бы Евангелием сказки, славящие храбрость, надежду, чудо, твердое слово, верность другу, невесте и жене. Моя статья — не об этом; но не свидетельствует ли в пользу христианства то, что его противники не могут уйти от него в обычную, человеческую жизнь, а непременно свихнутся на чем-нибудь диком и темном? Те, кто противится вере, противится и сказкам; те, кто не любит христианства, не любит, как ни глупо, и язычества.

Сказочная страна — это место, законов которого мы не знаем. То же самое можно сказать о Вселенной. Мы ничего не знаем о законах природы; мы даже не знаем, есть ли эти законы. Достоверно мы знаем одно: сперва — авторитет родителей, родных и няни, а потом чрезвычайно скудный опыт учат нас, что между порохом и взрывом есть какая-то связь. Тут-то и открывается нам вся глубина и здравомыслие сказок. Ученый говорит: «Смешайте это, это и это — и будет взрыв». Хорошая колдунья говорит: «Съешь это, это и это — и великан погибнет». Но ученый дает понять, что существует строгая связь между смесью и взрывом. Иногда он зовет ее неизбежностью, то есть тем, что нельзя нарушить, иногда — законом, то есть тем, что нарушить можно, но всегда подразумевает, что мы видим эту связь; а мы ее не видим. Сказка куда мудрей. Колдунья говорит: «Сделай вот это странное дело — и совершенно другое странное дело последует за ним. Я не знаю, почему. Я даже не знаю, всегда ли так бывает. Но это невредно иметь в виду, если хочешь убить великана». Мы не знаем, законы ли правят тем, что окружает нас. Мы не знаем, неизбежны ли они. Мы знаем одно: это — чары, то есть вполне эффективные действия, чья суть остается тайной. Вода заколдована и падает вниз. Птицы заколдованы и не падают. Солнце заколдовано — и светит.

Я встал с кучи камней гражданином сказочного царства и, стиснув палку, словно меч, пошел искать великанов. Сначала я было приуныл — первые трое встречных оказались ниже меня. Но дорога бежала впереди быстро и прямо, как белый охотничий пес, и я не мог отказаться от мысли, что меня ждут чудеса. Ведь мораль сказочного царства гласит, что радость там — как, впрочем, и везде — немислима без борьбы и цели. Мы не радуемся лугу или лесу, если не должны проложить сквозь него дорогу. Сказка — не страна лотофагов, никто не может нежиться в ней. Дети — почетные ее граждане — совсем не хотят нежиться. Я надеялся встретить чудище, по возможности — трехглавое, потому что герои сказок борются только с сильнейшими. Я хотел, чтобы мой великан был как можно выше и как можно злее. Вдруг дорога и изгородь резко свернули вбок, а я посмотрел вперед, и последние остатки житейского разума рухнули навсегда.

Передо мной стоял замок великана, точно такой, какой я видел в детстве на раскрашенной картинке. Силуэт его зубцов и башен причудливо и четко темнел на светлом небе. Как ни смелы были мои надежды, я все же не думал, что найду такое по дороге в Кент. Я подошел к пожилому толстому крестьянину (переодетому эльфу) и спросил: «Кто там живет?» — «Живет? — сказал он. — Да вот недавно миллионер один купил». А я оперся на палку и долго стоял и думал о битве в сказочном царстве.

### О трущобах и трущобных романах

В наши дни очень странно толкуют учение о человеческом братстве. При всей нашей гуманности мы плохо понимаем его, еще хуже — осуждаем. К примеру, мы не слишком погрешим против него, если спустим по лестнице дворецкого. Возможно, мы и согрешим — но не против демократии. В определенном смысле мы именно признаем братство и равенство, встретив дворецкого лицом к лицу и предложив ему честь поединка. Ничуть не противно равенству, хотя, может быть, и противно разуму ждать многого от дворецкого и гневно удивиться, если он не соответствует нашим ожиданиям. Вот ничего от него не ждать — поистине противно демократии. Ей противны слова, которые то и дело произносят нынешние гуманисты: «Нельзя требовать многого от тех, кто ниже нас...» Собственно говоря, демократии и братству противоречит наш обычай не спускать дворецкого с лестницы.

Вам кажется, что я не слишком серьезен, только потому, что из современного мира исчезла истинная демократия. Демократия — не филантропия, даже не социальные реформы, даже не альтруизм. Она основана не на жалости к обычному человеку, а на почтении к нему, если хотите — на благоговейном страхе. Она считается с такими людьми не потому, что они жалки и мелки, а потому, что они велики. Ее приводит в негодование не то, что обычный человек — раб, а то, что он — не царь, ибо она хранит римскую мечту о республике царей.

Демократичнее всего — настоящая республика, но прямо за ней идет наследственная деспотия, то есть единоличное правление, в котором нет и следа такой чепухи, как превосходство ума или воли, или мужества. Деспотия разумная, избирательная — истинная беда, ибо обычным человеком правят те, кто и не понимает его, и не почитает. А вот неразумная деспотия демократична, ибо на троне сидит обычный человек. Самое худшее рабство — так называемый цезаризм, когда правление вручают человеку блистательному, потому что он для этого создан. Люди выбирают не того, кто представляет их, а того, кто их представлять не может. Человеку обычному — Георгу III или Вильгельму IV — доверяют потому, что доверяют самим себе. Человеку великому доверяют потому, что себе не доверяют. Вот почему поклоняются великим во времена слабости и трусости. Мы и не слышим о великих людях, пока все не станут мелкими.

Словом, наследственная деспотия по сути своей демократична, ибо она выбирает наугад. Она не утверждает, что править может каждый, но утверждает, что править может всякий. Наследственная аристократия куда опасней, ибо аристократов много, они бывают разные и могут оказаться аристократами духа. Во всяком случае, кто-нибудь из них да умен, и он будет править другими силой ума, а уж они — силой происхождения. Получится двойная ложь: миллионы образов Божьих, которые, к счастью своих семейств, не умны и не высокородны, будут представлять человек вроде Бальфура или Уиндэма<sup>1</sup>, слишком воспитанный, чтобы назвать его интеллектуалом, и слишком умный, чтобы назвать его джентльменом. Однако у наследственной аристократии — иногда, случайно — бывают те демократические свойства, которые отличают наследственную деспотию. Занятно прикинуть, сколько хитроумия потратили на защиту Палаты Лордов те, кто хотел доказать, что она состоит из умных людей; тогда как единственное ее оправдание — то, что она, в самом лучшем своем виде, состоит из людей глупых. Наши пэры почему-то стесняются сказать об этом, но ведь ее только и можно защитить, если напомнишь, что члены Палаты Общин, обязанные своим положением уму, должны, когда дело дойдет до крайности, уступить место обычным людям, обязанным своим положением случаю. Конечно, мне возразят, что Палата Лордов уже не палата лордов, а палата финансистов, или что недалекие аристократы не голосуют, предоставляя эту честь снобам, специалистам и старичкам с причудами. И все же при всем при этом Палата Лордов поистине представительна. Когда все пэры, как один, провалили второй билль Гладстона о гомруле, они действительно представляли английский народ. Милые немолодые люди, случайно родившиеся лордами; в точности соответствовали милым немолодым людям, случайно родившимся незнатными. Скопище пэров представляло английский народ — оно было искренним, невежественным, немного взволнованным, почти

<sup>1</sup> Артур Бальфур (1848 — 1930) и Джордж Уиндэм (1863 — 1913) — члены консервативной партии; Бальфур был премьер-министром Великобритании с 1902 по 1905 гг.

единодушным и совершенно неправым. Конечно, разумная демократия лучше выразит волю народа; но если у нас есть только олигархия, пусть она будет неразумной. Тогда хоть нами будут править люди.

Для того чтобы демократия была действенной, мало демократической системы, даже демократической философии — нужны демократические чувства. Как почти все простое и необходимое, описать их очень трудно; и совсем уж невозможно в наше просвещенное время, ибо теперь их и не найдешь. Скажу так: это — особое чутье, благодаря которому то, в чем люди едины, намного важнее того, в чем люди различны (например, ума). Ближе всего к этому — наши чувства, когда речь идет о смерти. Мы говорим: «Под диваном — мертвый человек», а не «...мертвый и утонченный». Мы говорим: «Женщина упала в воду», а не «высокообразованная женщина...». То, что испытывают все перед лицом рождения или смерти, некоторые испытывают везде и всегда. Так чувствовал св. Франциск. Так чувствовал Уитмен. Конечно, в такой великой мере этих чувств нельзя требовать от целого сообщества или целой цивилизации; но в одном сообществе, в одной цивилизации этого больше, чем в других. Наверное, больше всего этого было в сообществе Франциска. Наверное, меньше всего этого у нас.

Если присмотреться, чувства недемократичны теперь повсюду. В религии и морали, например, мы признаем, что грехи образованных не меньше, если не больше, чем грехи невежественных нищих; однако на практике думаем только о последних, чем и отличаемся от средних веков. Мы вечно толкуем о неумеренном пьянстве, но не признаем гордыни. Мы готовы назвать святым или пророком ученого человека, который заходит в скромные домики и дает советы неученым. В средние века святым и пророком считали неученого человека, который идет во дворцы и замки и дает советы сильным мира сего. У былых тиранов хватало наглости обирать бедных, но не хватало наглости им проповедовать. Дворянин обижал нищих; нищие его учили. Точно так же, как в религии и морали, недемократичны мы в политике. Мы все думаем, что нам сделать с бедными; демократ думал бы, что бедные сделают с нами. Наверное, на свете и не было чисто демократического государства. Но даже средние века на практике были настолько демократичны, что каждый феодал знал: любой закон, который он создаст, может ударить по нему. У него могли отрезать пышные перья, как велит закон о роскоши. Ему могли отрубить голову, как велит закон об измене. Современные законы едва ли не всегда направлены только на тех, кем правят. У нас есть закон о кабаках, нет закона о роскоши. Другими словами, мы ограничиваем широту и гостеприимство бедных — но не широту и гостеприимство богатых. У нас есть законы против «богохульной брани», то бишь против грубых выражений, которые употребляют только темные простые люди. У нас нет закона против ереси, то бишь против того, чтобы отравляли разум; а это по силам только людям благополучным и влиятельным.

Аристократия дурна не тем, что при ней непременно плохо живется, она дурна иным: правители навязывают другим то, от чего не страдают сами. Плохо ли, хорошо ли то, что они навязжут, — они всегда беспечны. Правящий класс современной Англии не своекорыстен; если хотите, он совершенно свободен от себялюбия. Когда он создает законы для всех, он забывает о себе.

Словом, мы недемократичны в религии, ибо пытаемся «поднять» бедных. Мы недемократичны в политике, ибо пытаемся хорошо править ими. Но недемократичней всего мы в литературе, и доказывает это истинный поток романов и ученых трудов о бедных. Чем современной книга, тем меньше в ней демократического чувства.

Бедный — это человек, у которого мало денег. Казалось бы, такое определение слишком просто и совсем ненужно, но, когда считаешь нынешние книги, оно оказывается очень полезным. Почти все наши реалисты и социологи говорят о бедном так, словно он — осьминог или аллигатор. Психологию бедности можно и должно изучать как психологию дурного нрава, или суетности, или низких страстей — но не больше. Мы знаем, что испытывает оскорбленный человек, не потому, что нас оскорбили, а потому, что мы — люди. И про чувства бедных людей надо бы знать не потому, что ты беден, а потому, что ты — человек. Описывая бедность, писатели плохи тем, что они ее изучают. Демократ представил бы ее себе.

Если нынешние книги о трущобах, скажем — романы Артура Моррисона или очень талантливые романы Сомерсета Моэма — должны поразить читателя, могу

только сказать, что это — разумная, благородная задача, и они ее выполнили. Удивление, шок, словно холодная вода, — очень полезно. Люди всегда ищут его среди прочего в странных слухах о далеких или чужих народах. В XII веке они его находили, читая об африканских людях с песьими головами; в XX — читая об африканских бурах, у которых головы бараньи. Все же тогда, прежде, народ был немного доверчивей — никто хотя бы не шел в Африку походом, чтобы беспощадно изменить форму голов. Вполне естественно, что с тех пор, как чудовища ушли из народной мифологии, понадобился миф о страшном, мохнатом жителе трущоб, чтобы мы благоговейно дивились причудливости бытия. Но для средних веков природа была, в сущности, шуткой; всерьез относились к душе. О людях с песьими головами не писали книг, на них не сваливали все старые грехи и новые моды. Можно представить человека чудовищем, если хочешь, чтобы читатель подпрыгнул: удивить кого-нибудь, чтобы он подпрыгнул, — истинно христианское дело. А вот описывать человека так, чтобы он счел себя чудовищем, — нельзя. Словом, наши книги о трущобах приемлемы эстетически, дурны — духовно.

Полезными им мешает стать одно очень важное свойство. Те, кто их пишет, и те, кто читает, принадлежат к слою, который называют образованным. Так видят жизнь сложные люди — но не так ее видят простые. Богатый пишет о бедном, и тот говорит у него грубо и хрипло. Но если бы бедный писал о богатом, тот говорил бы визгливо и жеманно, как герцогиня в водевиле, а не мы с вами. Весь эффект трущобного романа — в том, что писатель что-то знает, а читатель — нет. Но герои таких книг все это знают сами. Для автора и фабрику, и кабачок окутывает один и тот же бурый туман. Для жителя трущоб кабачок и фабрика не меньше отличаются друг от друга, чем отличаются для нас контора и ресторан. Описать радости бедных может лишь тот, кто способен их пережить. Словом, эти романы — не психология бедности; это — психология богатства и культуры, соприкоснувшихся с бедностью. Это не описание трущоб; это — туманное и пугающее описание трущобных чудовищ.

Можно привести несметное множество примеров, но самый простой и убедительный — то, что романы эти реалистичны. У бедных немало недостатков, но реалистами они не бывают. Они — романтики. Они верят в нравственные прописи; быть может, именно потому они и блаженны. Блаженны бедные, ибо они обращают жизнь (или хотят обратить ее) в самую беспардонную мелодраму. Простодушный филантроп или наивный просветитель (да, и они могут быть такими) удивляются, что «народ» предпочитает грошовое чтиво ученым трактатам, мелодраму — проблемной пьесе. Если вам нужны мастерство, тонкость, единство атмосферы — реалистический роман гораздо лучше мелодрамы. Но хотя бы в одном мелодрама лучше романа: она больше похожа на жизнь. Герои ее куда больше похожи на людей; особенно — на бедных. Очень пошло и безвкусно, когда женщина на подмостках говорит: «Неужели вы думаете, что я продам свое дитя?» Но женщины на Бэттерси-Хай-роуд и впрямь говорят: «Что ж я, ребенка своего продам?» И очень плоско, и очень высокопарно, когда работник говорит хозяину: «Я — человек». Но работник и впрямь говорит: «Что я, не человек?» раза по три в день. Быть может, скучно видеть мелодраматичных бедняков на сцене, но лишь потому, что мы вечно видим их на улице. Словом, если мелодрама шаблонна, то потому, что она точна. Примерно такая же проблема — с повестями о школьниках. «Ловкач и компания» Киплинга гораздо занимательней, чем «Эрик или Мало-помалу» покойного Фаррара. Зато «Эрик» куда больше похож на школьную жизнь. Ведь на самом деле в жизни школы, в жизни мальчиков очень много того, чего много и в «Эрике», — снобизма, глупых грехов, грубого благочестия, непрерывных и тщетных потуг на мужество; словом, мелодрамы. И если мы хотим действительно помочь бедным, мы не должны, как реалисты, смотреть на них извне. Мы должны, как мелодрама, видеть их изнутри. Писатель не вправе вынуть записную книжку и сказать: «Ну, тут я специалист». Нет; подражая персонажу пьесы, он должен ударить себя в грудь и сказать: «Я — человек!»

Ирина Кунина

## Век мой, зверь мой...

Из книги воспоминаний



Ирина Ефимовна Кунина родилась в 1900 году в Санкт-Петербурге. Окончив гимназию, поступила на Раевские курсы. Вхождение в литературный мир прервала революция. Зима 1917—18 годов прошли под знаком А.Блока, его «Двенадцати». Весна 1918 года — это прогулки по Петрограду с Н.Гумилевым, посвятившим ей одно стихотворение. 1919 — бурлящий литературный котел Киева, калейдоскоп сменяющих друг друга властей на юге России — и Мандельштам. 1920 — вынужденная эмиграция и скитания по Европе. Четыре года спустя — возвращение в Советскую Россию, в Ленинград. Работала в Севзапкино, писала сценарии, сотрудничала с Козинцевым и Траубергом, сама снималась в кино.

В 1926 году по приглашению немецкой кинематографической фирмы выехала на Запад. Последовало замужество с югославским юристом, впоследствии работающим в ООН, Божидаром Александром, жизнь в Югославии, Америке, Швейцарии.

И.Кунина автор двух десятков книг, переводов, вышедших на английском и сербохорватском языках. Сведения о ней включены в американскую энциклопедию «Who is Who», югославские литературные энциклопедии.

В настоящее время И.Кунина живет в Женеве.

Мы благодарим издательство «Свента», которое готовит к выпуску книгу «Век мой, зверь мой...», за предоставленную возможность публикации глав воспоминаний Ирины Куниной.

### Мы покидаем Петербург навсегда

В августе 1918-го жизнь в столице стала очень трудной: есть было нечего, средства передвижения стояли, как музейные экспонаты, топлива на зиму не предвиделось — завтрашнего дня не было. Город замер, как если б ему дан был приказ: «Стоп! Снимаем!» Новое правительство сообщалось с населением сводками и указами, расклеенными на досках заколоченных витрин и парадных подъездов. В первой половине на редкость ясного августа одно происшествие расшевелило, даже взволновало старый Петербург: одновременный конец всей семьи генерала С. Не самоубийство, а стечение обстоятельств, нуждающихся в предварительном объяснении. Незадолго, помнится, до войны генерал с семьей переехал из особняка, насиженного поколениями его родни, крыс, тараканов, в новейшее достижение современной архитектуры. Оно состояло из нескольких жилых домов, связанных двором-садом с фонтаном. Помнится, тот архитектурный ансамбль называли в обиходе толстовскими домами. Квартиры в этих домах славилась новейшим комфортом: лифты останавливались прямо в вестибюлях квартир, отопление было незримое, электрические выключатели не только не стреляющие, но совершенно беззвучные, как если б свет давался мановением невидимой руки; подоконные холодильники — ларцы, обшитые цинком.

Весь город говорил о том комфорте, поди и немало преувеличивая! Но подоспела революция и превратила все эти новшества из завидных в обидные, попросту комические. На седьмом этаже, у генерала, жизнь прахом пошла — лифт остановился в чьем-то вестибюле навсегда — стоял, говорили, там, как касса в закрытом кинематографе.

Генерала с семьей жалели, и даже, кажется, искренне. Шутка ли — на седьмой этаж пешком поднимать генеральской четы солидные пуды! Да еще по несколько раз в день — в поисках съестного, да еще и без слуг, разбежавшихся кто куда: не для генерала же революцию делали! Сразу, можно сказать, вслед за персоналом разбежались сыновья. Сначала прибежали домой: из кадетских корпусов — двое младших, а двое старших — из юнкерского училища ускоренного выпуска. Переночевали и ушли под утро белым помогать — кто куда и кто к кому — против красных бороться. Ни слова родителям не оставили: даже персонал поступил приличнее: вывесил на стене кухни сообщение: «Нас зовет революция!»

С недельку, говорили, походил генерал на своих распухших от сердечного недуга ногах по гималайским высотам седьмого этажа без лифта, но вскоре наступил последний день. В вестибюле с неподвижной дверью лифта генерал грохнулся в ноги чучелу медведя с серебряным подносом, заваленным визитными карточками. Генеральша, в спальне, из которой больше не выходила, заслышав бух, крикнула гневно: «Не смей меня одну оставить в этой чумной стране!», — и, не дождавшись ответа, встала, отбросила одеяло вместе со своей материнской и классовой тоской и направилась в вестибюль. (Откуда Петербург знал такие подробности, я себя тогда спрашивала. Теперь больше ничему не удивляюсь.) Постояв с минуту подле покойника у ног медведя с подносом, перекрестилась истово и вернулась в постель с твердым решением догнать разбежавшуюся семью. Это ей удалось чуть ли не в тот же день.

Непроверенное это происшествие произвело на моего отца такое сильное впечатление, что к вечеру он сказал во всеуслышанье, хоть обращался только ко мне и сестре: «Покидаем Петербург без промедления! Навсегда! Едем в Белоруссию!» Даже я, его любимица и освободительница из тюремных заключений, не решилась расспрашивать. А обязательницей отца я действительно была.

Никому из оставшихся домочадцев, а меньше всего самому отцу, не было понятно, за что его арестовывают, за что сажают или выпускают. «Сознательные граждане должны сами сознавать свою провинность!» — говорили нам, то есть мне, потому что спрашивала я.

Всю мою недолгую, правда, жизнь до весны восемнадцатого мы легко покидали Петербург каждый год в конце мая на три месяца, радостно предвкушая летние росные утра, хождения по грибы-ягоды, пикники в лесу, но уже в августе мечтая о Петербурге. Но покинуть его навсегда — ни за что! И однако пришлось... Расскажу сначала об арестах отца.

Деятельность новых государственных учреждений походила порой на халтурный любительский спектакль. В одном из них участвовала и я. Когда отец в первые дни того последнего петербургского августа снова был уведен из дома, я пошла «по инстанциям» — выяснять, где он, за что и надолго ли. На мои вопросы ответа не было, или такие:

— Выяснить, в чем ваш папаша виноват, извините, гражданка, рук не хватит, и не так уж он важен, извиняюсь за выражение, чтобы я им одним занимался.

— Тогда выпустите его, раз не важен.

— Извиняюсь, это сначала выяснить нужно: не проверив, мы людей не выпускаем.

— А проверили, когда забирали? — не удержалась я с моей свежобретенной дерзостью.

Он неодобрительно покачал головой и отвернулся от меня.

— Известно уже, за что мой отец арестован?

— Мне неизвестно.

— А кому, вы думаете, известно?

— Понятия не имею. Я по горло занят, и выяснять времени у меня нету. Извиняюсь, но таких папаш у нас как собак нерезанных!

И он отвернулся от меня и даже плечом дернул презрительно.

Я продолжала стоять перед письменным столом: вдруг вспомнит? Но он не вспомнил, я напомнила:

— Простите, я все еще жду.

— Ждите на здоровье, если вам тут приятно, мы из присутственных мест народ не гоним — не царская власть.

Не выдержав, я сказала сокрушенно:

— Много у вас, вижу, задач со сплошными неизвестными.

Он ответил, как мог:

— Одному человеку все известно быть не может — страна большая, врагов отечества прорва, беспорядков нам ваши папаша на пять поколений оставили — сами видите, сколько дел, а я один. Задаром мы людей не держим, да еще на государственных харчах!

Даром или нет, не уяснила, но что о харчах и разговора быть не могло, знала. Отец прежде, бывало, «голодными понедельниками» простоквашей и плохим настроением поддерживавший свою «аглицкую» статность, по ироническому выражению матери, в тюрьме, наверное, даже о простокваше мечтал. Возвращался он оттуда похудевший и как-то потемневший.

В моих хождениях по присутственным местам, в хлопотах об отце, я встретила знакомого юношу — офицера гвардии ускоренного военного выпуска. Он был во главе учреждения, куда меня послали, видимо не зная, как отделаться. Учреждение это занималось не то реквизицией, не то поисками места направления реквизированных имуществ. Судя по размерам и обстановке, было оно важное: находилось в особняке, а у моего знакомого был ампирный кабинет огромных размеров с еще не обнищавшей мебелью. Я знала его по Дудергофу или по Красному Селу, теперь уже не помню, где мы проводили лето 1915-го.

Этот молодой офицер лейб-гвардии отдыхал после лазарета у своих родителей (полк его отца стоял в Красном Селе). Запомнился он мне с костылями, к которым девочки относились с уважением, мальчики — с восхищением и даже завистью, а взрослые — сокрушенно покачивая головой: «Сколько еще изувечит эта бойня! Проклятый Кайзер!»

Он принял меня с нескрываемым удовольствием, но я знала, что рад он был не мне, а свидетелю своего величия. Он был не один. Жестом руки он указал мне свободное кресло, направо от ампирного стола, и повернулся налево — к пожилой, очень элегантной даме.

— Мсье, — сказала она, — я вам по-русски говорю, что это семейные безделушки, но вы будто не понимаете меня.

— Мадам, вы можете говорить по-французски, если вам удобнее, — сказал он на хорошем французском языке.

— Cela change tout! on est donc entre des gens du monde!<sup>1</sup>

— Cela ne change rien, je regrette de vous decevoir!<sup>2</sup> — возразил В-ский, приятно улыбнувшись, и повернулся ко мне с иронической усмешкой по адресу старой дамы.

— Я объясняю вам вот уже полчаса, что ценность наших семейных сувениров не коммерческая, а сентиментальная! — она произнесла это слово по складам, для вящей убедительности, внушая ему смысл того, что говорила. — Каждая из этих безделушек — страничка нашей семейной хроники. Этого деньгами не расценишь! Неужели вы не понимаете, что существует *бесценное* в смысле неоценимого?

— В каратах? помилуйте! на то имеются специалисты!

— Monsieur, voyons! Vous vous obstinez de parler d'argent! Mais il s'agit de nos inestimables souvenirs!<sup>3</sup>

— Извините, сударыня, но альбом семейных фотографий или шкатулка с любовными письмами родителей, по-моему, ценнее в сентиментальном смысле, а этого — я обещаю вам при свидетеле — мы у вас не отнимем. Но драгоценностей, как и портретов русских мастеров, мы вам оставить не можем. Они принадлежат не вам, и даже не нам, а нашим музеям. Ваши предки отныне наши предки, предки России, ее истории! Наш долг спасти их от угрожающей им толкучки — Парижа, Берлина или Константинополя — смотря по тому, куда вас забросит судьба. А теперь извините — я должен заняться мадмуазель, у которой, по-видимому, тоже какая-то личная обида. Как если б я мог всем угодить!

Дама поднялась, холодно, без слов, подала В-скому руку и поплыла к выходу, бросив на меня презрительный взгляд.

— Костенька, — сказала я почти нежно, — если мой отец в чем-либо виноват, то не больше, чем вы, ведь на вас еще гвардейская гимнастерка военного времени, только без погон.

Это было глупо и опасно, я и сама догадалась, а он тут же подтвердил:

<sup>1</sup>Это все упрощает! Стало быть, мы с вами одного круга?

<sup>2</sup>Это ничего не упрощает! Мне жаль вас разочаровывать.

<sup>3</sup>Помилуйте! вы упрямо говорите о деньгах и каратах, а речь о бесценных памятках нашей семьи!

— Вы несправедливы, Ира, и если бы мы не были старыми друзьями, я бы не в шутку обиделся.

— Простите, глупо ляпнула! Я хотела сказать, что не по внешним признакам следует судить человека, в данном случае — вас! Рискую сделать еще одну оплошность, я предлагаю вам сделку. Одну из тех, что теперь входят в моду: вместо обмена веществ — обмен вещей — метаболизм социалистической экономики. Мне возвращают отца, а я добровольно расстаюсь с его сейфом, ключ от которого в моих руках.

— Ваш долг был отдать его тотчас же по выходу декрета.

— От петербургского банка ключ тогда и был сдан, теперь речь о Лионском Кредите. Я беру на себя ответственность перед отцом!

— А я взамен перед правительством? Нет, уж извините, Ира! Но вы разговариваете со мной, как с бандитом с большой дороги, остановившим дилижанс. Одна из дам предлагает ему колечко, а он считает себя вправе взять все ее драгоценности. И даже ее самое, если ему заблагорассудится. — «Зачем колечко? — весь дилижанс мой!» А насчет обмена веществ остроумно!

— Комплимент незаслуженный — острота не моя. Помните, как вы мне жизнь спасли в Дудергофе, когда я сдуру с тафтовым бантом на макушке бросилась в костер в ночь на Ивана-Купалу<sup>1</sup>, и бант факелом вспыхнул, а вы тут же, отбросив костыли, ринулись за мной, и мы оба упали, но вы все же вырвали меня из огня.

Он молчал, а я подумала, что ему взгрустнулось от воспоминания о времени, когда он не революцией родину спасал, а грудью, для хорошеньких девочек жизнью рисковал. Мне стало жаль его, но и саму себя, и отца. Чтобы не расчувствоваться, я решительно встала и протянула ему руку, в которой сжимала ключ от сейфа в Лионском Кредите. Я вдавила этот ключ в его ладонь со злостью или стыдом, отчаяньем — не помню.

Этот халтурный спектакль был разыгран тремя дилетантами, кажется, неплохо. Три дня спустя отец вернулся домой, а вечером того же дня к нему зашел, забытый новой властью среди живых, самый что ни на есть «бывший» — князь Л., старый друг отца. Это он рассказал нам о смерти генерала С. и его жены. После его ухода отец отмахал версты три по коридорам и комнатам, исчезая и снова появляясь. Он молчал, обдумывая что-то. Приняв наконец решение, остановился перед нами и сказал: «Покидаем Петроград немедленно. Если успеем — завтра же!» Голос у него был повелительный, но и печальный, как по возвращении с похорон бабушки несколько лет тому назад. Навсегда запомнила! Когда взрослые вернулись с кладбища, еще в передней отец сказал: «Будьте готовы к приему визитеров!» «В каком смысле?» — спросила мать. «Ни заплаканных глаз, ни похоронных лиц — на людях не плачут. Горе — дело частное!» «А если нет сил сдержаться — отец ведь?» — спросил кто-то из родственников. «Выходят под приличным предлогом. Даже дети и собачки знают, когда полагается выйти из комнаты. Прикажете подавать обед».

Я вспомнила это, когда мы покидали любимый город и Гумилева. Не простилась. Он, наверное, зашел за мной, когда нас там уже не было. По молодости, правда, я в окончательность чего бы то ни было не верила. Но три года спустя, за тысячи верст от Петрограда, я буду оплакивать Поэта, как безутешная вдова. Одна из его «многочисленных вдов», как называла Ахматова девушек, которые вертелись вокруг Поэта. Речь о тех, которые были так же трогательно влюблены в поэзию, как Поэт в далекое озеро Чад и дурманивший его чад девичьей близости.

В августе 1918-го положение нашей семьи было под стать всеобщему: задача многочисленными неизвестными. Ехали в Белоруссию, хотя от матери с ее свитой еще ни одного письма не получили. «А что, если разминемся?» Эти четыре слова мы с сестрой повторяли круглые сутки, но отца ими не тревожили. На третий день мы были готовы к бегству. Не знаю, как отец, но мы с сестрой прощались с каждой вещью — по-детски к каждой привязанные, с каждой связанные; по-детски фетишисты и скопидомы. Сестра сказала: «Убегаем, как воры!», погладила крышку рояля и поцеловала дверную ручку, выходя из гостиной, а я в ту же ночь написала стихотворение, из которого вспомнила несколько строф:

<sup>1</sup>Пробег через горящий костер в ночь на Ивана-Купалу — старый русский обычай очищения огнем, унаследованный от язычников.

Украдкой ты погладила пианино,  
 Поцеловала ручки у дверей,  
 Меня заметив, бросила: «Ирина,  
 Раз уходить, уж лучше поскорей!»  
 И вот мы, как неопытные воры,  
 Бежим, гонимые и страхом, и тоской,  
 А возвратимся мы сюда не скоро,  
 И дом родной вдруг станет дом чужой!  
 А что, если наш дом совсем не изменился,  
 А изменились мы — наш глазомер и рост,  
 А тот былой «наш дом» нам попросту приснился?! —  
 Бездомному дворцом покажется погост.

Память обо всех и обо всем через всю жизнь несла, не только людей не забывала — городов, деревенских пейзажей, утр в лесу... а уж Петербург! Господи, как забыть Петербург — особенно того лета 1918-го? Той его голубизны, ясности его и в нищете непревзойденного величия... Нигде, кроме как еще в послевоенной Венеции с туристической саранчой и стрекотней моторных лодок, поминутно врезающихся в погребальную вереницу гондол, не видела такого! И Петербург, и Венеция казались мне героиней пьесы Жироду «Сумасшедшая из Шайо» — безумной и величественной в нищете. Да, отец был прав: и горевать, и бежать надо без оглядки!

Путь от Петербурга до Орши остался необозримым пространством верст, столбов, вокзалов, полустанков, поездов «без конца и начала», состоявших из деревянных, грязно-кирпичного цвета тюрем «для восьми лошадей — сорока человек» вперемешку с былым третьим классом отошедших в вечность поездов. В тех скотных вагонах на восемь лошадей людей была тьма тьмущая, не сорок, а сорок сороков поди если не больше. А вещей! Вещей сколько! И все, кажется, ненужных! Птички в клетках, швейные ручные машинки, шляпные картонки... Один пожилой военный прижимал к себе картонку, которую время от времени открывал, вытаскивал оттуда цилиндр и, погладив его по ворсу, водворял на место. А запаха какие! — всю жизнь посвятишь их разбору — не разберешься... Орша маячила в мозгу светлой гаванью, но оказалась провинциальным, ничем не замечательным городком.

В поисках проводника, чтобы пройти через лес в Белоруссию, оказались перед большой аптекой в два размашистых окна и во всю ширь золотой, загадочной вывеской: АПТЕКА ИМЕНИ П-ЦЫ ФАРМАЦЕВТА РОДЗИНСКОГО.

— Папа, что это «П» тире «ЦЫ» — птицы?

— Какая чушь, Ирина!

— По-моему, тоже. Может быть, зайти и спросить?

— Если это так интригует тебя, иди, но не задерживайся — темнеет.

Вошла, купила несколько порошков аспирина и спросила храбро:

— «П» тире «ЦЫ» — это что? Птицы?

Вместо ответа — вопрос:

— А где вы видели птиц-фармацевтов?

— Нигде, и потому именно удивляюсь. Извините, это глупо, я знаю...

— И то хлеб! Есть надежда на улучшение. — Но головой он покачал, как если бы считал мой случай безнадежным.

— Пле-мян-ни-цы, барышня, дочери моего покойного брата, в память о своем отце и в угоду мне поступившей на фармацевтику! Надпись на вывеске — мое завещание! Ясно?

— Спасибо. Да. Извините. До свидания! — бормотала я, покидая аптеку. — Папа, ты догадался бы — пле-мян-ни-цы?

— Полагаю, что нет, уж потому, что и думать не стал бы!

Рыжеволосый надменный аптекарь в памяти у меня навсегда вместе с Оршей — его рыжая грива, золотая вывеска-завещание, его семейственность. Весь остаток того дня я твердила про себя: «Ночь, фонарь, аптека...» — и свое продолжение: «И лес под Оршей при луне...» Но лес мы узрели еще до луны, хотя она уже появилась, но белесая в слинявшем небе. Проводника мы нашли почти сразу же после аптеки: спросили встречного, а тот указал, и был он не в деревне или на окраине города, а почти рядом с аптекой — в небольшом дворике, за постройкой, похожей на сарай.

И вот впереди нас, в лесу, где мы очутились довольно быстро, движется широкая

спина проводника в темной шапке курчавых волос. Лицо его мы видели в Орше — мрачное, на замок замкнутое, будто сердится человек, что мы его в поздний час в лес вытащили. Время от времени он поворачивает к нам эту свою сердитую маску, проверяет, не сбежал ли его заработок, и, убедившись, что тут, раскрытой рукой рассекает лесную темь, приказывая прямо-вперед! Не знаю, сколько времени мы шли в молчании, каждый со своими невеселыми мыслями, но когда уже почти совсем стемнело и он нам больше всего был нужен, он вдруг остановился, повернулся и сказал отцу коротко: «Мне домой пора! Платите, барин!» — и протянул раскрытую ладонь. Не считая, сунул деньги за пазуху и голосом, таким же темным, как он весь, сказал: «Прямо, а после первой проталины — направо! С полчаса ходу — и первая изба: там спросите, где ночевать и кто вас дальше поведет».

До этого момента в лесу под Оршей в моей жизни лес всегда был царством детей с няньками, гувернантками, изредка матерями, но отцов в лес не водили, вернее — отцы в лесу не водились. Были какие-то другие, мужские леса, куда мужчины шли убивать зверей и птиц, но где такие леса находятся, мы, дети, не знали и даже знать не хотели. Наш детский — солнечный, росный, опьяняющий пес — аукался не со смертью, а с жизнью, звеня нашими голосами: пением вразброд, стихами наперебой, радостью открытия спрятавшегося гриба... Лес нашего детства был зарей жизни, а мужской лес — концом какой-нибудь чудесной птички или зверька. Лес под Оршей был темной загадкой — я вижу, что и сестра, и даже отец недоумевают. Он сосредоточенно думает, поглядывая на тоненькие, высоконькие верблюжьи ножки сестры — не трудно ли ей? Может быть, из сил выбилась, еле поспевая за нами — семейными скороходами? Чтобы насмешить их, я говорю: «Мама называла прогулку с *papa* «пробегом». Как назвала бы она наше бегство — ума не приложу! Что ты думаешь, Вава?»

— Что надо торопиться — очень уж быстро темнеет! — сказала она вместо ответа. — Надо ускорить шаг! — И мы послушно подтянулись, даже выпрямились, набираясь сил, и лес под нашими шагами оживал теперь: какая-то новая, доселе неведомая жизнь пробуждалась в нем. Что-то хрустело, потрескивало, шмыгало под ногами, а то и через них — что-то мягкое, шустрое, загадочное. Дневные звуки сменились шорохами, шепотами, шелестом, даже как будто шушуканьем. Мне грустно, я молчу. Мы идем, будто знаем, куда идем и зачем. Непроходимы, полны загадок чужие леса, а уж тот, под Оршей! Если б не сошедший с пьедестала отец — для нас сошедший, уравнившийся с нами, не выдержали бы! Нам хочется спать, нам хочется есть, выпить горяченького, хочется света лампы, хочется знать, что нас ждет. Этот вопрос у меня нечаянно вырвался вслух, и сестра тут же ответила:

— Срубленное или грозой убитое дерево поперек дороги! Вот что нас, по счастью, сейчас ждет! привал, а дальше увидим! — И она буквально рухнула на него: так и подкосились верблюжьи ножки. Отец, явно для поддержания нашей заметно убывающей храбрости, начал притворно-весело разворачивать кульки. Узкий, как вязальная спица, луч солнца внезапно проколол темную гущу листвы и озарил стриженую головку сестры. Отец, словно испуганный ее неземным ликом, забыл кульки на бревне и удивленно, или испуганно, смотрел на нее. Погодя, будто очнувшись, сказал: «Милости просим! Ужин подан!» На бревне, на подстипочках из оберточной бумаги были разложены наши давно забытые детские «вкусности»: колбасные изделия, против которых взрослые вели упрямую борьбу и называли их, подражая нам, «вредностями». Порывшись во внутреннем кармане своей охотничьей куртки (даже в лес соответствующе оделся!), достал домашние чайные салфеточки с вышивкой Ришелье в одном уголке и разделил их, не заметив, как растроганно мы с сестрой переглянулись. За такое его чудачество мне хотелось обнять его и сказать, как ребенку: «Папа, нам не чайные салфеточки нужны, а план этих мест, компас или какой там еще существует ориентир! Тот, что необходим кораблю, который не знает, в какую гавань плывет». Мне по-матерински жаль стало отца: «Что его ждет, такого?» Погодя немного, не выдержала и спросила:

— Папа, что должен человек вырвать из огня в первую очередь, если пожар? ЧТО, а не кого, понимаешь?

Отец не сразу ответил, а догадавшись, на что я намекаю, сказал:

— Иногда даже такой пустячок, как чайные салфеточки, доказательство, что человек не сдался.

Сестра, решив, видимо, что разговор тяжелее, чем нужно, вмешалась:

— Папа! Я рта не нахожу, так темно и так я отвыкла от еды!

— Ищи вблизи носа, нос легко найти, даже твою пустяковую пуговку!

В эту минуту невидимая рука потянула к себе ту вязальную спицу последнего луча, и стало совсем темно.

— Нашла! Рот наша, но аппетит в темноте потеряла! — засмеялась сестра, обхватила шею отца и, по нашим понятиям дерзко, чмокнула его в нос. Отец не только не рассердился, как я ожидала, а даже вернул ей такой же непривычный, веселый поцелуй.

— Папа! — я сказала. — «Возлюбленных все убивают, так повелось в веках».

— Ира, ты не всю балладу, надеюсь. Папа, прикажи Ире остановиться, пока не поздно. В доме повешенного о веревке не упоминают!

— Кто тут повешенный? — удивился отец.

— Ни я, ни Ирина в тюрьме не сидели. Я в постельке валялась неделями, а Ирина с поэтом Петербург измеряла вдоль и поперек. В плохой момент аппетит себе нагуливали... Видишь, папа, какие мы разные!

— Потому, наверное, и ссоритесь.

Мы засмеялись, удивленные, что отец это знал. В ту самую минуту подле нас раздался голос:

— А у вас тут, хоть и темень — весело.

Перед нами, едва приметный в темноте, стоял мужичок — низкорослый и большеголовый, как гриб, и как гриб из земли выпроставшийся.

— Да что это вы в темноте? Хоть бы свечку захватили или фонарик!

— Свечку тут опасно — сплошная хвоя, а фонарик куда повесить? — разве что к небу?! Да присаживайтесь, перекусите с нами! — сказал отец.

Мы опять прыснули, но, спохватившись, что мужичок мог бы принять наш смех на свой счет, начали наперебой объяснять ему, что относится он к отцу — его гостеприимству, когда и присесть некуда и угостить нечем. «Присаживайтесь!» — предложили и мы дуэтом.

— Спасибо, только не лучше ли ко мне в избу, чем в лесу ночью? Жена у меня, как их папаша, гостеприимная, рада вам будет! Я вас в гости зову, хоть и постоем иногда промышляем. Не нажива меня в лес привела, бабина кошка — искать ее пошел, без нее хозяйка крохи не проглотит.

— Да ведь не нашли же кошку! — сказала сестра. — Как же мы пойдем?

— Бог с ней! Сама дорогу назад найдет — звери лучше нас свой адрес знают! Баба моя вам так обрадуется, что про кошку поди забудет. Горяченького покушаете, в тепле поспите — легче дальше пойдете! К немцам поди пробираетесь. Да, барин, — никогда так в жизни не было, чтобы как-нибудь да ни было! Так у нас говорят, по-моему, мудро!

— Даже очень, — одобрила сестренка и повторила за ним, смакуя каждое слово. — Даже очень хорошо. Идем, *рара*, дорогой? Скажи! — и, не дожидаясь ответа, стала рядом с мужичком-грибком. Взяла его, как ребенок, за рукав и даже, кажется, повернула к дорожке. — Еду соберут и догонят нас! Мы теперь едой не разбрасываемся! — До нас донеслось еще одно признание: — Я дальше не могу — брюшным тифом болела, недавно только из постели вылезла.

Деревня — с полдюжины будто перессорившихся, друг от друга отвернувшихся изб — оказалась действительно совсем близко, а царила в ней та же лесная, непроглядная темь и тишина. Тут и там тявкнула спросонья собака, да в желтых квадратах окон видны были склоненные над тарелками головы. В сенях грибок оттолкнул в клубок темной шерсти смотавшуюся кошку: «Брысь, шлюха!» И кликнул хозяйку: «Гостей тебе веду. Барин с дочками на бревне в темноте что-то сухое грызли — приезжие они — столичные!»

На нас надвинулась громадина, ни дать ни взять — шкаф, полный человеческого тепла, облобызала нас по очереди и неожиданно высоким детским голосом пропела: «Добро пожаловали, милые гости!» У меня слезы в носу защекотали, но сдержалась, боясь неизменной сестриной насмешки, что меня потоки моих слез раньше срока унесут.

Уют избы, избяное тепло и вкусный горячий ужин — первый, казалось, за много лет! — навсегда запомнили: я на свое всегда, а сестра на свое, кончившееся раньше — с осадой Ленинграда.

«Как мы их отблагодарим?» — спросил отец шепотом, когда хозяйева ушли в чулан доставать что-то нужное для нашего ночлега. Я вскинула руки к затылку — расстегнуть фермуар ниточки жемчужин, подаренных мне за окончание гимназии, но сестра схватила меня за руку: «Не дури, Ириша! Им твой жемчуг что петуху жемчужное зерно из

навозной кучи! Спросить их надо: «Сколько мы вам должны?» — откажутся — обнять, как она нас, и горячо поблагодарить, а это вы с *рара* лучше меня умеете». Мы с отцом перелгнулись, удивленные ее взрослостью. Помню, пришел мне на память той ночью случайно подслушанный разговор. Давно это было, в древности — там, у нас, на Екатерининском Канале. Пришла к матери с визитом — познакомиться с ней — мать нашей новой подруги Милочки Д. Сидит, щупленькая, как птичка, изящная, попивает чай, щебечет и вдруг, перебив самое себя: «Можно мне задать вам нескромный вопрос, позволите? Которая из ваших девочек умнее? Мы всем домом гадаем». Мать мучительно долго думала и наконец — о ужас! — «Ира очень добрая». Помолчав, добавила: «И она не лишена остроумия, но по доброте боится обидеть». Дальнейшая защита даже по тогдашним моим понятиям была бы хуже смертного приговора. Сестра показала мне длинный нос и ушла в свою комнату, а я осталась подле плохо прикрытой двери, проклиная горничную и свою доброту, которая угрожала мне насмешками младших. И впрямь, с того дня, что бы я ни сказала, какой бы ни завязался спор, в котором я, по своему обыкновению, была мировым судьей, один из младших, сокрушенно покачал головой, говорил: «Ира добрая!» Иногда добавляя: «Боится обидеть!»

Белорусская пересадка, как мы с Володей прозвали те неполные два месяца в деревне, прошла по-дачному весело, если не считать тесноту, изобилие самых противоречивых, но почти всегда панических слухов и частых наездов незваных гостей или попросту — заглазно, конечно, — татар. Это были здоровые, голодные или больные молодые и старые друзья из обеих столиц; чудом выжившие, перенесшие сыпняк или поборовшие испанку. В доме пахло карболкой, которою няня с денщиками оккупантов изгоняла заразу, и было тошно всем без исключения — от мала до велика, от семьи до персонала, а родителям и стыдно: стеснять и объедать новых хозяев. Отец с отчаянья пасьянсы раскладывал, гадал, уверяла мать, как это татары наше местопребывание узнали, как если бы мы рассылали карточки с извещением о перемене адреса. Два визита запечатлелись в памяти навсегда. Приезд моего петербургского поклонника — студента-юриста. Он приехал с матерью, вернее, она его привезла — ни живого ни мертвого, болевшего на длинном пути из Петербурга испанкой. Родители отдали им свою спальню, но общение с ними строго запретил военный врач оккупантов, вверив надзор за этим запретом и уход за приезжими своему персоналу. Дом благоухал лекарствами, теснота стала нешуточная, недоразумений было множество, но самое страшное из них было, не знаю в чьем мозгу родившееся, решение, что я выхожу за него замуж. Дайте ему, мол, времени поправиться! Я бесилась и вкладывала всю ярость моего негодования в единственную форму моей игры в теннис — мой бекхенд. Но слухи от этого не умолкли, и я решила на высшую меру — подсунула ему под дверь записку: «Игорь, расстанемся друзьями. Твоя Ирина, верный друг». И чтобы всем в доме стало все ясно, рассказала Володе, добавив: «Это не секрет!» Того требовал наш условный «имприматум» на разглашение тайны. И вернулась к Володе, пикникам, теннису, нашим разговорам и планам всей предстоящей жизни, у которой не было и завтрашнего дня! Как гром среди ясного неба разразилась вторая драма, о которой я даже Володе не рассказала. В капитанской форме, прямо с фронта, приехал общий любимец — названный брат, Коленька, военный врач — фронтовик. Едва мы остались минутку наедине — в саду, почти рядом с теннисом, как он ошеломил меня вторично:

— Ирина, я люблю тебя...

— Я знаю, я помню — ты сказал... весной... в Петербурге...

— Я надеялся, что ты тогда не поняла — может быть, так утешал себя вдалеке... думал — приеду — все будет ясно... и ты поймешь!

— Я поняла, Коленька, уже тогда поняла и очень измучилась, пытаюсь доказать себе, что это ошибка, твоя, моя, — не знаю!

Я заставила себя посмотреть ему прямо в глаза и пожалела — я прочла в них такую грусть, что даже страшно стало.

Мы, кажется, очень долго молчали, потом он сказал тихо, но как-то очень отчетливо, словно печатал слова:

— Я хотел повидать вас всех. Тебя еще раз спросить, хочешь ли ты выйти за меня замуж, но это уже не вопрос, а объяснение моего вопроса, которого никогда больше не задам.

Чтобы подчеркнуть мою сестринскую, мою детскую любовь к нему, чтобы он понял, как мне самой грустно, что я его по-другому люблю, я глупо, даже стыдно сознаться, так глупо, сказала:

— Коленька, почему же ты меня всю жизнь пилил за чернильные пятна на пальцах и что я неправильно ярлыки с композиторскими именами вешаю на произведения, которые наизусть знаю и даже сыграть могу? Почему позволил так долго считать тебя старшим братом?

Он растерялся. Мне кажется, он подумал, что я сошла с ума: он смотрел на меня с недоумением. Это был момент, когда мы оба поняли, что произошла катастрофа, непоправимое несчастье, что все пути нам отрезаны — и вперед, и назад. Мы долго стояли, как в столбняке. Заговорила я. Впервые в жизни заикаясь, задыхаясь, мучительно подыскивая слова, кажется, даже не говорила, а лепетала:

— Коленька, это как если б... как если б... папа или Володя предложили мне выйти за них... — И тут, после этой первой заикающейся фразы, меня вдруг осенило, я нашла другой, более взрослый, уверенный тон, точно я была старшая, а не он лет на восемь старше меня: — Ты, родной, виноват в этом, ты слишком долго считал меня маленькой сестренкой, и я все свои детские любви тебе вверяла... помнишь, как я в Крыму в Дмитрия Джусто влюбилась, карточки его тебе показывала, про первый поцелуй рассказала?

— Помню, Ира. Помню и то, что из-за этого ночи напролет не спал, но и самому себе не хотел признаться. Ты правильно сказала: это было бы, как если б Володя или отец... кажется, что это с Крыма, с того Джусто и началось, но я не сразу понял, что это ревность и, стало быть, не братская любовь. Ира! Ревность! жуть! вечерним поездом уеду — прощаться не могу — тяжело и боюсь — угадают... твоя мать, Вава или обе... будь на сей раз ты старшей сестрой — придумай что-нибудь, объясни, как хочешь — все равно, что скажешь, теперь уже все равно... я не одну тебя потерял, а всех, всю семью, которую считал своей.

Он обнял меня, прижал к груди в шероховатой шерсти френча, но не поцеловал, мой умный старший брат, которого я в ту минуту теряла навсегда. Как раз когда он мне больше всего был нужен. И мне кажется, что многое в моей жизни сложилось бы по-другому, если б Коленька не сбежал от меня так рано. По-военному повернувшись на каблучках, не оглядываясь, он пошел твердым быстрым шагом. Я знала, что до поезда много времени. Он будет часами ждать не среди своих, любящих его людей, а один на пустом жалком вокзале. Устав сидеть, будет ходить по соседнему пустырю, а я тут стою и плачу у боковой калитки, откуда видна дорога и спина уходящего брата. Да, брата! Может быть, он не слышал, как слышали когда-то мы с Володей, ничего не понимая, кажется, даже боясь и не желая понять, шепоты, слово, тут и там — про его какую-то особую связь с моим отцом. В тот момент мне эти светлячки, зажигающиеся в памяти, указывали, кажется, правильный путь догадок. Ведь и отчество у нас было одинаковое, а фамилии разные. Но и сегодня не знаю, правильный ли он был, тот путь, как не знаю многого другого, растеряв очень давно всех свидетелей.

Как искала тебя, Коленька, в 1965-ом году, в нашу бытность в России. Божидар все о тебе знал, кроме самого заветного — твоей тайны, твоей любви ко мне. Ведь вплоть до этого моего первого и последнего приезда в Россию за четыре десятка лет ты был жив для меня! Я знала, что ты женат, есть дети, но про жену ничего мне не написал, как если б она была посторонним лицом в наших отношениях. Написал, что едешь в командировку на много месяцев в Индию, просил прислать тебе мою последнюю карточку и свою прислал. Вот она, я берегла ее, как карточки поэтов, отца, Володи, спасла из развала дома в Загребе. Ты кажешься мне почти стариком на ней, а какой ты увидел меня на карточках? Узнал? Никто из близких не дождался моего приезда, все разбежались — и Мишенька Зоценко, и Баршев, и Никитин — не перечить! Из всех друзей и семьи — два чужих старика, раньше срока войной и жизнью измученных, чем-то смутно напоминавших отца: семилетний Мика — дед, да Илья — измученный старик. И еще чуждое племя их детей.

Продолжение следует

# Что построим на песочке?

*Рубрику ведет Лев Аннинский*

После выхода «крымского» номера журнала «Родина» я получил письмо от украинского публициста Владимира Коваленко. В том номере «Родина» свела нас как авторов, но далее в «крымский вопрос» решила не углубляться, потому что есть много других вопросов, регионов, горячих точек и ледящих разломов, ждущих очереди.

Тогда я решил пригласить моего уважаемого оппонента на страницы «Дружбы народов»: эхо межнациональных дискуссий имеет обыкновение уноситься так далеко за пределы предмета, что само уже предмет не для исторического исследования, а для живого общения.

Слово Владимиру Коваленко:

«ЕЩЕ РАЗ О «КРЫМСКОМ ВОПРОСЕ». Журнал «Родина» сделал важное и нужное дело, дав возможность высказаться в номере 3/4 всем трем сторонам крымского конфликта: лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву, представителям России (Сергей Семанов) и Украины (автор этих строк). Только выяснив всю палитру взглядов, можно прийти к компромиссу и таким образом ограничить «поле баталии» печатными страницами.

Откровенный разговор о Крыме на страницах «Родины» тем более отраден, что форма межнационального диалога отнюдь не распространена в сегодняшней России. В то время как население Украины, Молдовы, Грузии и т.д. может узнавать позицию российских политиков и общественных деятелей по «первоисточникам» — из передач нескольких программ российского телевидения, из российских газет и журналов, россияне могут ознакомиться с точкой зрения украинцев, латышей или крымских татар лишь по редким и сильно обстриженным интервью.

Я также признателен обозревателю журнала Льву Аннинскому за поддержку ряда моих тезисов.

Огорчило, однако, что глубоко уважаемый мною Лев Аннинский, увлекшись, видимо, риторическим приемом, совершенно исказил мою позицию. Вот как она истолкована в его комментарии: «Мустафа Джемилев говорит: коренные — татары. Сергей Семанов говорит: Крым — коренной русский край. Владимир Коваленко говорит: земля украинская, потому что украинцы начали отбивать ее у турок лет эдак за двести до московитян».

Однако в моей статье совершенно четко сказано, что «завоевание с точки зрения современного международного права не влечет никаких последствий». Я также — пусть даже это кому-то очень не понравится — высмеиваю тезис о «русской крови, пролитой при завоевании Крыма» (типичный аргумент нынешних московских перекройщиков границ) и указываю, что «пролитая кровь, как известно, любимый довод всех захватчиков, начиная с египетских фараонов». Потенциальным оппонентам могу напомнить, что в недавно изданных в России «Застольных разговорах Гитлера» пассажи типа: «Тот, кто проливал кровь, имеет право на власть» — встречаются на каждом шагу.

Из комментария г-на Аннинского следует также, что, с моей точки зрения, Крым — не татарский, а украинский: «...отдайте и татарам должное: они в Крыму еще дольше жили... уступите им «титул!»» Но ничего подобного у меня и в мыслях не было! В оригинальной рукописи (желающий может проверить) было прямо сказано: «Наша украинская точка зрения базируется прежде всего на многократно и недвусмысленно высказанном желании татар: полуостров должен быть автономией в составе Украины». К сожалению, эта фраза выпала при чисто техническом сокращении текста, хотя в статье и остался не совсем понятный ее рудимент: «А о волеизъявлении татар мы только что говорили».

Следовательно, моя точка зрения: «Крым — и татарский (поскольку татары являют-

ся коренным населением Крыма), и украинский» (не в этническом смысле, хотя 26% украинцев на полуострове никак не сбросить со счетов, а в смысле государственной принадлежности) — разумеется, при соблюдении языковых, культурных и тому подобных прав преобладающего ныне русского населения, подобно тому как Башкортостан является и башкирским, и российским, Якутия — и якутской, и российской и т.д.

Если же я вспомнил, что «украинцы начали вооруженную борьбу с Османской империей лет эдак на 200 раньше москвитян» (впрочем, не ставя перед собой цели ликвидации государственности крымских татар, которые гораздо чаще были нашими союзниками в борьбе против поляков и др., нежели противниками, и тем более не замышляя геноцида татар, который «по высочайшему повелению» начал осуществляться немедленно после присоединения Крыма к Российской империи), то единственно ради того, чтобы защитить нашу воинскую честь, к которой украинцы, как известно, весьма равнодушны, и их в этом легко понять: слишком часто приходится сталкиваться с историческими фальсификациями. Заявил же недавно депутат Государственной Думы К.Затулин, что, завоевывая Крым, Российская империя пролила реки своей крови, а Украина (но она ведь, кажется, входила в ее состав? В.К.) (ну да, как «лет эдак на 200 раньше» Крымское ханство — в состав Османской империи. — Л.А.) — «несколько капель чернил в 1956 (так полагает главный думский «крымолог». — В.К.) (надо — в 1954. — Л.А.) и 1991 гг. для кражи Крыма (см. «Независимую газету» от 24 марта 1995 г. — В.К.) (с тех пор «Независимая газета» прекратилась. — Л.А.).

Не читали, видимо, подобные знатоки-историки хрестоматийной повести Гоголя («и слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в Толопане, что с Колопера содрали кожу под Кизикирменом, что Пидсышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград») и даже не видели картины Репина «Запорожцы пишат письмо турецкому султану»...

И последнее. Профессионально занимаясь историей Крымской войны, я обратил внимание на то, что во всех дореволюционных описаниях обороны Севастополя приводятся три одни и те же фамилии, даются три одних и тех же портрета: Нахимов, Корнилов и Тотлебен. Между тем любая работа о Севастопольской обороне, написанная в советский период, содержит несколько иной набор: Нахимов, Корнилов и... Истомин. Сдавая в «Родину» заказанную мне статью, я, между прочим, рассказал в редакции об этой трансформации, предположив, что Тотлебену, очевидно, с «немецким рылом» нечего было соваться в ряд русских героев.

Но каково же было мое удивление, когда вышла «Родина», всецело посвященная Крымской войне! Под рубрикой «Герои войны» в журнале помещены портреты Михаила Медведева, Александра Ключникова и других, наверное, достойных воинов. Однако почти на 200 страницах номера вообще ни разу не упомянут «русский чудо-матрос» Петр Кошка (родом из села Оматинцы, ныне Винницкой области).

Что, теперь он уже изъят из российской истории как неподходящий по «пятому пункту»?

Возможно, конечно, что стремились уйти от школьной хрестоматии: зачем писать о герое, которого и так знает каждый семиклассник. (Хотя мы убедились, что в Москве даже некоторые доктора наук полагают, что украинцы проливали в Крыму лишь чернила.) Однако столь же «хрестоматийным» Нахимову с Корниловым в номере уделены десятки страниц.

Конечно, хозяин — барин. Не мне указывать, кого должен прославлять российский исторический журнал, а кого нет. Скоро ваш Минобр и «Тараса Бульбу» изымет из школьной программы. Грустно, братцы москвичи. Очень грустно...

Владимир КОВАЛЕНКО».

Нет, не очень. Потому что мой уважаемый оппонент (между прочим, сам москвич, но это я к слову) имеет-таки полное право указывать российскому журналу, кого тот должен прославлять, а кого нет. Это право всякого читателя, а родные мне российские журналы не делят своих читателей по национальной принадлежности или даже по национальной ориентации. И зачем же россияне будут знакомиться с точкой зрения украинцев по редким и сильно обстриженным интервью, если два российских журнала охотно печатают Владимира Коваленко?

Конечно, могут и «обстричь». Но по соображениям технологическим, не по идеологическим. Легендарный Петр Кошка исчез из «крымского» номера отнюдь не по «пятому пункту». Просто не нашлось нового интересного материала. Портрет, во всяком случае,

надо было дать. Но, учитывая, что Кошку и так знает «каждый семиклассник», дело не безнадежное. Искать тут антиукраинские козни бессмысленно.

Я действительно поддержал (и поддерживаю) «ряд тезисов» Владимира Коваленко, и прежде всего его трезвое видение реальности. А именно то, что ГЕОГРАФИЧЕСКИ Крым есть естественный сосед и просится быть частью Украины. И что ИСТОРИЧЕСКИ Крым — никакой не украинский, а «чей ни попадя»: киммерийский, скифский, греческий, сарматский, аланский, римский, готский, гуннский, хазарский, русский (именно так!), итальянский, татарский, армянский, русский, немецкий, еврейский, украинский...

Конечно, я не имел возможности читать те аргументы Вл.Коваленко, которые в текст его статьи не вошли, но в свете вышеприведенного рассуждения (которое в текст вошло) они вряд ли станут более убедительны. Во-первых, потому, что «многократно и недвусмысленно высказанное желание татар» — это все-таки точка зрения татар, а не украинцев. Во-вторых, если так, то отчего не спросить и точку зрения русских, составляющих в Крыму большинство? Ах, они «приперлись» без приглашения... а татары или турки — по приглашению? А украинцы, вышибавшие турок, кем были приглашены? И при такой всеотзывчивости зачем сообщать нам тот факт, что украинцы начали драться здесь с турками за двести лет до москвитян? К слову пришлось?

Вот я и говорю, что мы в наших «межнациональных» спорах очень многое поминаем «к слову». Например, что «украинцы, как известно, весьма равнодушны» к воинской чести. Потом начинаешь думать: а кто равнодушен? Помянут Гоголя; понуришь голову вместе со старым Бульбой по поводу того, что Пидсышкова голова посолена в бочку и отправлена в самый Царьград, а потом задумаешься: кто ж тогда в Царьграде сидел? Кто с Колопера содрал кожу под Кизикирменом? И вообще: кому с бульбовских времен присягнули крымские татары (современным языком говоря: в чьем составе они ТОГДА согласились быть автономией?).

Я думаю, что все эти доводы можно выворачивать туда-сюда до бесконечности. Если же глядеть в корень (в вечный корень дела), то Крым, по самому «замыслу Господню», земля чресполосная, граничная, промежуточная, спорная, общая. Вроде Суэца, Гибралтара, Панама, Дарданелл, Босфора. По блестящему выражению одного современного политолога, Крым — место, где вечно сталкиваются щупальца далеких империй.

Не станет империй? Возможно. И флот окончательно устареет и заржавеет (и тогда его наконец «разделят»). Империй не будет, проблемы останутся. Как подать в Крым пресную воду? Как вырастить в Крыму хлеб, картошку и капусту? Или не растить — пустить все под виноградники? И наконец, как быть с особью, которая пожелает возлечь на крымском песочке и провести таким образом отпуск?

Владимир Коваленко любит цитировать «мо» известной антитоталитаристки Валерии Новодворской: вам мало позагорать на пляже, вам надо, чтобы рядом еще и триколоры висели?!

Насчет триколоров промолчу: я под красными знаменами вырос и просто так, «по указу», знамен в душе не меняю. И если уж на то пошло, вовсе не факт, что из русских триколоров купеческий будет мне милей староимперского. Но это моя личная проблема. А общая заключается в том, чтобы не рвали на куски флаги ни в том, ни в этом парламенте.

Эти вещи решаются по мировой ситуации. Продлится в истории человечества эра держав (называйте их империями, союзами, содружествами, сообществами, осями, блоками, да хоть «общими здоровьями») — останутся и точки вроде Крыма геополитическими нервными центрами, из-за которых будут литься реки чернил и крови; и тогда, случись что (ну, скажем, повесят в Толопане Бородавку, или бочка с Подсышковой головой докатится очередной раз до Царьграда), и мы с Владимиром Коваленко быстро сообразим, как объединиться. И простит он мне, что Гоголь сичевиков «русскими» называл (именно так!) и что москвитян продался.

А наступит энгельсовско-фукуямовский «конец истории», в플ывет счастливое человечество в век информатики и меритократии — что ж: тогда бабушка русской диссиденции сможет спокойно возлечь на пляже под Алушкой, и мы развесим над ней все флаги, какие она захочет, хватило бы денег на материю.

Главное в нынешних тяжбах — души не повредить. Одно только никогда не прошу Владимиру Евгеньевичу: что упорно обзывает меня господином. Оно бы и ладно, кабы не зеркало. Как глянешь, так и отпадешь обратно в товарищи.

ALEXANDER HURGUIN is 43 years old, he resides in a Ukrainian city of Dnepropetrovsk. His fiction is authentic and precise. The gloomy humour of his stories has nothing to do with the so called trivial «chernuha» (that is «blackness» — the intentional and provocative exaggerating of disgusting manifestations of the life), it is magnetic and fascinating.

ANATOLY GORYUSHKIN. A Timid Slave of the Axe.

Goryushkin carries on with the tradition of Russian classic poetry. Carries on, but does not copy — he is quite original as far as his happy metaphoric finds and unpredictable, paradoxical associations are concerned.

ZOYA MASLENNIKOVA. Lithuanian Heptacandlestick.

It's a story about a small and mixed religious community, united by a catholic priest, pater Vergilius, who used to be the most famous preacher in Lithuania, then a political prisoner and now — the dean of an out-of-the-way village church, which however has become a place of pilgrimage for pater Virgilius' pupils and adepts, many of whom came to the faith by very whimsical and intricate ways.

MARIAM SALGANICK. It Would Be Fine. And Useful for Others.

A new contribution to the discussion after Max Lerner's book «America as a Civilization» (look «DN» 1994, N 7 and 1995, N 4). Being a professional indolog, M. Salganick finds many interesting parallels (or rather oppositions) between American, Indian and Russian philosophy of life and thinking.

IRENA KUNINA — the author of the memoirs book «My Century, My Beast...» — is 95 years old. She was born in Petersburg, in 1920 she emigrated, now resides in Geneva. In the chapters presented she describes her escape from postrevolutionary Russia, the hectic literary life in Kiev, her acquaintance with Mandelshtam, the everyday life of the emigrants in Constantinople, coming back to the city, which had already been named Leningrad, her friendship with Zoschenko...

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию-изготовителя, указанные в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

*Технический редактор* Анна Селиверстова

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-49, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-63-54.

Сдано в набор 16.05.95. Подписано в печать 25.06.95. Формат бумаги 70 x 108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,5. Уч.-изд. л. 18,70. Тираж 15630 экз. Заказ 1381. Цена свободная.

---

Типография «Красная звезда». 123826, ГСП, Москва, Хорошевское ш., 38.

Цена свободная

Индекс 70250

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 1995, №8, 1—192